This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

А. АМФИТЕАТРОВЪ

# СИБИРСКІЕ ЭТЮДЫ

Изданіе второе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1907.

BERKELEY
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALIFORNIA

А. АМФИТЕАТРОВЪ

# СИБИРСКІЕ ЭТЮДЫ

OCT 21 1994

PRESERVATION
COPY ADDED
ORIGINAL TO BE
RETAINED

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія товарищества «Общественная Польза», Б. Подъяческая, № 39.
1906.

PG
3451
A7S5
1906

PG3451
A7S5
1906

Jo my dear

Old Lady

825

# Содержаніе.


| | стр. |
|---|---|
| Отъ автора | VII |
| I. Медвѣжій уголъ | 1 |
| Ночные голоса | 3 |
| Обличитель | 16 |
| Гальтиморы | 30 |
| Разливанное море | 47 |
| Щедринская сторонка | 66 |
| Илюшка | 79 |
| Сессія | 103 |
| Герой сессіи | 126 |
| Почтовый патріархъ | 137 |
| II. Чалдоніада | 165 |
| I. | 167 |
| II. | 177 |
| III. | 199 |
| III. Удалыя головы | 219 |
| Конокрады | 221 |
| Яшка | 241 |
| Шерлокъ Хольмсъ | 259 |
| Острожная сказка | 271 |
| IV. Сибирскія сомнѣнія | 279 |
| I. На берегу | 281 |
| II. Дутая земля | 294 |
| III. Постылая | 308 |
| IV. Лѣсное умертвіе. | 329 |
| V. Загадки | 346 |
| VI. Родительскія скорби | 363 |

# Отъ автора.

Весьма возможно, что въ книгѣ этой найдутся ошибки, но, смѣю увѣрить читателя: только невольныя. Спокойно и безъ предубѣжденій записывалъ я, что видѣлъ въ степномъ краю Восточной Сибири и слышалъ отъ людей ея, и ошибки могутъ быть лишь въ тѣхъ подробностяхъ, которыя были преднамѣренно искажены мнѣ самому въ чужомъ разсказѣ, а я не успѣлъ провѣрить ихъ личнымъ наблюденіемъ. Но—опять увѣряю читателя: если бы я хотѣлъ собирать «анекдоты» сибиряковъ о нихъ самихъ, то могъ бы издать нѣсколько такихъ книгъ, какъ эта, и были бы онѣ, въ полномъ смыслѣ слова, «для занимательнаго чтенія». Въ настоящей же книгѣ читатель встрѣтитъ только то, въ правдивости чего я самъ не имѣю никакихъ основаній сомнѣваться. «Художественной выдумки» здѣсь почти нѣтъ, ея пріемы я допускалъ иногда лишь настолько, чтобы придать голому факту беллетристическую обработку, ярче выяснить его окраску, механически связать дѣйствіе, выдѣлить характеристику.

Нужно ли говорить, что никакого города Храповицка нѣтъ въ дѣйствительности, и что, подъ названіемъ его, не долженъ быть понимаемъ ни одинъ изъ существующихъ сибирскихъ городовъ? Я знаю ихъ пять, и совокупность наблюденій за жизнью этихъ пяти сложила тотъ фантастическій по имени, но реальный по существу, собирательный Храповицкъ, въ который—милости прошу!

**А. В. А.**

Вологда. 4 мая 1904 года.

# Медвѣжій уголъ.

---

**Житіе славнаго города Храповицка.**

I.

# Ночные голоса.

— Нѣтъ, это что же? Образованнаго человѣка—и въ морду! Нѣтъ! Зачѣмъ?

Слова эти раздались въ моей комнатѣ, надъ самымъ моимъ ухомъ. Я, въ сонномъ испугѣ, открылъ глаза, повернулся на подушкѣ. Никого и ничего. Черный мракъ глубокой ночи. Скрипятъ ставни, стонутъ болты у ставень. Мерзлая песочная пыль, проклятіе безснѣжной зимы, свирѣпо бичуетъ бревенчатыя стѣны. Стоило просыпаться!

— Я интеллигентъ, онъ интеллигентъ. Интеллигентъ интеллигента въ морду... Славно!!! Позвольте! Почему?

И—опять надъ самымъ ухомъ. Голосъ незнакомый: жалобный, сиплый и громкій.

— Кто здѣсь?

Нѣтъ отвѣта.

Въ недоумѣніи шарю спичекъ. Какой чортъ забрался ко мнѣ разглагольствовать? Живу въ гостиницѣ, двери запирать забывчивъ... Зажегъ свѣчу—никого!..

Никого,—и какъ будто кто-то есть. Чуткое въ ночи ухо ловитъ вздохи, мелькающій шорохъ. Номеръ у меня угловой, глухой, тихій. Ближайшіе сосѣди—батюшка съ матушкою изъ уѣзда—люди чинные, легли спать съ вечери

пихъ курей; я слышу и сейчасъ, какъ они за перегородкою посвистываютъ въ два носа... Что же это? До галлюцинацій что ли я дошелъ въ своей одинокой скукѣ?

— Ѳедоръ Дмитричъ, Ѳедоръ Дмитричъ!—завопилъ воздушный голосъ такъ неожиданно и пронзительно, что меня всего передернуло.—Ѳедоръ Дмитричъ! Что же ты, братецъ, спишь? Нельзя такъ! Ѳедоръ Дмитричъ! По человѣчеству тебѣ говорю—проснись, пожалуйста!

Пронеслось откуда-то чье-то отвѣтное ворчанье. Итакъ, невидимокъ витаетъ близъ меня уже не одинъ, ихъ цѣлыхъ два. Что дальше будетъ?

— Ѳедоръ Дмитричъ! сдѣлай, братецъ, божеское одолженіе—проснись! Это даже довольно подло съ твоей стороны, какъ ты свински себя ведешь! Ѳедоръ Дмитричъ! Товарищъ въ такомъ настроеніи, что удавиться мало, а онъ спитъ!!!.. О, люди, люди!!.. Ѳедоръ Дмитричъ! Свинья! Ѳедоръ Дмитричъ! Не спи, душечка!

Послышался длинный басистый зѣвокъ, скрипнула деревянная кровать, грузно шлепнули въ полъ двѣ босыя ноги, и лѣнивый, сонный голосъ отозвался, съ флегматическою оттяжкою:

— А ты все еще... разговариваешь?

И тутъ, наконецъ, мнѣ удалось опредѣлить мѣсто исхожденія таинственныхъ звуковъ: «пусть это ново, пусть это странно», но бесѣдовала въ два голоса... огромная печка, выдвинутая бѣлымъ угломъ къ самой моей кровати. Отдушникъ ея зіялъ чернымъ круглымъ пятномъ, будто открытый ротъ, и изъ него отчетливо извергались слова и шорохи. Я вспомнилъ, что съ вечера приказалъ корридорному Кузьмѣ вынуть изъ печи вьюшки, потому что онъ, въ сибиряцкомъ усердіи къ теплу, натопилъ комнату до того, что стало нечѣмъ дышать. Такъ же, вѣроятно, распорядились и жильцы нижняго номера, что̀ подо мною. И вотъ теперь тяга снизу, словно Діонисіево ухо, дышетъ на меня ихъ разговоромъ. И какъ я предупрежу ихъ, что они, хоть

и одни, но при невольномъ свидѣтелѣ?!. А разговоръ, какъ нарочно, все крѣпчалъ и оживлялся.

— Я, братъ, я того...—плакался и негодовалъ первый голосъ.—я Ходскаго слушалъ, Сергѣевича... да! Я кандидатъ правъ, наконецъ. Какъ онъ можетъ бить кандидата правъ? Это невѣжество.

Ѳедоръ Дмитричъ возразилъ:

— Онъ самъ лѣкарь съ отличіемъ.

— Такъ и драться? Что я интеллигентъ, и онъ интеллигентъ, такъ другъ друга и въ зубы? Ха-ха-ха!—трагически захохоталъ голосъ.—О, люди, люди!.. Ин-тел-лли-ген-ці-я!

Ѳедоръ Дмитричъ выдержалъ долгую, солидную паузу и сказалъ:

— Совсѣмъ онъ тебя не за интеллигенцію билъ, а за то, что ты въ карты подсматриваешь.

Голосъ захохоталъ съ еще вящшею трагедіей.

— Да? Вотъ какъ! Въ карты? А кто видѣлъ? Гдѣ свидѣтели? Ну, кто видѣлъ, говори! Ты видѣлъ?

— Я не видалъ.

— Ага! Не видалъ. Тутъ же сидѣлъ и не видалъ? Такъ кто же видѣлъ?

— Онъ говоритъ,—онъ видѣлъ.

Обладатель трагическаго голоса всплеснулъ руками.

— Онъ говоритъ! Да какая же вѣра можетъ быть его словамъ? Лицу заинтересованному? Ѳедоръ Дмитричъ! И ты... ты повторяешь, вѣришь?

— М-м-м...

— Боже, до чего я дошелъ?!

— Ты не волнуйся. Что особеннаго? Дѣло житейское.

— Лучшій другъ, единственный въ городѣ пріятель говоритъ мнѣ въ глаза, что я шулеръ...

— Это ты врешь!—вдругъ обидѣлся Ѳедоръ Дмитричъ. Никогда я не говорилъ тебѣ такого слова, чтобы шулеръ. Я у тебя ночую, а къ шулеру ночевать не пойду. А что масть подсмотрѣлъ, никакого въ этомъ шулерства нѣтъ.

Житейское. Это—кому ни доведись—всякій подсмотритъ, хоть самый честный человѣкъ. Потому что на деньги игра, а не на щепки. Всякому свой рубль дорогъ. Какъ не подсмотрѣть, если можно? Очень даже глупо не подсмотрѣть.

— Дивная этика!—саркастически отозвался оскорбленный голосъ.

— По городу, братъ. Храповицкая.

— Стало быть, подсматривать въ карты—это у васъ, въ Храповицкѣ, въ родѣ какъ бы общественное правило?

— Правило не правило, а ужъ на что отецъ благочинный... священной жизни протоіерей, алтарю предстоитъ, а хуже его на этотъ счетъ нѣту!

— Итакъ, если у васъ всѣ въ карты подсматриваютъ, то за что же онъ меня билъ?

— За то, что ты подсматривалъ.

— Да, чортъ!—крикнулъ голосъ.—Вѣдь ты говоришь: подсматриваютъ всѣ. Что же, всѣхъ и бьютъ?

Ѳедоръ Дмитричъ зѣвнулъ.

— Не всѣхъ: которые попадаются.

Длинная пауза. Ставни и болты мучительно поютъ о летающей по улицамъ, шальной, песочной вьюгѣ. По свѣчѣ ползетъ вверхъ, пользуясь стеариновымъ оплывомъ, какъ лѣстницею, тощій, рыжій прусакъ. Доползъ до огня, обжегъ усы, свалился и дрыгаетъ, безсильными ногами вверхъ, на мѣдномъ подсвѣчникѣ... Фу! какая забытая ненужная, долгая ночь!..

— Я этого дѣла такъ оставить не могу!—гнѣвно дышетъ отдушникъ.

— И не оставляй.

— Я его проучу драться, да! Скандалистъ?! Очень хорошо. Пожалуйте въ такомъ случаѣ на дуэль, вотъ что! Да. Завтра же утромъ. Ты секундантомъ будешь.

— Вона!—говоритъ Ѳедоръ Дмитричъ. Въ лѣнивомъ голосѣ его слышно нѣкоторое удивленіе.

— Да-съ!—горячится его пріятель.—Такъ принято во всѣхъ культурныхъ центрахъ. Если интеллигентъ интеллигента въ морду,—не угодно ли дуэль?

— Вона!—хладнокровно повторяетъ Ѳедоръ Дмитричъ.—Диви бы, ты французъ.

— Какой тамъ французъ? При чемъ французъ?—огрызнулся голосъ.

— Они, сказываютъ, охотники на дуэляхъ-то драться.

— Вамъ угодно надо мною смѣяться?!

— Конечно, смѣшно. И глупо даже. Дуэль какую-то вздумалъ. Въ Храповицкѣ—дуэль!

— Честь, сударь мой, я полагаю, одна и та же, что въ Храповицкѣ, что вездѣ.

— Ерунда!—холодно отрѣзалъ Ѳедоръ Дмитричъ.

— Самъ ты ерунда!

— Щепетильности эти хороши тамъ, гдѣ образованной публики много, некуда ее дѣвать. А въ Храповицкомъ насъ, порядочныхъ людей, нѣту и двухъ дюжинъ. Что же это выйдетъ, если мы еще другъ друга на дуэляхъ убивать станемъ? Да и нельзя. Всѣ присягу имѣемъ, носимъ свѣтлыя пуговицы. Всякій не зря здѣсь живетъ, приставленъ къ своей службѣ. Вольнаго-то человѣка сюда въ три кнута гони—не загонишь. Казнѣ, братъ, нанялся,—продался!

— Такъ не до потери же чести! Варваръ!

— Кто говоритъ? Только, если мы примемся честь соблюдать, то выйдетъ большой ущербъ казенному интересу.

— Двѣ дюжины!!!—стоналъ голосъ.—Двухъ дюжинъ интеллигенціи нѣту. И это городъ! Населенный пунктъ цивилизованнаго государства! Боже! Занесла же нелегкая... Двухъ дюжинъ нѣтъ, а бьютъ другъ друга по рожѣ! И это культурное единство?

— Вѣрно, что безобразно,—согласился Ѳедоръ Дмитричъ,—но что же? Не нами началось, не нами и кончится. Вездѣ такъ. Что въ Храповицкомъ, что въ Перинскѣ, что

въ Пуховикѣ, что въ Подушкинѣ. Ты напрасно сталъ въ общественное собраніе ходить. Они, эти общественныя собранія, затѣмъ и заведены, чтобы въ нихъ скандаламъ быть. Ежели ты смирность и философію обожаешь, сиди дома, книжку читай. А повадился въ собраніе,—значитъ, въ скорости либо кому другому фасъ попортишь, либо свой береги!

— Милые нравы!

— И не пойму, съ чего ты такъ убиваешься? Лучше спалъ бы. Велика важность,—докторъ плюху закатилъ! Да онъ уже которому катаетъ. Ежели бы за каждую плюху на дуэль, ему бы уже разъ пять помереть надо.

— Однако, катаетъ все онъ, а не ему!—горячо воскликнулъ голосъ.

— Погоди, и ему закатятъ, дай срокъ. Это—«ею же мѣрою мѣрите»... А дуэль—глупо, братъ.

Онъ вдругъ фыркнулъ.

— Что еще?—брезгливо окрикнулъ голосъ.

— Дуэль!—хохоталъ Ѳедоръ Дмитричъ.—Въ Храповицкѣ дуэль?! Небось, онѣ по секрету бываютъ, дуэли-то.

— Разумѣется, не звонятъ о нихъ на всю Европу.

— До Европы, братъ, изъ Храповицка не дозвонишься. Стой. Сочту по пальцамъ. Ты, да твои два секунданта, онъ, да его два, да врачъ: семь душъ! Стало-быть, почитай, что половину интеллигенціи на поле брани вытащить надо. Такъ ужъ лучше прямо пикникъ устроимъ,—по крайности, можно хоть съ дамами.

— Итакъ, ты секундантомъ моимъ быть не хочешь?

— Отстань!

— Нехорошо, Ѳедоръ Дмитричъ!

— Тебѣ нехорошо, а мнѣ ладно.

— Нехорошо и даже... оскорбительно!

— Глупый человѣлъ, сообрази! Ну, какой я тебѣ секундантъ, ежели я мировая судья?

— Ахъ, да! Чортъ!—выругался голосъ.

Пауза.

— Слѣдователя пригласить что ли?—вопросилъ голосъ, утративъ много рѣшительности.

— Фюить!

— Нечего свистать! Право, приглашу. А? Кажется, совсѣмъ порядочный человѣкъ...

— Отличнѣйшій. Только,—съ насмѣшкою продолжалъ Ѳедоръ Дмитричъ,—знаешь, что? Коли судейскихъ приглашать, такъ валяй, братъ, прямо къ товарищу прокурора. Такъ молъ и такъ: я, податной инспекторъ Фикусовъ, затѣваю смертоубійство, не угодно ли вамъ принять благосклонное участіе?.. Очень ловко и красиво выйдетъ. Совѣтую.

— Если казначея?

— Семейнаго-то? Ему Клеопатра Львовна глаза выдеретъ! Семейныхъ оставь, они не въ счетъ. Холостого ищи.

— Нотаріуса?

— Первый же и донесетъ. Стервецъ!

— Ну, секретаря управскаго, онъ три класса въ гимназіи былъ.

— Развѣ, что секретаря. Ладно. У тебя—секретарь и—второй кто? Ну, хоть лѣсной ревизоръ что ли. У него, скажемъ, акцизный и почтмейстеръ. Докторъ. И остаются, голубчики вы мои, изъ всей нашей храповицкой интеллигенціи свободными отъ вашей дуэли только исправникъ да жандармскій офицеръ, чтобы настрочить другъ другу о васъ, дуэлянтахъ, по отношенію, мѣры принять и въ губернію отписать... Ха-ха-ха! Дуэль! Дуэли по рощамъ, садамъ устрояются. А у насъ, вокругъ Храповицка, на семьдесятъ верстъ куста не видать.

— Чортъ знаетъ что!

— А ты какъ думалъ?

— Что же мнѣ, однако, дѣлать? Не къ мировому же его тянуть за личное оскорбленіе дворянина! Чтобы кто-нибудь изъ учителишекъ настрочилъ корреспонденцію въ газеты и изсрамилъ на всю Россію?..

— Да, лучше не тяни—оправдаю.

— Что-о-о?—вскипѣлъ голосъ.—Ты смѣешь мнѣ въ глаза...

— Очень смѣю и оправдаю. Никакъ мнѣ нельзя его не оправдать.

— Ѳедоръ Дмитричъ!

— Тридцать восьмой годъ, братъ, я Ѳедоръ Дмитричъ.

— Что же, выходитъ, онъ, по твоему, правъ былъ? а? правъ?

— Да, правъ ли, не правъ ли, а... У городского головы мы по воскресеньямъ пирогъ ѣдимъ?

— Ну?

— У исправника винтимъ?

— Ну?

— Отецъ протопопъ—мимо его не пройти, чтобы водки не выпить, — сидитъ у него докторъ день-деньской или не сидитъ?

— Какое отношеніе?

— Такое, что мнѣ изъ-за тебя съ докторомъ ссориться смысла нѣтъ. Потому что мы съ нимъ на дню-то, можетъ, разъ десять встрѣчаемся. Не въ столицѣ, въ Храповицкѣ топчемся. Нельзя, братъ,—много водки вмѣстѣ выпито и еще выпьемъ. Опять же—эскулапій. Прихворну,—его надо звать. А онъ злопамятный. Возьметъ, да и пропишетъ въ насмѣшку какого-нибудь пурганцу! У насъ, братъ, было. Управляющаго заводскаго опоили въ водкѣ укропными каплями, да и покинули одного въ дамской компаніи—развлекай! Хорошо, что человѣкъ нравъ веселаго и все свое безобразіе въ шутку обратилъ, такъ что дамы даже удовольствіе получили, ну, а я на свою находчивость не надѣюсь.

Податной удрученно бормоталъ:

— Мерзость... тупость... цинизмъ... Все на почвѣ личныхъ отношеній... Ни этики, ни справедливости...

— Эхъ, братъ!

— Справедливость нужна, Ѳедоръ!

— Въ Храповицкомъ? На кой чортъ?

Податной не отвѣтилъ. Ѳедоръ Дмитричъ побѣдно продолжалъ:

— Какая можетъ быть въ Храповицкѣ справедливость, если уже самое существованіе Храповицка есть столь огромная несправедливость, что натощакъ ее не вмѣстить, особенно, если не пьющему? Я, братъ, интеллигенцію нашу потому всегда и оправдываю во всѣхъ винахъ. Что ни спакостятъ,—иди себѣ съ Богомъ и впередъ не грѣши. Ибо нѣсть такого проступка, предвидѣннаго въ уложеніи о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, котораго бы, въ глазахъ моихъ, не искупала для человѣка образованнаго уже самая обязанность въ городѣ Храповицкѣ жизнь тратить.

— То-то они у тебя и дерутся по клубамъ.

— Подерутся и помирятся. И тебѣ совѣтую. Чего ссориться? Живите въ любви.

— Ты такъ говоришь, будто, по-твоему, мы еще не въ ссорѣ.

— Конечно, нѣтъ. Гдѣ же между вами ссора? Слава Богу, никакой ссоры не усматриваю.

— Послѣ давешняго?!

— Ну, и послѣ давешняго... Чего особеннаго? Ты въ карты сплутовалъ...

— Ѳедоръ Дмитричъ!

— Хорошо, будь по твоему, не плутовалъ,—недоразумѣніе вышло. Ты ему недоразумѣніе, онъ тебя хлястнулъ—квиты! Все, какъ есть, по хорошему. Какая же ссора? Ссора—это, когда вотъ дуэли, кляузы, доносы, вообще, ненависть. А мы, дастъ Богъ, завтра же будемъ у головы всѣ вмѣстѣ водку пить.

— Я? Съ нимъ?—истерически взвизгнулъ податной.—Съ извергомъ? Нѣтъ-съ, Ѳедоръ Дмитричъ! Нѣтъ-съ, мой любезнѣйшій! Какъ ни мало вы удостаиваете меня ува-

*

жать, а въ этомъ ошибетесь. Я палъ, я низко палъ. Но, чтобы послѣ морды—водку... Нѣтъ! Не дай Богъ намъ встрѣтиться, вотъ что, Ѳедоръ Дмитричъ!

— Опять драться хочешь? Побьетъ онъ тебя. Сильный.

— Пусть! А я... я его отмѣчу!

— Ишь.

— Плюну при всѣхъ ему въ рожу, и пусть! Я битъ, а у него плевокъ на рожѣ! Пусть!

— Первое отъ тебя слово умное слышу!—вдругъ заговорилъ Ѳедоръ Дмитричъ, спѣшно и съ необычайнымъ одушевленіемъ. Вотъ это ты прекрасно надумалъ! Истинно хорошо! Я даже не ожидалъ, что ты можешь быть такъ уменъ. А то дуэль! Плюнь, именно плюнь!

— И плюну!

— И плюнь.

— Да! Потому что интеллигентъ интеллигента не долженъ...

— Вѣрно. Плюнешь—и скандалу конецъ! Дружки будете.

Податной изумленно крякнулъ: слышно, собесѣдникъ озадачилъ его новою неожиданностью. А тотъ развивалъ и смаковалъ свою идею все съ тѣмъ же веселымъ оживленіемъ.

— Онъ-то извѣстный кляузникъ. Онъ на тебя непремѣнно подастъ. Ну, а какъ подастъ,—тутъ я васъ и помирю. За взаимностью обидъ! Сейчасъ вамъ судиться нельзя: равновѣсіе нарушено. Онъ перехватилъ, ты недохватилъ,—какъ ни суди, кого-нибудь обидѣть надо. А тогда равновѣсіе возстановится; поцѣлуетесь, и пойдемъ къ головѣ водку пить.

— Но... неужели онъ подастъ?—съ сомнѣніемъ отозвался податной, пропуская мимо ушей послѣднія перспективы. Ѳедоръ Дмитричъ даже пятками затопоталъ.

— Ѳома невѣрный! Какъ же ему не подать, если онъ это любитъ? Кто его обидитъ, онъ сейчасъ судится. А этого

ужъ особенно терпѣть не можетъ, чтобы на него плевали. Не въ первый разъ. Обязательно на всѣхъ подаетъ. Акцизный, на что ужъ закадыка, а и на того подавалъ.

— Развѣ у нихъ... было?

— А ты удивить думалъ? Нѣтъ, братъ, мы тутъ промежъ себя крещеные.

— Это ужасно, ужасно, что ты говоришь!

Пауза.

— По моему,—нарушилъ ее Ѳедоръ Дмитричъ,—оно даже къ лучшему, все, что съ тобою случилось. Потому что, воля твоя, а ты возносился, да!

— Кажется, я всегда со всѣми вѣжливъ...

— Что вѣжливъ? Изъ вѣжливости шубу не сшить. Вѣжливъ, а презираешь и возносишься. Будь невѣжа, да не возносись.

— Но чѣмъ же я обнаружилъ?

— Взять тоже общественное собраніе. Какъ ты въ него входишь? «Небожителемъ» входишь. Фу, ты—ну, ты! Жалкіе, молъ, смертные! Съ вами ли мнѣ быть? У меня въ раю съ Бисмаркомъ роберъ не доигранъ! Ты думаешь, мы не видали? Нѣтъ, братъ, зоркіе. Коли ты «небожитель», то и сидѣлъ бы себѣ на небеси. А, ежели ты въ храповицкое общественное собраніе полѣзъ, то «небожителя» по мордѣ хватить кому не лестно? Больно онъ тебя?

— Не... не очень...

— То-то, а то у него перстни.

— Не понимаю, ей-Богу, не понимаю...—раздумчиво бормоталъ податной.

— Не возносись!—подхватилъ Ѳедоръ Дмитричъ.—Нельзя возноситься! Это, если кто совершаетъ теченіе жизни въ Петербургѣ тамъ или въ Парижѣ какомъ-нибудь, тому возноситься ничего, не опасно. А, если тебя въ Храповицкъ засунуло, гдѣ твой резонъ? Не имѣешь ты никакого резона! Что ты Сергѣевича слушалъ? Эка! Всѣ, братъ, кого-нибудь слушали. О докторѣ, твоемъ обидчикѣ,

сказываютъ, будто его, на экзаменѣ, самъ Снѣгиревъ въ лобъ поцѣловалъ. Да-съ! А теперь онъ паціентамъ, для смѣха, пурганецъ прописываетъ; гулящія дѣвки, которыхъ онъ свидѣтельствуетъ, его «пьяною тютечкой» зовутъ; а ты на него плевать собираешься.

— И плюну.

— И плюнь!.. Онъ тебѣ асаже, ты ему,—оба при своемъ равномъ удовольствіи. А «небожителемъ» въ Храповицкѣ существовать нельзя. Небожительство оскорбляетъ. Ну, и того... Ты въ карты глазенапа пустилъ,—другому бы даромъ сошло, а ты досталъ въ морду. И слѣдуетъ. Потому что возносился, небожитель! «Небожителямъ» въ карты глазенапа пускать не полагается. Училъ тебя Сергѣевичъ въ карты глазенапа пускать? А? училъ?

— Ѳедоръ Дмитричъ!

— Нѣтъ, ты говори: училъ?

Пауза.

— То-то!

Пауза.

— Я такъ думаю, теперь ты для многихъ даже пріятнѣе станешь. Потому что боялись тебя: фордыбачитъ человѣкъ, носъ къ верху держитъ.—Богъ тебя знаетъ!—можетъ, и впрямь, у тебя звѣзда въ переносье влѣплена. Ну, а теперь, какъ принагнуло тебя, носъ ты опустишь, всѣ и разглядятъ: никакой звѣзды нѣтъ, обыватель обыкновенный, civis vulgaris, самый разотличный душа-человѣкъ. Нашъ братъ Исакій! Воспляши съ нами!

— Стало быть... до дна опускаться!—удрученнымъ Гамлетомъ простоналъ податной.

— Ну, вотъ и слова! Къ чему эти слова? Это лучше водки выпить, чѣмъ такія пустыя слова. Благо, всякій сонъ разгуляли... Гдѣ у тебя водка-то?—освѣдомился Ѳедоръ Дмитричъ совершенно дѣловымъ тономъ.

— За комодомъ,—сказалъ Гамлетъ...

...Свѣча догорала. Свѣтъ и тѣни пламени широко мигали,—точно птица махала крыльями по краснымъ ширмамъ и сѣрымъ стѣнамъ. Я лежалъ, ждалъ, когда наступитъ мракъ, и мнѣ было почти страшно, что онъ наступитъ, и не хотѣлъ погасить свѣчу... А отдушникъ все еще разговаривалъ.

— Какъ хочешь, интеллигентъ интеллигента... Нѣтъ, я, въ самомъ дѣлѣ, плюну...

— И плюнь!

## II.

# Обличитель.

Онъ пришелъ ко мнѣ, яко тать въ нощи, позднимъ вечеромъ, когда въ Храповицкѣ гости уже не бываютъ, и городъ теменъ и спитъ, а спущенныя съ цѣпей «собачки» басисто лаютъ во дворахъ о своей готовности вцѣпиться въ любыя человѣческія икры, которыя осмѣлятся приблизиться къ хозяйскому крыльцу. Въ двухъ-этажныхъ домахъ, гдѣ верхнія окна безставленныя, мелькаютъ и гаснутъ бродячіе огоньки: это опасливые обыватели творятъ на ночь грядущую вооруженный обходъ по квартирѣ: нѣтъ ли вора въ дому, не сидитъ ли кто, злонамѣренный, подъ столомъ, за шубами, въ чуланѣ, въ помѣщеніяхъ неудобоназываемыхъ.

— Ты въ печурку загляни! — острить храбрящійся pater familias.

— И загляну, — невозмутимо возражаетъ mater, со свѣчею въ одной рукѣ и косаремъ въ другой.

Гость въ такую пору, тѣмъ паче незнакомый даже по фамиліи, показался мнѣ довольно страннымъ. Да и повелъ онъ себя, съ мѣста въ карьеръ, удивительно. Чѣмъ бы поздороваться, окинулъ комнату пытливымъ взоромъ, отступилъ въ сѣни и гудитъ оттуда:

— Этотъ покойчикъ у васъ на улицу смотритъ?

— На улицу.

— А нѣтъ ли такого, чтобы окнами во дворъ?

— Есть, но... зачѣмъ?!

— Увидятъ меня у васъ, непріятности будутъ.

— Мнѣ или вамъ?

— Мнѣ и вамъ... обоимъ!

— Но на окнахъ ставни!

Меланхолическій отвѣтъ:

— Сквозь ставни-то и подглядываютъ. Видитъ проходящій свѣтъ въ щеляхъ и любопытствуетъ: по какому случаю? зачѣмъ поздно засидѣлись? И будетъ ходить вокругъ, покуда такой щели не найдетъ, чтобы все ваше нутро высмотрѣть.

Я убѣдился.

— Хорошо. Пойдемте.

— Вы, конечно, думаете,—заговорилъ онъ, когда я ввелъ его въ безопасный пріютъ,—что я къ вамъ съ «мягкими деньгами»? Нѣтъ, не тревожьтесь. Я только—Кобылкинъ.

— Чѣмъ могу служитъ?

Онъ воззрился на меня съ недоумѣніемъ.

— Что же вы ролю играете?

— Какую ролю? Богъ съ вами!

— Позвольте. Вы поняли меня? Кобылкинъ. Моя фамилія ничего не говоритъ вамъ?

— М-м-м... кобылка—это въ родѣ кузнечика?

— Какіе, къ чорту, кузнечики!

Онъ даже всплеснулъ руками:

— Да не станете же вы увѣрять, что вамъ меня никто еще не ругалъ?

— Однако, это такъ. Впервые слышу о васъ.

— Н-ну... чудеса въ рѣшетѣ! Что это сталось съ Храповицкимъ? Надо съѣздить посчитать, сколько богато медвѣдей въ тайгѣ померло.

Онъ всталъ со стула и довольно элегантно, хотя иронически, раскланялся.

— Коллега-съ. Писатель буду. Обличитель. Корреспондентъ.

— Очень пріятно. Вы куда посылаете?

— Я-съ?—щуря лѣвый глазъ, переспросилъ онъ.—А ну-ка, угадайте?

— Откуда же мнѣ знать?

— Да хоть попробуйте.

— Мѣстные органы мнѣ мало знакомы.

— Я-съ никогда ни одной строки не напечаталъ въ мѣстныхъ органахъ.

— Въ столичной прессѣ я что-то васъ не припомню...

Онъ даже съ восторгомъ какимъ-то возопилъ:

— Никогда ни одного слова моего не было помѣщено въ столичной прессѣ!

— Ну, тогда—Богъ васъ знаетъ, куда.

Кобылкинъ язвительно осклабился.

— А если я вамъ скажу, что — никуда?—медленно произнесъ онъ, смакуя эффектъ, которымъ меня поразитъ. Мнѣ, правду сказать, было все равно, но я видѣлъ, что ему-то ужасно, нутромъ хочется, чтобы я былъ озадаченъ и пораженъ, и я сдѣлалъ ему удовольствіе—притворился озадаченнымъ и пораженнымъ.

— То-есть какъ же — никуда? Какой же вы, рекомендуетесь, писатель?

— А вотъ какой!

Господинъ Кобылкинъ, не безъ трагедіи, зашагалъ по комнатѣ. Что въ чудаковатомъ гостѣ моемъ непочатый уголъ ломанья и позы, чувствовалось сразу. Но сквозь напускное, трепетало какъ будто и какое-то настоящее смятеніе. Что руки за спину и голова мотается на грудь, какъ у норовистаго коня—это роль; но и дергаетъ-то его, и коробитъ и разбираетъ, и подмываетъ говорить, говорить, говорить... Актеръ-то актеръ, да, видно, не совсѣмъ по доброй волѣ, а больше—

Ich hab, mit dem Tod in der eignen Brust
Den sterbenden Fechter gespielet!

— Вы какого мнѣнія о нынѣшнихъ сельскохозяйственныхъ совѣщаніяхъ? *) — круто остановился онъ предо мною.

— Самаго хорошаго.

— Сочувствуете? Такъ. Случай провинціи высказаться о нуждахъ и о себѣ самой, не правда ли? Рѣдкій случай? Хорошо-съ. Должна мѣстная интеллигенція воспользоваться этимъ случаемъ и вложить въ разработку совѣщаній свою душу, или не должна?

— На кого же иначе и уповать?

— Такъ-съ.

Онъ скрестилъ руки на груди, пронизалъ меня леденящимъ взоромъ и медленно, вѣско произнесъ:

— Что же послѣ того вы можете сказать въ оправданіе поступка господина Полупемзова?

— А какъ онъ поступилъ?—возразилъ я съ храбростью блаженнаго невѣдѣнія.

Кобылкина опять погнало сновать по комнатѣ. Онъ шагалъ и выкликалъ отрывисто:

— Эксъ-профессоръ! Глава мѣстной интеллигенціи! Свѣтило науки! Уважаемая личность! почетный гражданинъ города! Вѣдь его-съ, какъ мѣстную достопримѣчательность, наѣзжимъ знатнымъ иностранцамъ показываютъ-съ! Вѣдь онъ-съ въ европейскихъ обществахъ-академіяхъ членомъ-корреспондентомъ состоитъ! И что же-съ? Зовутъ его теперича въ комиссію, а онъ... отвергаетъ! Ломается! Оставьте меня въ покоѣ!—говоритъ.

— Нехорошо,—согласился я.

— Я,—говоритъ,—боюсь. Мое,—говоритъ,—дѣло—наука, а общественностей вашихъ я не понимаю, не знаю, да и понимать, и знать не хочу. Вы,—говоритъ—еще того

*) Дѣло было въ 1902 году.

тамъ наболтаете, что послѣ губернатору хоть въ глаза не гляди! Какія, говоритъ, тамъ бѣдствія? Что за мужики? Мнѣ, человѣку ученому, только бы травки мои, гербарій мой разсортировать да описать, а мужиками вашими я, признаюсь, даже никогда не интересовался. Я, говоритъ, когда въ экскурсіяхъ, стараюсь въ деревняхъ-то и не останавливаться, люблю на степу ночевать, въ тарантасѣ, подъ открытымъ небомъ... Такъ и отбоярился. Хорошо это съ его стороны? А? Какъ по вашему? Хорошо? Отъ бывшаго профессора-то?

— Мертвовато. По гелертерски.

— Мнѣ бы травки, мнѣ бы травки!—задразнился Кобылкинъ на Полупемзова и даже погрозилъ кулакомъ—Ну, погоди, чортъ злачный! Я тебѣ пропишу травку.

Онъ мелькнулъ мимо меня еще раза три и вдругъ, проходя, вкось, сунулъ мнѣ смятую бумажку.

— Читайте.

Я прочелъ:

## *ИНАШВЕ.*

### *О неразсудительномъ ботаникѣ и находчивомъ кавалерѣ де-Муфлонѣ.*

Нѣкоторому ботанику, мужу славы, доблѣйшія заслугъ онаго, кавалеръ де-Муфлонъ, человѣколюбивъ зрящійся, единожды въ приватномъ концилiи съ превеликою горячкою говорилъ:

— Господинъ ботаникъ! Въ разсужденіи, что въ странѣ нашей людскіе и скотскіе корма нарочито какъ вздорожали и жительство утѣснилось въ животѣ, соблаговолите сотворить мнѣ совѣтъ добрый, какъ злаки къ столь дешевому знаменателю привести, дабы люди и скоты, въ достаточности невозбранно вкушая, чрезъ пустоту животовъ своихъ общаго живота не лишались!

Оный прославленный тотъ ботаникъ, орденъ святыя Анны изъ-подъ галстуха выправляющъ, сказанному кавалеру де-Муфлонъ на легкомысленный запалъ его съ хладнокровіемъ отвѣчалъ:

— Пожалуйте, государь мой, кавалеръ де-Муфлонъ, на томъ меня въ покоѣ оставить. Поелику, хотя мнѣ въ странѣ сей обитающу сорокъ лѣтъ, одначе къ животу оной дерзновеннаго любопытства не питалъ, и, како обыватели суть въ дняхъ бытія своего, сіе вѣдать въ службѣ единственно благихъ воеводъ нашихъ числю. Себѣ же, яко странствующу, въ особливое соблюденіе вмѣняю, — какъ скоро на человѣческое жило набредя, таковое обходить и въ лугахъ ночевать, понеже, кромѣ травки, ботаникъ сущъ, интереса ни къ чему не имѣю. Въ каковомъ спокойствѣ укоренясь, никогда непріятнаго не почерпнулъ, но многимъ довѣріемъ почтенъ и знака отличія удостоенъ.

— Слышаннымъ тѣмъ словамъ, злохудожный тотъ кавалеръ де-Муфлонъ, въ дерзости не смутясь, супротивъ ботаника своимъ особымъ куплиментомъ оборотился:

— Государь мой!—съ азартомъ сказалъ.—Въ скотоводствѣ своемъ имѣю многихъ овновъ, кои, такожде въ странѣ нашей подавну живя, обычно пасомые кругъ людского жила, къ бытію его любопытства не являютъ, но на единую траву съ превеликимъ интересомъ устремляются.

Оную замысловатую отповѣдь цѣня, изумленный сей ботаникъ должный конфузъ безъ экскюзе получилъ и, ничто же могущъ отрицать, токмо орденъ святыя Анны вторично на шеѣ поправилъ.

*Ефимъ Прутковъ, двоюродный сынъ Козьмы Пруткова.*

— Ну... Какъ?—спросилъ Кобылкинъ, когда я возвратилъ ему листокъ. Голосъ его дрожалъ, глаза сверкали.

— Ничего... Живетъ...

— Главное, прутковскій стиль-то выдержанъ ли? стиль?

«Ага», — подумалъ я, — вотъ гдѣ тебя жуки царапаютъ!»

— Ничего, похоже.

— Такъ что, будь у васъ, скажемъ, своя газета, вы бы напечатали?

— Если мѣстная газета, напечаталъ бы.

— А въ общую прессу не годится?

Голосъ Кобылкина сразу упалъ, и весь онъ выцвѣлъ какъ-то. Мнѣ стало жаль его.

— Годилось бы, да случай-то мелкій, мѣстный, большая публика не пойметъ соли.

Изъ груди Кобылкина вырвался вздохъ облегченія.

— Но за стиль?—восклицалъ онъ, повеселѣвъ,—вѣдь стиль хорошъ? Развѣ нельзя напечатать за одинъ стиль? Стиль много удовольствія приноситъ. Вѣдь походитъ же на Кузьму Пруткова... согласитесь!

— Стиль подходящій.

Онъ еще ярче расцвѣлъ.

— Я и подъ Щедрина могу. Вы любите Щедрина?

— Очень.

— Да-съ! И подъ Пруткова могу, и подъ Щедрина— подъ кого хотите, подъ того и напишу. Да-съ! И, при всемъ томъ, долженъ погибнуть въ неизвѣстности, потому что— любуйтесь!

Онъ схватилъ своего «Ботаника» и поднесъ къ свѣчѣ. Бумага запылала.

— Вотъ-съ единственная типографія, которой я ввѣряю свои произведенія!

Горящіе лоскутья упали на полъ. Кобылкинъ растопталъ ихъ ногами.

— Что же такъ?

Онъ помолчалъ и потомъ мрачно отозвался:

— Трусъ я.

— Ага!

— Презираете?

— Нѣтъ... что же?

Заходилъ, засновалъ маятникомъ...

— Я, однако, не понимаю,—заговорилъ я.—По вашимъ словамъ, здѣшніе обыватели знаютъ васъ, какъ обличителя...

— Я порча, я чума, я язва здѣшнихъ мѣстъ-съ!— злобно засмѣялся Кобылкинъ.

— Но, если вы не печатаете своихъ произведеній и даже предаете ихъ огню, откуда Храповицкъ освѣдомленъ о вашихъ обличеніяхъ? Какія доказательства?

Кобылкинъ проворчалъ:

— Еще бы доказательства! Тогда бы мнѣ и въ живыхъ не быть.

— Однако?

— Меня и безъ доказательствъ два раза поджигали. А, если дѣло подъ вечеръ, то я хожу не иначе, какъ главною улицею и при томъ по самой ея серединѣ. А въ переулки не смѣю и заглядывать. Полѣно-то въ лобъ получить никому не лестно. Это безъ доказательствъ-съ. Да, имѣй они доказательства...

Кобылкинъ засвисталъ.

— Видите ли,—продолжалъ онъ спокойнѣе,—я сказалъ вамъ правду, что никогда не видалъ ни одной своей строки въ печати. Но не смѣю увѣрять, чтобы я не имѣлъ сношеній съ редакціями. Напротивъ, очень частыя. Вы, должно быть, мало интересовались газетною «провинціей», а то бы фамилія моя вамъ кое-что напомнила. Пора ей навязнуть въ глазахъ у добрыхъ людей. Ужъ разъ пять-то или шесть въ годъ непремѣнно появляются авизы тѣхъ или другихъ изданій: «Обыватель г. Храповицка, г. Кобылкинъ, проситъ насъ засвидѣтельствовать, что не онъ авторъ корреспонденціи о дракѣ въ мѣстномъ общественномъ собраніи»... «По желанію храповицкаго обывателя Кобылкина, заявляемъ, что онъ не имѣетъ никакого отношенія къ

статьямъ о безпорядкахъ въ храповицкой управѣ»... Неисчислимо, сколько я на вѣку своемъ, отправилъ этихъ «я не я и лошадь не моя» въ Петербургъ, въ Москву, въ губернію. И, отправляя каждое, дрожу!

— Чего же?

— Да вѣдь смѣшно, наконецъ!—горячо воскликнулъ Кобылкинъ.—Не я писалъ... И это не я... И то не я... и то, и то... Я просто изумляюсь, какъ мнѣ везетъ, что столичные юмористы меня прозѣвываютъ и еще не подхватили на зубокъ. Что, молъ, за чудакъ появился «не» пишущій? Что ни случись,—«не я писалъ»... Кому надо? зачѣмъ? съ какой стати? То были знаменитые писатели, а теперь выискался великій неписатель. Ура г. Кобылкину за все, чего онъ не писалъ! Благодарные храповицкіе обыватели! ужели вы не соорудите своему непишущему согражданину монумента за то, что онъ не писалъ? Забавное положеніе? а?

— Не столько забавное, сколько...

— Глупое! — вы не стѣсняйтесь, договаривайте, будьте откровенны.

— Но какъ васъ угораздило попасть въ него?

— Очень просто. Были выборы городского головы. Я тутъ за одного крѣпко стоялъ, хотѣлось провести его... ну, и написалъ въ тетрадку портретики его конкурентовъ... очень смѣшно вышло... Весь городъ читалъ, довольны были, по плечу хлопали: ай да Кобылкинъ! здорово пробралъ! чудакъ! въ газету пошли такія вещи печатать надо. Хорошо, что Богъ хранилъ,—не послушался. Я въ эмпиреяхъ плаваю: угодилъ!—да еще, еще... И вдругъ—вѣтеръ въ другую сторону: растолковалъ кто-то, понимаете, что молъ—чему обрадовались? Ежели онъ этакъ сегодня Ивана да Петра, то завтра можетъ и Карпа да Сидора. А—что Иванъ, что Карпъ, что Петръ, что Сидоръ—всѣ мы здѣсь кумовья, свои люди, однимъ мѵромъ мазаны... и, стало быть, выхожу я, Кобылкинъ, смутьянъ и общій врагъ—

вродѣ волка въ овчарнѣ! И всѣ сразу озлились, какъ черти, и правые, и виноватые, и кто обруганъ, и кого не трогано: пасквиль! подметная литература! грязное вторженіе въ частную жизнь! Вонъ Кобылкина! Бить Кобылкина!.. Исправникъ въ губернію пишетъ, товарищъ прокурора пишетъ, городской голова пишетъ,—положимъ, врали: никто никуда ничего не писалъ,—да орали-то на всю вселенную, будто пишутъ. Ну... что жъ? Я прямо говорю: гражданскимъ мужествомъ не богатъ, не взыщите... струсилъ... Помилуйте! Даже протеже этотъ мой,—и тотъ:—Не ожидалъ я отъ тебя, Кобылкинъ!.. Ну... Ходилъ по домамъ, каялся: шалость пера, молодость лѣтъ, простите, больше не буду!.. Подло, да вѣдь не все же мнѣ, какъ Каину зачумленному, середкою улицы гулять, надо иной разъ и переулкомъ пройтись... А тамъ—съ полѣньями!

— Подѣйствовало?

Онъ махнулъ рукою.

— Все равно! Репутація была составлена. Теперь, вотъ уже седьмой годъ-съ, каждая газетная ругань, каждая злая корреспонденція изъ Храповицка приписывается мнѣ. Я окруженъ предубѣжденіемъ. Я для нихъ просто обличительный миѳъ какой-то и козелъ отпущенія! Гдѣ бы, кто бы ни затронулъ Храповицкъ, виноватъ Кобылкинъ! Если храповицкаго околоточнаго облаютъ на Сандвичевыхъ островахъ, отвѣтственнымъ окажусь я, Кобылкинъ, хотя клянусь вамъ: не знаю даже, какимъ языкомъ люди Сандвичевыхъ острововъ изъясняются.

— Но ваши опроверженія?

Кобылкинъ улыбнулся, какъ на дѣтскій вопросъ.

— Кто-то,—началъ онъ,—положимъ, я знаю, кто!—напечаталъ въ столичной газетѣ «страшную мерзость»... положимъ, совсѣмъ не мерзость, а сущую правду про нашего городского голову: вѣдь у насъ всегда «страшною мерзостью» называется сущая печатная правда. Зашумѣло храповицкое болото: кто? какъ? Ну, разумѣется, Кобылкинъ! Онъ уже отъ

чрева матери во всѣхъ винахъ виноватъ. Хорошо-съ. То есть, очень скверно-съ. Въ одинъ прекрасный день голова, —человѣкъ, надо вамъ сказать, мнѣ, по здѣшнимъ дѣламъ моимъ, очень нужный,—не отвѣтилъ мнѣ на поклонъ при всей честной публикѣ. Я, въ то время еще не такъ безнадежно запуганный, думалъ отбарахтаться: пойду и объяснюсь. Являюсь. Такъ, молъ, и такъ, узналъ, что вы питаете противъ меня несправедливую злобу,—это не я!..—Да,—возражаетъ,—конечно, вамъ теперь не остается ничего больше, какъ отпираться, потому что поступокъ вашъ самый гнусный.—Я, Маврикій Даниловичъ, не голословно, я докажу.—Чѣмъ-съ?—Угодно вамъ – сію минуту, за мой счетъ, запросить редакцію газеты по телеграфу: я писалъ или не я?.. Заинтересовался. Настрочили мы телеграмму, отправили,—отвѣтъ пришелъ самый вожделѣнный: знать Кобылкина не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ. Я торжествую: —Вотъ вамъ, Ѳома невѣрный!.. А онъ повертѣлъ телеграмму въ рукахъ...—Что же?—говоритъ,—спорить не могу, ловко устроено.—То есть?—Одна шайка выходитъ. —Маврикій Даниловичъ! какая же можетъ быть шайка, если я редакціи даже неизвѣстенъ?—А я,—говоритъ,—этого не знаю, извѣстны вы ей или нѣтъ.—Да вѣдь вотъ же свидѣтельство!—А почему, говоритъ, я обязанъ ему вѣрить? Почему я знаю, какія тамъ у васъ предварительныя условія на такой случай и масонскіе знаки? Вы въ телеграммѣ покорнѣйше просили засвидѣтельствовать, что писали не вы,—ну, вотъ вашу покорнѣйшую просьбу исполняютъ, свидѣтельствуютъ... А писали то, все-таки, вы! Одна шайка!

— Однако, твердъ въ позиціи!

— Я, сударь мой, тогда до подлости дошелъ: я этого корреспондента, какъ сыщикъ, выслѣдилъ, узналъ, собралъ несомнѣнныя улики и тогда—выдалъ! На! Ѣшь! Ванькино-Встанькино, учителево дѣло!

— Фу, Кобылкинъ, гадость какая!

— Неблаговонно? Знаю. Но въ отчаяніи былъ... И представьте: самая подлость—вотще! Слушать не сталъ. Ежели, говоритъ, и Ванькинъ-Встанькинъ писалъ, то это вы его научили. На Ванькина-Встанькина я претензіи имѣть не хочу, потому что онъ человѣкъ чужой, въ здѣшнемъ городѣ не свѣдущій, имѣетъ больную печенку и прежнимъ начальствомъ обиженъ. А вамъ должно быть довольно стыдно: вы свой, обыватель-домовладѣлецъ, пора бы вамъ въ своемъ образованіи догадаться, что за подлости морду бьютъ!.. Вотъ и вникните, сколь прочно установилась репутація!—даже залюбовался своимъ несчастіемъ Кобылкинъ.

— Больше скажу,—продолжалъ онъ.—Былъ корреспондентъ Фортикультяпкинъ: безстрашный ломовикъ! Въ усъ никому не дулъ, всѣхъ за полной подписью жарилъ. И... не вѣрили-съ! Говорили, что я! Фортикультяпкинъ, молъ, по добродушію, только фирму свою одолжилъ, а словоблудитъ Кобылкинъ. И Фортикультяпкинъ, по прежнему, у всѣхъ былъ принятъ, а въ меня—изъ переулка полѣномъ!

— Послушайте, Кобылкинъ,—если надъ вами настолько тяготѣетъ храповицкій фатумъ, что остаются втуне даже опроверженія, зачѣмъ вы ихъ, въ такомъ случаѣ, разсылаете? Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, комично.

Кобылкинъ взглянулъ мрачно и многозначительно:

— Для отягчающихъ вину обстоятельствъ.

— То-есть?

— На случай личной непріятности, если съ какимъ-нибудь нахаломъ или драчуномъ судиться случится. Это мнѣ мировой судья нашъ, Ѳедоръ Дмитричъ Грандіозовъ, растолковалъ—спьяну, конечно. Ежели, молъ, тебя кто обидитъ, яко корреспондента,—положу я ему легчайшую мѣру наказанія, ибо вашего брата и Тургеневъ рекомендовалъ увѣчить. А ежели ты докажешь, что обидчику даны были свидѣтельства, что ты не корреспондентъ, онъ же,

*

не взирая, все-таки дулъ тебя, яко корреспондента,—такого изверга я закатаю на высшую мѣру, по всей строгости законовъ...

— Не понимаю, зачѣмъ, при подобныхъ условіяхъ, вы здѣсь живете?

— Куда же мнѣ отсюда? Родной городъ. Я здѣшній. Домишко у меня тутъ. Дѣло коммерческое по близости, верстахъ въ шестидесяти: азбестъ открылся. Невыгодно очень бросать-то... Да и что я преступнаго дѣлаю, чтобы выселяться? Я не пришлый человѣкъ, не навозный, корни у меня-съ. То-то вѣдь и бѣситъ ихъ, что свой братъ. Навозныхъ-то они конфузятся, предъ навозными-то — въ кольцо!

— А этихъ вещей,—я кивнулъ на пепелъ прутковской имитаціи,—вы, дѣйствительно, никому не показываете?

— Вамъ первому!

— Тогда—зачѣмъ и писать?

— Это сильнѣе меня! Не могу! Какъ завижу общественную подлость или глупость, такъ и загорюсь весь—описать въ смѣшномъ видѣ... Ну, и строчу—для уединеннаго самоутѣшенія! А потомъ—жгу.

— Такъ ужъ лучше попробовали бы, что ли, печататься? Хоть страдать не даромъ.

— Не могу: жутко! Застращали очень. Увидать свое въ печати? Да я отъ разрыва сердца умру! И—ужъ очень всѣ мы, здѣшніе, отношеніями переплелись. Взять Полупемзова. Прохватить его пріятно, полгода жизни, кажется, уступилъ бы, чтобы толстую шкуру его прохватить. Ну, а десяти лѣтъ не уступлю: много, самому дороже. А у него въ рукахъ всѣ средства отравить мнѣ жизнь даже не на десять лѣтъ, а хоть до гробовой доски-съ. Азбестомъ этимъ я съ нимъ по рукамъ, по ногамъ связанъ. Захочетъ,—и нѣтъ меня, банкротъ я, нищій, истолченъ въ порошокъ... Стало-быть: жги!

— Остается, все-таки, поблагодарить васъ за оказанное довѣріе. При вашихъ условіяхъ, оно не легко.

— Вы спросите: какъ я къ вамъ попалъ? Три недѣли раскачивался. Сколько разъ приходилъ къ воротамъ. Постою въ сумеркахъ, и—вспять... Ужасъ бралъ: какъ я откроюсь? съ какой стати? А ну—насмѣшу? А ну—за сумасшедшаго приметъ? или за прохвоста изъ оригинальничающихъ?.. Да ужъ невтерпежъ... все въ одиночку... сомнѣнія замучили...

— Авторское самоистязаніе?

— Да. Вотъ, напримѣръ, насчетъ стиля... Что же? Все одинъ я... критерій притупляется... Кабы я былъ правильнаго образованія, а то вѣдь изъ прогимназіи, потомъ ужъ самоучкою нахватался... А стиль, знаете, вещь первая. Такъ хорошъ, вы находите, стиль?

Глаза его наполнились влажнымъ блескомъ мучительной, собачьей мольбы.

— Живетъ! живетъ!

— Главное, чтобы литературно!—развеселился онъ.— Правда вѣдь? весело и литературно!

— Конечно!

— Разумѣется, для свѣчки-то оно и не стоило бы... Но лестно сознаніе, что могу! Правда?

Проводивъ своего гостя, я надолго задумался о немъ:

— Какая бойкая газетная зажига пропала въ этомъ «азбестѣ»!

На завтра дворникъ принесъ мнѣ отъ Кобылкина пакетъ. Въ немъ оказалась рукопись сожженнаго вчера прутковскаго «Инашве». На оборотѣ было написано крупнымъ, но нетвердымъ почеркомъ: «Для васъ одного. Сохраните на память о безумномъ неписателѣ»...

— Жечь жжешь, а копіи-то оставляешь...—съ невольною улыбкою подумалъ я.

III.

# Гальтимюры.

Въ одинъ прекрасный день, выглянувъ на балконъ своего домика въ городѣ Храповицкѣ, я былъ изумленъ уличнымъ движеніемъ, совсѣмъ для нашей глуши необычнымъ. Люди куда-то бѣжали, махали руками, хохотали, орали, свистали, тюкали. Далеко впереди ихъ, на вылетѣ изъ города, клубилось пыльное облако. Кто-то уѣхалъ, кого-то догоняли. Изъ народа явственно слышались рыданія: вопило нѣсколько женскихъ голосовъ. Вглядываясь въ толпу, я замѣтилъ, что центръ ея составляютъ молодыя бабы, семь или восемь, нѣкоторыя съ младенцами на рукахъ. Онѣ-то и выли —однѣ отъ искренней души, источными голосами, другія довольно искусственно и между плача, пересмѣиваясь со знакомыми.

Признавъ въ народѣ мѣстнаго «Шерлока Хольмса»,— городового, ходящаго, по особому предписанію начальства, не въ форменной одеждѣ, но въ зипунѣ,—по фамиліи Кулева,—я окликнулъ его съ балкона:

— Что тамъ такое? Въ чемъ у васъ дѣло, Кулевъ?

Кулевъ поднялъ кверху свое возмутительно-благообразное лицо (бываютъ такія физіономіи, что, чѣмъ онѣ олагообразнѣе, тѣмъ противнѣе, и тѣмъ охотнѣе имъ жела-

ешь: хоть бы ты ночью наткнулся мордою на фонарь!), пріятно улыбнулся и вѣжливо отвѣчалъ:

— Такъ что, ваше высокоблагородіе, изволили отбыть ихъ высокоблагородіе.

Кулевъ назвалъ фамилію мѣстной власти предержащей, по чину не большой бы шишки, но по значенію уѣздному, захолустному, — въ своемъ родѣ, особы немалой.

— Въ уѣздъ? На дѣло?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе: совсѣмъ изволили отбыть, получили переводъ съ повышеніемъ на Дальній Востокъ.

— Ага! Ну?

— Однако, больше ничего-съ.

— А почему же такая суета, и бабы плачутъ?

Кулевъ почесалъ бровь и сказалъ съ глубокомысліемъ:

— Бабы съ!

Потомъ поучительно прибавилъ:

— Ежели отъ насъ господинъ чиновникъ уѣзжаютъ, баба завсегда плакать должна.

Въ это самое время одна изъ театрально рыдавшихъ красавицъ истерически взвизгнула, широко раскинула руки и повалилась въ обморокѣ на дорожную пыль, при чемъ младенца, выпавшаго изъ ея материнскихъ объятій, съ необыкновенною ловкостью, подхватила сосѣдка обомлѣвшей особы.

— Хо-хо-хо-хо-хо-хо!—со свистомъ и гикомъ загрохотала толпа.

А какая-то промшенная отъ лѣтъ, но огромнѣйшая и дороднѣйшая старушища, настоящая древле-чалдонская матрона Мамелоа Тимоѳеевна, вопіяла, причитая:

— Племяннушка ты моя! Манежная ты моя! Настюшенька свѣтъ моя! Ой, подлецъ, погубилъ! Ой, злодѣй, обманулъ!

А въ антрактахъ вопля и рева кланялась въ поясъ на

всѣ четыре стороны и самымъ дѣловымъ тономъ говорила ближайшимъ мужикамъ:

— Видѣли, православные, какъ Настюха сомлѣла? Рѣзвы ноженьки подкосились, ясны оченьки закатились... Засвидѣтельствуйте, однако, родимые! Мы шабры—вы шабры! По-сусѣдски, по-христіански, по-божески!..

Веселая толпа одобрительно грохотала:

— Ну! Чо ащо? Жарь, тетка Арина! Свидѣтельствуемъ! Впервой, что ли? Фершала требуй! Пущай осмотръ сдѣлаетъ! Свидѣтельствуемъ! Не впервой.

— А вотъ это ужъ не дѣло,—заговорилъ Кулевъ, подходя къ поверженной въ прахъ красавицѣ.—Это—уже и не дѣло, Настька, заводить шкандалы на улицѣ! Ты, ежели имѣешь что объяснить, иди къ исправнику или къ слѣдователю, а пыль на дорогѣ по пустому не буерачь и середь улицы не валяйся. Однако, такъ надобе думать, что объявить тебѣ, дурѣ, будетъ нечего, потому что—опосля каждаго чиновника я отъ тебя такія моды вижу... Настька! Тебѣ я, шайтану, говорю или нѣтъ?

Убитая отчаяніемъ, жертва вскочила на ноги чрезвычайно бойко и жизнерадостно,—произнесла:

— О, песъ, варнакъ! Язви-те!

Захохотала, схватила своего ребенка и скрылась въ переулокъ.

— Хо-хо-хо-хо-хо! Ожила! Охъ, ужъ эта Настька: ядъ!—раскатилась толпа.

— Комедчики!

Я все-таки мало понималъ, или, вѣрнѣе сказать, не рѣшался понять сцену эту, какъ она мнѣ непосредственно представлялась: слишкомъ ужъ оно выходило изъ Боккачіо!

Въ народѣ, любопытно устремивъ впередъ свою острую мордочку нервнаго и сердитаго, но не сильнаго горностая, пробирался господинъ Кобылкинъ, злополучнѣйшій мѣстный корреспондентъ въ губернскія газеты, замученный и

запуганный обыватель-обличитель... Я мигнулъ ему, чтобы онъ ко мнѣ зашелъ.

— Ничего особеннаго,—спокойно разъяснилъ онъ мнѣ, попивая кофе.—Самая обыкновенная въ нашихъ палестинахъ сцена. Ихъ высокоблагородіе жили—не тужили, по образованію своему скучали въ нашей дикости, и отъ скуки попивали и донжуанили. Обольщенныя красавицы не утѣсняли своего соблазнителя, покуда онъ той сунетъ золотой, той—трешницу, а главное, покуда онъ твердо сидѣлъ на корню въ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстахъ и представлялъ собою прочный капиталъ на текущемъ счету или серію для стрижки купоновъ. Но вотъ прошелъ слухъ, что онъ навастриваетъ лыжи, т. е. подалъ прошеніе о переводѣ. Тогда мстительныя Дидоны немедленно образовали синдикатъ для устройства своему Энею, на прощанье, колоссальнаго скандала. Я удивляюсь, что ихъ было мало. Впрочемъ, онъ три раза мѣнялъ срокъ отъѣзда и уѣхалъ почти тихомолкою, такъ что здѣсь вы лицезрѣли только тѣхъ, которыя успѣли нюхомъ провѣдать и нагрянуть. А иначе вы были бы свидѣтелемъ грандіозной процессіи... Да, это—что!.. Мелочи!.. Вы никогда не слыхали, какъ уѣзжалъ отъ насъ?..

Онъ назвалъ должность и фамилію чина изъ вѣдомства, почему-то особенно обуреваемаго въ послѣдніе годы нѣжнымъ чувствомъ, которое, послѣ пресловутой золотовской исторіи, остряки стали звать «желѣзнодорожнымъ эротизмомъ».

— Нѣтъ.

Кобылкинъ ужасно развеселился.

— Этому барину храповицкая интеллигенція дала, по газетамъ, кличку: «Гальтиморъ». Знаете, оно совпало: тогда государственное коннозаводство только что купило въ Англіи, для улучшенія русской скаковой породы, производителя «Гальтимора» за двѣсти тысячъ рублей. Полагаю, что кличка достаточно выразительна и комментаріевъ

не требуетъ. Жилъ у насъ «Гальтиморъ», проводилъ время въ эмпиреяхъ, удивлялъ міръ своею досужестью, энергіей и разнообразіемъ вкусовъ; года три спустя, получаетъ, какъ водится, повышеніе и переводъ. Саши, Маши, Паши, Даши, Аксиньи, Ѳетиньи и прочія осчастливленныя заревѣли источнымъ голосомъ. Гальтиморъ, понимая, что безъ скандала ему изъ города не убраться, пустился на хитрости: назначилъ отъѣздъ на завтра утромъ, а самъ удралъ съ вечера изъ чужого дома, гдѣ былъ будто бы въ гостяхъ, и при томъ въ такое разбойничье время, когда отъ насъ никто не отправляется въ дорогу: чуть не къ полночи. Разсчитывалъ: доскачу до перваго станка, тамъ переночую у «дружка» за милую душу, а съ разсвѣтомъ по тиху и мирну катай-валяй дальше!.. Ловите меня тогда, чортовы куклы!.. Какъ задумалъ, такъ все и вышло, будто по писанному. Однако, надо полагать, что онъ объ этомъ своемъ планѣ, все-таки, кому-нибудь проболтался... Хорошо-съ. Прибылъ онъ благополучно на станокъ, за двадцать шесть верстъ, чаю напился, ночуетъ, въ духѣ, «дружокъ» польщенъ честью, что пристала у него такая важная персона, ухаживалъ за нимъ, какъ за ребенкомъ; только что-то, нѣтъ—нѣтъ, да усъ у него, у дружка, усмѣшечкой поводитъ. Утромъ,—а день, какъ нарочно, базарный, праздничный,—Гальтиморъ командуетъ:

— Запрягай, ребята! Выноси вещи! живо!

Дружокъ отвѣчаетъ:

— Запречь коней, вашбродь, съ нашимъ удовольствіемъ, недолго. А вотъ вещи... Куда, вашбродь, прикажешь, однако, вещи класть?

— Какъ куда?! Что за вопросъ дурацкій? Гдѣ были, туда и клади: въ кошеву мою...

— Кабы въ кошеву?! Въ кошевѣ у тебя, вашбродь, ни для какой вещіи мѣста не осталось. Большую тебѣ, баринъ, за ночь Богъ прибылъ послалъ!

Видитъ Гальтиморъ: ходятъ смѣхомъ усы у чалдоновъ,

рожи серьезныя, а въ глазахъ—самый, что ни есть, лютый нашъ сибирскій глумъ... Екнуло у Гальтимора сердчишко, выбѣжалъ онъ во дворъ, глянулъ въ кошеву... Здравствуйте!.. А въ ней—свертки пестрые накладены, словно полѣнья, и сякъ, и эдакъ, одинъ на другомъ: младенцы-съ!.. штукъ десять!.. въ возрастѣ отъ шести недѣль и выше!.. Спятъ какъ ангелы... Умилительно смотрѣть!..

Ошалѣлъ Гальтиморъ. Заоралъ было:

— Это что такое? Тащите сейчасъ же эту пакость вонъ.

Но чалдоны—не переселенцы, ихъ крикомъ не испугаешь. Гальтиморъ оретъ, а они его со спокойствіемъ резонятъ:

— Пакости тутъ, ваше высокоблагородіе, никакой нѣтъ, а видимая къ тебѣ милость Божія: младенчики, ангельскія душки!

— Вонъ! Тащите ихъ вонъ! Вамъ приказываю, изверги, соленыя уши!

— Ишь ты, ловкій!—отвѣчаютъ чалдоны,—нашелъ дураковъ. Дошлый какой, фартовый! Ему будутъ ребятъ подкидывать, а мы отъ него ихъ къ себѣ перетаскивай, экій грѣхъ на себя принимай!..

— Да, можетъ быть, они не мнѣ, а вамъ подкинуты? Кто хозяинъ? Чей дворъ?

Дружокъ возражаетъ:

— Дворъ, ваше высокоблагородіе, мой, и хата моя, а кошева твоя и младенцы твои. Ты меня въ это дѣло не путай, потому что вся видимость изобличаетъ, что твои;—вонъ оно какъ разсчетисто: даже и записочки съ адрицомъ къ одѣяльцамъ приколоты... Ну-ка-ся, кто у насъ грамотные, выходите почитать!..

Стали читать, но, при первыхъ же словахъ первой же записки, заткнулъ себѣ Гальтиморъ уши пальцами и завопилъ:

— Довольно! Не смѣй, мерзавецъ! Имѣй уваженіе къ начальству! За оскорбленіе на письмѣ судиться буду!

Чалдоны ему на это:

— Вотъ видишь. А говорилъ: не тебѣ!

Дружокъ же фарисейски утѣшаетъ:

— Очень мнѣ тебя, ваше высокоблагородіе, жаль, но, вѣришь Богу, не могу! Кабы одного тебѣ подкинули, оно куда бы ни шло: уважили бы тебѣ миромъ за твою добродѣтель,—а то вишь, какъ тебя Богъ-то любитъ: кому, хоть размолись,—одного благословенія не дастъ, а тебѣ десять немоленныхъ послалъ!

— Да что же вы, чертовы роги, прикажете мнѣ, что ли, съ собою на Дальній Востокъ этихъ поросятъ тащить?

— Это какъ тебѣ, вашбродь, будетъ угодно. Хошь вези, хошь начальству сдай, какъ слѣдуетъ порядокъ. Вотъ сичасъ пошлемъ за рѣку по станового, составимъ протоколъ, и конецъ дѣлу: тебѣ не обижаться, намъ не серчать...

Гальтиморъ повертѣлъ мозгами: худо! Сообразилъ, что, какъ ни оборачивай фактъ, а въ протоколѣ будетъ обозначено: такого-то числа, въ такомъ-то селѣ, чину такому-то подкинуто единовременно столько-то младенцевъ, при запискахъ, кои прилагаются, какъ вещественное доказательство... Батюшки!.. Да это хуже уголовщины!.. Начальство!.. Сплетни!.. Газеты!.. Всероссійскій скандалъ!.. А вѣдомство Гальтимора,—еще нарочито передовое, славится и хвалится порядочностью и цѣломудріемъ... Конецъ!.. Гибель!.. Крушеніе всей карьеры!.. Сумерки боговъ!

Сдался, сдѣлался смирный, отозвалъ стариковъ, которые посолиднѣе:

— Сколько?

Шепчутъ:

— Наше дѣло сторона! Намъ отъ тебя ничего не надо. Ты, вашбродь, поди прогуляться по селу; быть можетъ, тебя вѣтромъ пообдуетъ, и хорошія мысли въ мозги войдутъ.

Понялъ Гальтиморъ, пошелъ по селу.

Утро праздничное. У воротъ и на завалинкахъ—бабьяго сословія видимо-невидимо. Смотритъ: наше вамъ почтеніе! Всѣ тутъ: и Маша, и Саша, и Паша, и Даша, и Ѳетинья, и Аксинья, сидятъ съ подружками, расфуфырились, заняты кедровымъ «разговоромъ», Гальтимора будто и не видятъ... Окликнулъ одну.

— Ты, Ѳетинья, что же?

Отвѣчаетъ съ невинностью:

— А я здѣсь, душенька баринъ, на праздникѣ гощу, у тетеньки...

— Да нѣтъ, ты глаза мнѣ не замазывай: ты—что?!

Та этакъ на него щурится:

— А ты что?!

— Ты подкидывать?! Въ острогѣ сгною!

— Самъ не сядь!

— Сейчасъ бери своего пащенка!

— А ты видѣлъ, какъ я подкидывала? Докажи!

— Докажу!

— И я докажу!

— Что ты противъ меня можешь доказать?

— Чего хочу, того и докажу!

— Тебѣ распутный билетъ дадутъ!

— А тебя, путевого, съ мѣста въ три шеи прогонятъ!

— Какія у тебя улики на меня? У тебя на меня уликъ нѣтъ!

— А какихъ еще на тебя уликъ надо, ежели тебѣ въ одну ночь по десяти ребятъ подкидываютъ?!

Видитъ Гальтиморъ, что наткнулся онъ на синдикатъ дружный и непоколебимый, и глупость его положенія подготовлена неотвратимо, понята всѣми по достоинству и оцѣнена вполнѣ. Совсѣмъ смирился.

— Сколько?

— Да что съ тебя взять? Мало—ни къ чему, а много—не съ чего...

— Не грабьте ужъ очень-то, пожалѣйте человѣка!.. Мое дѣло дорожное!..

— Зачѣмъ грабить? Не звѣри, пользовались тоже отъ тебя, помнимъ... Положи двѣсти на каждаго ребенка, и квитъ.

— Двѣ золотушки!

— Къ бѣсу въ болото!

Гальтиморъ прибавилъ, дѣвки сбавили, — на сотнѣ сошлись. Бумажникъ Гальтимора облегчился на тысячу рублей, а кошева его—на десять младенцевъ. Красавицы сдѣлались очень любезны, разобрали чадъ своихъ по рукамъ, выпили въ складчину могарычи, при чемъ перепились сами до положенія ризъ и споили всю деревню, затѣмъ пожелали измѣнщику всякаго благополучія въ жизни и разошлись. А чалдоны превосходно, какъ только мы, сибиряки, умѣемъ, уложили въ дорогу Гальтиморовы вещи и весело помчали его высокоблагородіе дальше, на слѣдующій станокъ.

— Кобылкинъ! Это—анекдотъ!

Кобылкинъ даже подпрыгнулъ на стулѣ отъ обиды.

— Что же? Какъ мнѣ васъ увѣрять? Прикажете божиться? Лопни глаза мои! Если не вѣрите мнѣ, спросите мирового судью Грандіозова,—вашъ пріятель и храповицкій авторитетъ излюбленный, онъ подтвердитъ!

При случаѣ, я спросилъ Грандіозова.

Смѣется, говоритъ:

— Правда. Было нѣчто въ такомъ родѣ. Да развѣ Гальтиморъ одинъ, исключеніе? Нѣтъ, отецъ родной, Гальтиморы-то у насъ—правило, а исключеніе—кто не Гальтиморъ.

— Съ чего же, однако, они здѣсь такъ бѣсятся? Воздухъ, что ли, особенный? Климатъ, казалось бы, далеко не тропическій.

Грандіозовъ считалъ по пальцамъ, съ удовольствіемъ и аппетитомъ загибая ихъ къ мясистой ладони:

— Скука. Одиночество. Водка. Сытость. Отсутствіе

развлеченій и духовнаго интереса. Доступность женщинъ. Вы съ Тимошкиными знакомы?

— Нѣтъ.

— Новый нашъ судебный слѣдователь. Плачетъ: хорошая прислуга у него не живетъ: Питерскія цѣны платитъ, по десяти рублей въ мѣсяцъ, а не уживается.

— Требовательные господа?

— Нѣтъ, просто находятъ сибирскія дѣвицы и бабицы, что скучно у Тимошкиныхъ жить. Онъ, Тимошкинъ, молодой человѣкъ, тихоня, не пьетъ, не куритъ, въ карты не играетъ, въ книжку читаетъ, только-что женился, въ жену влюбленъ и смотритъ ей въ глаза... Маши, Саши, Даши, Паши—въ претензіи: что же это за мѣсто, ежели баринъ «не глядитъ» на прислугу? Какой это фартъ? Ни профита, ни развлеченія! На чортъ ли и въ услуженіе шла?.. Это—здѣсь вѣчная исторія. Такой женской прислуги, чтобы по нуждѣ нанималась, почти совсѣмъ нѣту: развѣ изъ инородокъ или переселенокъ, новоселокъ, какъ больше принято у насъ называть... но изъ послѣднихъ у насъ берутъ въ дома больше нѣмокъ-колонистокъ, и даже почти ихъ однѣхъ, потому что—аккуратныя и работящія. А сибирячка отъ земли, если идетъ изъ деревни на заработки въ городъ, то совсѣмъ не по матеріальной необходимости: ее манитъ надежда получить нѣкоторый лоскъ цивилизаціи, повертѣвшись вокругъ «навозныхъ» господъ, и пожить въ свое удовольствіе, на волѣ отъ семьи. Велика ли ей штука жалованье въ пять—шесть, даже въ десять—двѣнадцать рублей, если у ея почтеннаго родителя на деревнѣ или при собственной заимкѣ сохраняется въ залежи тысячъ десять пудовъ хлѣба? Жалованье все до послѣдней копейки тратится на «закуски» и на франтовство.

— Ну, ужъ вотъ это послѣднее, Ѳедоръ Дмитріевичъ, кажется, клевета: такъ часто обличаемаго сибирскаго франтовства я рѣшительно не замѣчаю въ Храповицкѣ. Напротивъ, что именно отвратительно въ здѣшнемъ быту,—

это неряшество женщинъ-туземокъ, въ особенности, прислуги. Въ каждомъ домѣ васъ встрѣчаютъ какія-то грязныя кувалды, чуть не въ рубищѣ. Я не понимаю, какъ хозяевамъ самимъ не противно, что на квартирѣ топчутся чукчине-чукчи, самоѣдки-не-самоѣдки: вѣдь на нихъ страшно взглянуть!

Грандіозовъ засмѣялся.

— Это въ будни и въ нѣдрахъ благочестивыхъ семействъ, съ строптивыми хозяйками. А вы посмотрите на нихъ въ праздникъ и внѣ дома... фу-ты, ну-ты, шикъ какой! А домашнее ихъ безобразіе не отъ нихъ зависитъ. Служа у холостыхъ или гдѣ барыня смирная, рохля, онѣ наряжаются, щеголихи. Умыться, причесаться, звѣрей изъ головы избыть,—это выше сибирячки, на такой подъемъ энергіи она неспособна, но расфрантиться въ пухъ и прахъ по картинкѣ изъ «Нивы»—наше первое дѣло и любезнѣйшая мечта. Даже въ деревняхъ,—не то что въ городѣ. На иной заимкѣ вы куска мыла не найдете: еще, по старинкѣ, квашеными кишками моются, а бабы, какъ и въ пѣснѣ поется:

Жена моя, боярыня,
Стала чепуриться:
Корсетъ носитъ, шляпку проситъ.
Нельзя приступиться!

Корсетъ, перчатки, шляпа, зонтикъ—обязательны, безъ нихъ нельзя! Иначе на базаръ не ходятъ! Помилуйте! У меня же въ домѣ —молодая горничная отказалась сопровождать свою барышню, мою воспитанницу, потому что та, щеголяя природною стройностью, не хотѣла надѣть корсета. Это у нихъ называется—«ходить просто», и за это могутъ засмѣять.

— Ну, холостыя хозяйства и полухолостыя оставимъ въ сторонѣ! Въ нихъ, по мѣстнымъ нравамъ, какъ я вижу, женская прислуга больше смахиваетъ на домашнюю про-

стиуцію. Но у настоящихъ семейныхъ, въ буржуазныхъ и чиновничьихъ, вообще интеллигентныхъ фамиліяхъ?

Грандіозовъ возразилъ:

— А въ семьяхъ подите-ка, убѣдите нашихъ дамъ, чтобы онѣ позволяли прислугѣ прилично одѣваться! Бабы-то и рады бы,—барыни не позволяютъ. Изъ-за этого у насъ въ любомъ домѣ ежедневная баталія и синопская пальба! Семилѣтнія и тридцатилѣтнія войны ведутся! Безъ перемирій!

— Но изъ-за чего же, собственно?

— Правду говоря, дамы наши, конечно, тиранствуютъ и капризничаютъ, но тоже нельзя винить ихъ строго, потому что и у нихъ есть свои доказательные резоны. Видите ли: мы, мѣстная интеллигенція,—сплошь уѣздное чиновничество, въ рангахъ мелкихъ, живемъ на небольшое жалованье, доходовъ постороннихъ не имѣемъ, кто взятокъ не беретъ. А берущихъ немного: не только по принципу, но и по неумѣнью. Чалдонъ, сударь мой, даромъ денегъ не бросаетъ и попусту взятки не дастъ: съ него самому ловкому хапугѣ взятку взять—умѣть надо! Да и давая-то взятку, онъ такъ обязательно и твердо это дѣло обставитъ, что еще вопросъ, кто затѣмъ у кого въ рукахъ оказывается: онъ ли, давшій взятку, у хапуги, или хапуга, принявшій взятку, у него? Итакъ, за самыми рѣдкими исключеніями, сибирскій чиновникъ—голышъ. Разсуждая по существу, если свести приходъ съ расходомъ, мы, обыкновенно, гораздо бѣднѣе тѣхъ, кто варитъ намъ обѣдъ и убираетъ наши комнаты. Вотъ почему жены и хозяйки наши и стоятъ такъ ревниво за свое исключительное право одѣваться «по-господски». Это, такъ сказать, мундиръ образованнаго женскаго класса. Ну, все равно, вотъ какъ я въ пиджачной парѣ за тридцать цѣлковыхъ—въ мундирѣ интеллигенціи, а мой домохозяинъ въ длиннополомъ кафтанѣ англійскаго сукна по двѣнадцати рублей за аршинъ—въ мундирѣ мужика, и, стало быть, онъ первый предо мною скидавай кар-

тузъ, а не я предъ нимъ фуражку. Дамы соображаютъ: Марьѣ моей ничего не стоитъ вырядиться по модѣ богаче меня, но, когда она вырядится, то будетъ презирать меня, какъ нищую, перестанетъ видѣть во мнѣ барыню: вѣдь, кромѣ денежной власти, здѣсь ничто не въ почетѣ! Мы тянемся изъ послѣдняго, чтобы походить на людей. Если допустить къ соперничеству богатое чалдонье, такъ намъ за нимъ не угнаться: разоримся. Почемъ я знаю, сколько у родителя той же Марьи денегъ въ кубышкѣ и хлѣба въ скирдахъ?

Я спросилъ:

— Неужели женщины и дѣвушки даже изъ такихъ зажиточныхъ крестьянскихъ семействъ поступаютъ въ услуженіе? Что имъ за разсчетъ? Какая радость?

— Говорю же вамъ: хочется вольно въ городѣ пожить, есть стремленіе немножко отполироваться. Затѣмъ слѣдуетъ серія дочерей, сестеръ, племянницъ, снохъ, золовокъ, въ немилости, убѣгающихъ отъ неладовъ съ родными, а, наконецъ, главное, соломенныхъ вдовъ. У насъ, вѣдь, не какъ въ россійскомъ крестьянствѣ, гдѣ неладные мужъ и жена считаютъ долгомъ мучить себя совмѣстнымъ житьемъ до могилы. Въ степной Сибири, при неладахъ, супруги расходятся очень быстро и, обыкновенно, потомъ не мѣшаютъ другъ другу: каждый живетъ въ особину, либо въ людяхъ, либо при родителяхъ; я могу насчитать вамъ, по первой памяти, съ дюжину крестьянокъ, которыя, разойдясь съ мужьями, возвратились въ родную семью и живутъ при родителяхъ на дѣвичьемъ положеніи, либо въ гражданскомъ бракѣ постоянномъ или смѣнномъ. Въ такія семьи и работникъ веселѣе идетъ: не буду, молъ, жить бобылемъ въ чужихъ людяхъ, есть въ дому вольная, непричемная баба! Относительно дѣтей, которыя являются со стороны, разлучившіеся столковываются по взаимосоглашенію, либо... дѣти исчезаютъ безъ вѣсти. Въ девяти изъ десяти случаевъ, впрочемъ, благополучно столковываются. Тянетъ въ городъ и чалдонская жадность на «чи-

стыя деньги». Чалдонскій зажитокъ—хлѣбный, хозяйственный, вещевой, деньги здѣсь рѣдки. Пять, семь, десять рублей въ мѣсяцъ, казалось бы, по здѣшнимъ богатымъ мѣстамъ, небольшой соблазнъ, какъ «капиталъ», но очень хорошая плата за такой пустяковый, легкій и бѣлый трудъ, какимъ почитается домашняя услуга. Ну, да и служатъ же!

Грандіозовъ даже рукою махнулъ.

— Худо?

— Неописуемо гнусно! А главное: баловницы, гордячки! Благодѣяніе будто оказываютъ тѣмъ, что служатъ! Мѣсто для нихъ—забава: нисколько онѣ и никакимъ мѣстомъ не дорожатъ. Стало быть, при первомъ замѣчаніи—пожалуйте паспортъ и разсчетъ. А иныя вовсе паспорта не отдаютъ хозяевамъ или безъ паспорта наниматься приходятъ: у насъ, вѣдь, на этотъ счетъ льгота на семидесятиверстную окружность. Да и что, какая гарантія въ Сибири паспорта? Кто ихъ провѣряетъ? Кому они нужны? Случается, что и безъ замѣчаній уходятъ, просто такъ. Не ласкова, видите ли, къ ней семья: уходитъ. Мало «мужиковъ» въ домѣ, спать не съ кѣмъ: уходитъ. Заскучала по роднымъ въ деревнѣ, готово: собрала вещи и умчалась, безъ объясненій, предупрежденій, здорово живешь... Иныхъ просто весна и лѣто тянутъ: сильныя натуры инстинктомъ работы просятъ, тоскуютъ по страдѣ. Но главная причина перемѣны министерствъ—все-таки обидчивость: не тронь меня! Я-то, грѣшный человѣкъ, долженъ сознаться: мнѣ въ сибирячкахъ эта черта ихъ очень нравится: пріятно видѣть, что женщины берегутъ свою личность, что нѣтъ въ нихъ той приниженности и рабской безотвѣтности, какъ въ бабѣ изъ Россіи. Когда какая-нибудь чалдонка хорошо, по-сибирски, срѣжетъ заносчивую «навозную», избалованную столичнымъ холопствомъ, я лишь крякаю одобрительно. Ну, а дамы наши съ американками этими воймя воютъ...

Относительно франтовства Грандіозовъ говорилъ спра-

ведливо. Пріѣзжая петербургская дама была приглашена на елку къ храповицкому обывателю средняго достатка. Потомъ ее разспрашиваю:

— Было интересно?

— Очень мило и радушно.

— Дамы въ порядочныхъ туалетахъ?

— Дамы—нѣтъ, а вотъ—няньки!

— Неужели хорошо одѣты?

— Конечно, нѣтъ, очень скверно. Но какія матеріи! И какихъ онѣ навѣшали на себя золотыхъ и серебряныхъ лепешекъ!

Какъ «порода», женщины изъ южно-сибирскаго крестьянства—красивый, хищный типъ, сильный, рослый, здоровый, властный. Когда этакая жена Пентефрія вертится въ домѣ и откровенно выражаетъ всею особою своею непремѣнное стремленіе къ совершенствованію породы, не удивительно, если многіе Іосифы падаютъ, а, съ привычкою къ паденію, перерождаются въ Гальтиморовъ.

— Слушайте, однако, Ѳедоръ Дмитричъ, коль скоро у васъ въ Храповицкѣ царятъ столь патріархально-упрощенныя отношенія, и все это совершается такъ по душамъ и въ добромъ общемъ согласіи, то какимъ образомъ могутъ, все-таки, возникать эти прощальныя сцены съ буйствующими синдикатами покинутыхъ Дидонъ?

— Буйствуютъ, по преимуществу, обманутыя и нарушенныя дѣвицы, что—при какихъ угодно нравахъ—господамъ Гальтиморамъ рѣдко сходитъ съ рукъ даромъ, налагаетъ серьезныя отвѣтственности... Правда, по обычаямъ страны нашей, даже изъ сего чаще возникаютъ водевили, чѣмъ трагедіи... Но, тѣмъ не менѣе, даже, какъ мировой судья, могу сказать вамъ: ужасно много приходится разбирать дѣлъ о вовлеченіи, соблазнѣ, о нарушенныхъ обѣщаніяхъ жениться, о возвращеніи подарковъ... Это—въ своей, крестьянской средѣ, между собою. А, когда «подымай выше»,—фю-ю-ю-ю!..

Грандіозовъ выразительно покрутилъ губами.

— Послѣ «золотовской исторіи»—все этакіе казусы оглашаться начали: о провинціальномъ донжуанствѣ господъ—интеллигентныхъ и разную мелкую власть держащихъ. Всѣ, читая, дѣлаютъ видъ, будто слышатъ что-то неслыханное, возмущаются, ахаютъ: ахъ, какой пассажъ! Эка невидаль! Ну, въ Россіи, конечно, оно все же не такъ въ привычку,—ошеломляетъ. Все-таки, къ свѣжему европейскому воздуху ближе. А если шевельнуть нашу степную и таежную глушь, такъ этихъ исторій въ любомъ городкѣ, сколько хочешь, столько и откроешь. Помилуйте! У насъ на эту тему на игрищахъ даже пѣсни поются, и припѣвъ самый жалостный:

Ахъ, баринъ, баринъ!
Какъ тебѣ не стыдно?
Ахъ, баринъ, баринъ!
Богъ тебѣ судья.

И, конечно, баринамъ должно быть стыдно; однако... виновны, но заслуживаютъ снисхожденія. Такъ какъ— медвѣжій уголъ, такъ какъ скучаютъ... пьютъ... и Гальтиморы, Гальтиморы, Гальтиморы!

Онъ засмѣялся.

— Говорятъ, Настька туть на улицѣ кувыркалась?

— Да, была какая-то игра...

— Вотъ вамъ дивный образчикъ мѣстной флоры и фауны: обратите вниманіе! У этой дѣвицы пятеро ребятъ погодковъ, сданныхъ на дѣдушкины кормы, въ подгородную заимку. И Настасья никогда не зоветъ свое потомство по именамъ: Вася тамъ, что ли, Петя, Ваня, Маша, но обязательно, съ великою гордостью и важностью — по должностямъ интеллигентно-чиновныхъ родителей.

— Чортъ знаетъ, что!

— Самъ слышалъ, батенька, какъ командуетъ:—Прокурорка, утри носъ воинскому начальнику! Казначей, варнакъ, язви-те, почто докторшу дуешь? Исправникъ, поди сюда, я тебѣ звѣрей вычешу.

Усумнился я въ Грандіозовѣ, опять взялся за Кобылкина.

— Правда?

— Правда.

Потомъ подумалъ, приставилъ палецъ къ переносицѣ и говоритъ:

— Настасья въ эту зиму у Грандіозова жила три мѣсяца.

— Такъ что же?

— Ничего. Катонъ у насъ этакій, Мефистофель... Надъ всѣми посмѣивается.

— Ну?

— А Настасья хвалится, что у нея, для коллекціи вѣдомствъ, будетъ скоро мировая судья...

## IV.

# Разливанное море.

— Рюмочку водки?

— Не пью. Увольте, батюшка.

— Вотъ? Давно ли? Въ Россіи, помнится, хорошо поддерживали компанію?

— То въ Россіи. Въ Сибири не пью.

— Ага! Жизнь бережете?

Подобный разговоръ между «навозными» вы можете слышать въ любомъ интеллигентномъ сборищѣ мелкихъ сибирскихъ городковъ. Я знаю множество «не дураковъ выпить» въ Россіи, которые, переваливъ Уральскій хребетъ, превращались въ людей безупречной, убѣжденной трезвости. Знаю также, что въ читателѣ сообщеніе это можетъ разбудить нѣкоторыя сомнѣнія: Сибирь давно слыветъ классическою страною пьянства, столько разсказовъ написано о томъ, какъ образованные люди спиваются въ сибирской тоскѣ, столько умныхъ, энергичныхъ, трезвыхъ возвратились изъ-за Урала полуживыми пьяницами.

Все это совершенно вѣрно: страшно пьетъ Сибирь! Именно *страшно*, — надо подчеркнуть это слово и остановиться на немъ, потому что имъ-то и объясняются

напускныя трезвости тѣхъ навозныхъ, что поддерживаютъ характеръ «въ Сибири не пить». Эти люди просто испугались великаго пьянства окраины: прикинувъ оное на глазомѣръ, они рѣшили, что такой высокой марки имъ не выдержать безопасности для жизни и разсудка, — веселья сибирской утробы россійской натурѣ и желудку вровень не поднять!

Немножко пить въ Сибири нельзя. Надо или пить посибирски, что въ переводѣ на общерусскія понятія значитъ «спиваться», или не пить вовое. Не пьющихъ вовсе сибирякъ—по испытаніи—не неволитъ: если не пьетъ человѣкъ, значитъ, онъ боленъ, либо натура его не принимаетъ вина—это особь статья. Но, если «навозный» показалъ, что онъ можетъ пить, но только не хочетъ,—онъ пропалъ: скучающая Сибирь споитъ его не только по гостепріимству, но уже ради одной погѣхи, и съ поразительною быстротою. Я видалъ людей, отдѣланныхъ сибирскими городками до непоправимаго алкоголическаго недуга за два, за три мѣсяца. Страшно спиваются доктора. Дама изъ Забайкалья съ ужасомъ разсказывала мнѣ, какъ въ довольно крупномъ городкѣ, гдѣ она маялась года два, однажды, когда дѣти ея заболѣли ангиною, очень похожею на дифтеритъ, нельзя было добыть доктора въ теченіе двухъ сутокъ: изъ четырехъ, имѣвшихся въ городѣ, одинъ былъ въ отъѣздѣ, а остальные «не годились къ употребленію», такъ какъ лежали безъ заднихъ ногъ по причинѣ безмѣрной выпивки у двухъ подъ-рядъ именинниковъ. Едва-ли еще не хуже опускаются заброшенные въ сибирское захолустье адвокаты.

— Умёнъ, а положиться на него нельзя!—говорили мнѣ объ одномъ.—Потому что—кабы онъ въ себѣ воленъ былъ... А то вѣдъ онъ не самъ отъ себя говоритъ, а что изъ него водка скажетъ. Ино—хорошо, ино—и не слушай: плюнь да прочь иди!

— Зачѣмъ же вы такого выбрали? Взяли бы другого, трезваго!

— Всѣ однимъ мухомъ мазаны... гдѣ его искать?

На глухомъ енисейскомъ станкѣ встрѣтилъ я купца. Онъ сейчасъ же потащилъ меня къ своему самовару, къ закускамъ, а для перваго дебюта налилъ мнѣ лафитный стаканчикъ смирновской водки. Тогда монополія въ Восточную Сибирь еще не проникла.

— Спасибо. Не употребляю.

— Совсѣмъ не пьете?

— Да. Бросилъ. Не могу.

Купецъ не удивился, выломалъ свой стаканъ на лобъ, взялъ мой стаканъ, повторилъ съ нимъ ту же операцію, набилъ ротъ копченою тайменью и спрашиваетъ:

— Часто страдаете?

— Чѣмъ?

— Извѣстно, чѣмъ, если человѣкъ пить остерегается...

Онъ принялъ меня за запойнаго пьяницу, который боится «начать». Я не разрушилъ столь лестнаго подозрѣнія, потому что уже зналъ по опыту, что оно—на пользу: порядочные люди изъ сибиряковъ тоже берегутъ запойныхъ и не неволятъ къ питьѣ безъ толка. Потому что — опять-таки: сибирскій запой—нѣчто столь ужасное, что даже самымъ оголтѣлымъ винопійцамъ становится жутко при зрѣлищѣ этого алкоголическаго циклона.

Я не видалъ пресловутыхъ разгуловъ, которымъ предаются пріисковые рабочіе, когда получаютъ разсчетъ, хотя былъ знакомъ съ двумя бывшими желтухинцами, или выдававшими себя за таковыхъ; вѣдь быть причастнымъ къ желтухинской легендѣ въ Восточной Сибири—своего рода аттестатъ; желтухинцы—это légion d'honneur и вольнаго золотого промысла, и бродяжества. Такъ вотъ эти, дѣйствительные или мнимые, желтухинцы разсказывали мнѣ о старательскихъ гулянкахъ чудеса, достойныя включенія въ сказки «Тысячи и одной ночи». Пріисковое пьянство,

вообще, въ Сибири—не въ счетъ, потому что оно—не отъ Сибири, а отъ промысла, исконное; и это ужъ роковое правило такое: гдѣ золото, тамъ и запретный спиртъ. Отсылаю читателя къ Семевскому и инымъ искать разсказовъ и анекдотовъ о романическомъ бытѣ, отчаянной удали и ужасныхъ нравахъ спиртоносовъ, потому что самъ о нихъ знаю только по наслышкѣ. Всѣ эти исторіи обыкновенно правдивы, хотя чтобы ихъ вообразить себѣ, надо перенести фантазіей героевъ Максима Горькаго въ обстановку романовъ Фенимора Купера. Но запретный спиртъ проникаетъ въ пріисковыя мѣстности и безъ помощи этихъ удалыхъ, добрыхъ молодцовъ, такъ какъ, къ стыду служилой и иной сибирской интеллигенціи, не говоря уже о торговыхъ людяхъ, соблазнъ двадцатирублевой преміи за бутыль увлекаетъ на путь контрабанды многихъ съ кокардами, въ нѣмецкомъ и свѣтлопуговичномъ платьѣ. Увлекается спиртовою корыстью и духовенство. Обличенія зла трудны, потому что сибирская цензура очень строга, и касаться лицъ, принадлежащихъ къ «вѣдомствамъ»,—газетчика сохрани Господи! Но, все же,—«хитеръ нашъ братъ мастеровой!»—энергическая сибирская печать умудряется выводить кое-какіе фактики на свѣжую воду, если не прямо, то крюкомъ. Обыкновенно, по части изобличенія золъ, здѣсь водится такъ, что зла томскія укоряются красноярскою печатью, красноярскія — иркутскою, иркутскія — томскою. Нерадостно слѣдить за фонаремъ сибирской печати: куда ни проникаютъ лучи его, открываются пятна, весьма неприглядныя, свидѣтельствующія о необходимости для края широкой и прямой гласности, безъ обходовъ, намековъ и иносказаній, которыми сибирскій журналистъ положительно замученъ. Изобрѣтательность въ этомъ тяжкомъ приспособленіи къ обстоятельствамъ онъ выработалъ и являетъ огромную. Вотъ одинъ изъ шедевровъ. Въ Витимскомъ округѣ шибко торговалъ спиртомъ священникъ О. Знали всѣ, но доказательныхъ фактовъ не было, обличенія при-

глушались. Но, на бѣду батюшки, случилась у него покража изъ чулана, о которой, по его жалобѣ сгоряча, было произведено дознаніе. А вслѣдъ затѣмъ въ одной сибирской газетѣ появилась скромнѣйшая и даже почти святошеская по тону статья съ сокрушеніями, какъ крещеные инородцы слабы въ новой вѣрѣ и мало питаютъ уваженія къ своимъ духовнымъ пастырямъ. Доказательствомъ коварная газета выставила плачевный случай съ о. О—вымъ, у котораго распутная паства его «не только взломала чуланъ, но и выкрала изъ онаго 24 бутылки спирта, нанеся такимъ образомъ о. О. тяжелый матеріальный ущербъ, такъ какъ бутылка спирта, по нашимъ мѣстамъ, представляетъ собою стоимость до 15 рублей!» Sapienti sat!

И такъ, пріиски и разсчетные загулы—не въ счетъ. Но въ Ачинскѣ мнѣ показали богатаго мужика-коневода: въ округѣ его дразнятъ «двадцатитысячнымъ». Причина та, что онъ трижды наживалъ капиталъ, но, когда доходилъ до двадцати тысячъ, то дурѣлъ отъ восторга, запивалъ и прекращалъ разгулъ, лишь когда оставался среди пустого двора и въ «гунькѣ кабацкой». «Двадцатитысячный» былъ человѣкъ съ строгимъ лицомъ, полнымъ положительнаго и сдержаннаго характера, съ ясными сибирскими глазами, «словно протертыми снѣгомъ», какъ выразился о комъ-то Лѣсковъ,—чинный, опрятный, почти величественный. А мой чичероне объяснилъ:

— Когда этотъ бородатый апостолъ въ запоѣ, его любимое занятіе—коней рѣзать. Загонитъ во дворъ весь свой табунъ, ворота запретъ,—и пошла бойня! Ни за что, ни про что переколетъ головъ двадцать, тридцать,—даже кожи не сниметъ... Мой дядя попалъ однажды къ нему на заимку аккуратъ въ такую пору: говоритъ, что страшно глядѣть... Дворъ кровью залитъ, трупье горою лежитъ, а онъ, пьяница, съ работниками своими, сидятъ на падлѣ, водку пьютъ и поютъ: «Кая житейская сладость»...

— О размѣрахъ народнаго пьянства,—объяснилъ мнѣ минусинскій свѣдущій человѣкъ,—можете судить по тому показателю, что въ голодный 1901 годъ уѣздъ выпилъ 122.000 ведеръ водки.

— А обыкновенно?

— Сто тридцать тысячъ.

— Какъ? Разницы вышло только на восемь тысячъ ведеръ?

— Не болѣе.

Странность объясняется просто: недородъ тяжело легъ на новоселовъ и на инородцевъ: послѣдніе почти совсѣмъ не потребители водочные, а первые сократились въ питвѣ, какъ велѣла необходимость, что именно и выразилось недорасходованіемъ восьми тысячъ ведеръ; главный же водочный потребитель, богатый чалдонъ, хотя и узналъ нужду, однако не настолько стѣснительную, чтобы сильно уменьшить свои постоянныя спиртовыя порціи. Количество послѣднихъ ясно опредѣлится, если принять во вниманіе, что, за вычетомъ непьющихъ инородцевъ (они довольствуются своею слабою аракою, добываемою самосидкою), бабъ, дѣтей и подростковъ, многочисленныхъ сектантовъ и т. д., число винопійцъ въ уѣздѣ надо считать не болѣе, какъ въ двадцать или тридцать тысячъ человѣкъ, истребляющихъ такимъ образомъ въ годъ отъ четырехъ до шести ведеръ водки, говоря съ сибирскою вѣжливостью, «на рыло».

Голодною зимою мнѣ случилось дѣлать четыре конца между Ачинскомъ и Минусинскомъ на вольныхъ, по «дружкамъ». Переселенческія деревни убивали мнѣ душу своею мрачностью. Люди были подневольно трезвы, унылы и водку принимали охотнѣе, чѣмъ «на водку». Лошади, конечно, отощалыя, мученныя и некованныя. Въ чалдонскихъ деревняхъ, наоборотъ, рѣдкій мужикъ попадался не выпивши, а гдѣ-то—въ Усть-Ирбѣ, кажется, или въ Батеняхъ я не могъ часовъ шесть получить отъ «дружковъ» лошадей за хорошіе прогоны.

— Никому не въ охоту ѣхать. Очень распились.

— Праздникъ у васъ что ли?

— Нѣтъ... Сегодня помирились.

— Ну?

— Долго очень въ ссорѣ были... четвертыя сутки всею деревнею пьемъ!

Лошади, впрочемъ, оказались тоже отощалыя и некормленныя, и прямо гибли, безсильно взбираясь на пресловутый Черный камень, чортъ бы его побралъ!

Въ базарные и ярмарочные дни Минусинскъ, Ачинскъ, Красноярскъ являютъ улицами своими истинно некрасовскія картины:

Идутъ, ползутъ и падаютъ,
Какъ будто изъ-за валиковъ
Картечью непріятели
Палятъ по мужикамъ...

А, начиная съ весенняго тепла и до первыхъ холодовъ, голый, съ тряпкою вокругъ бедра, пѣшествующій человѣкъ-Пятница, пропившійся до нага,—совсѣмъ не рѣдкостное уличное зрѣлище. Въ 1897 году я самъ любовался такимъ интереснымъ спектаклемъ на окраинѣ Томска!

Центрами пьянства являются свадебные сезоны, а въ особенности осенній мясоѣдъ послѣ Покрова. Въ эту сытую, съ новоубраннымъ хлѣбомъ пору, крестьянство подъ Саянами и Алтаемъ все сплошь пьяно, какъ то повторяется изъ года въ годъ уже три столѣтія. О разорительности для населенія широкихъ свадебныхъ праздниковъ писано, переписано, — и все безъ пользы. Высчитано, что въ Кузнецкомъ и Минусинскомъ уѣздахъ плохая крестьянская свадьба обходится въ четыреста рублей, порядочная вдвое, богатая—до тысячи и тысячи четырехсотъ рублей. Разорительность обычая сознается самими чалдонами, тѣмъ болѣе, что времена не прежнія, и старинныя кубышки давно уже пошли на убыль, но—ничего не

подѣлаешь: noblesse oblige. Три четверти этихъ суммъ уходитъ исключительно на водку. Одинъ досужій статистикъ вычислилъ, что въ свадебный срокъ,—а онъ затягивается на недѣлю и на двѣ,—каждый гость выпиваетъ за хозяйскій счетъ ежедневно отъ одной до полутора бутылокъ водки, каждая гостья—полбутылки. По свадьбамъ кочуютъ цѣлый мясоѣдъ, не стѣсняясь пріѣзжать изъ большой дали. Я зналъ полицейскаго чиновника, который, за компанію съ товарищами, отправился на свадьбу къ незнакомому богатѣю-мужику за 850 верстъ, пробылъ тамъ сутки и вернулся въ томъ же обществѣ обратно. Что съ почтеннымъ полиціантомъ было въ этомъ путешествіи, какъ ѣхали, пировали, почему скоро двинулись во свояси, бѣдный страннпкъ не могъ разсказать: ничего не помнилъ. Дѣло въ томъ, что, уже на выѣздѣ изъ города, они наскочили на свадебный поѣздъ, да такъ потомъ и ѣхали до самаго мѣста назначенія,—«непросыпно», сквозь строй деревенскихъ свадебъ.

Извѣстно, что русскій мужикъ на своихъ праздникахъ сразу запаиваетъ гостей водкою изъ экономическаго разсчета: проглотивъ натощакъ большую порцію спирта, ошеломленный человѣкъ теряетъ аппетитъ и меньше съѣстъ—въ особенности, убоины,—дорогого въ хозяйствѣ, потому что покупного, мяса, которое русскій мужикъ рѣдко видитъ на своемъ столѣ, а потому, дорвавшись, уничтожаетъ съ жадностью. Но чалдонъ именно тѣмъ и разнится отъ русскаго мужика, что никогда не зналъ трехъ великорусскихъ традицій: барина, лаптей и щей безъ убоины. Такъ что съ питательнымъ обманомъ алкоголя онъ не считается. На праздникахъ своихъ чалдонъ напивается, какъ пьютъ господа: по вкусовому пристрастію и по жаждѣ нервнаго возбужденія; чтобы добиться послѣдняго, ему, пріученному къ спирту, привычными постоянными дозами, приходится выпить очень много. А обычно пить заставляетъ и пріучаетъ сибиряка суровый климатъ: при долгой зимѣ и низкихъ температурахъ, спиртъ работнику необходимъ. Въ выпивкѣ

чалдона есть что то механическое, дѣловое. Я смотрѣлъ, какъ пьютъ ямщики въ дорогѣ. Нашъ русскій питухъ-мужикъ кокетничаетъ съ водкою, морщится, заигрываетъ, нѣжничаетъ и, проглотивъ, наконецъ, и страдаетъ, и наслаждается: психологическая, такъ сказать, въ нѣкоторомъ родѣ, питва! Сибирякъ, безъ гримасъ и восторговъ, прямо идетъ къ физіологическимъ результатамъ: льетъ разбавленный, а то и цѣльный спиртъ изъ чайной чашки въ горло, точно заряжаетъ себя алкоголемъ, какъ живое ружье. Пьянѣютъ они трудно. Море выпилъ человѣкъ,—а стоитъ на ногахъ крѣпко и разсуждаетъ осмысленно. Слабыя головы—въ презрѣніи: не пей совсѣмъ, либо пей богатырски! Я сильно подозрѣваю, что россійскихъ иногда затѣмъ и спаиваютъ, чтобы потѣшились зрѣлищемъ преждевременно обалдѣвшаго илота, не успѣвшіе потерять разума, крѣпколобые питухи.

На новый годъ пріѣзжаетъ ко мнѣ съ визитомъ молодой чиновникъ. Хотя онъ велъ себя совершенно прилично, дамы поспѣшили удалиться, потому что—я никогда не повѣрилъ бы раньше, чтобы одинъ человѣкъ могъ отравить цѣлую обширную квартиру столь густымъ спиртнымъ духомъ. Парень былъ налитъ спиртомъ до кончиковъ волосъ. Я увѣренъ, что если поднести къ его губамъ зажженную спичку, то дыханіе вспыхнуло бы синимъ огонькомъ. А говорилъ и довольно неглупо, и совсѣмъ связно. Говорилъ и, между дѣломъ, пилъ. Просидѣлъ четверть часа, опрокинулъ въ себя пять рюмокъ водки и отправился наливаться дальше. На прощанье сообщаетъ:

— А коллегу моего, вы слышали, выгнали со службы?

— За что?

— За пьянство. Невозможный человѣкъ: приличій не понимаетъ, сталъ показываться въ обществѣ въ совершенно пьяномъ видѣ.

И ушелъ, оставивъ меня въ веселомъ недоумѣніи: если служба почитала трезвымъ моего визитера, то—въ какой

же мѣрѣ долженъ былъ пропитаться спиртомъ тотъ несчастный, котораго она извергла за пьянство?

Нечего и говорить, что подобное накачиваніе организма алкоголемъ не проходитъ даромъ. Отвѣчаютъ за грѣхи отцовъ дѣти чрезъ вырожденіе, отвѣчаютъ и сами отцы. Восточная Сибирь—районъ самыхъ звѣрскихъ и нелѣпыхъ преступленій, какія случаются въ Россіи. Не будучи поклонникомъ теоріи о фатальномъ рецидивизмѣ и о преступной расѣ, я думаю, что восточно-сибирскую уголовщину надо объяснять,—по крайней мѣрѣ, въ очень значительной дозѣ, — именно вліяніемъ хроническаго алкоголизма, господствующаго въ краѣ. Слушая въ окружномъ судѣ нѣкоторыя дѣла объ убійствахъ, я, бывало, невольно возражалъ мысленно прокурору, когда тотъ начиналъ упирать на обстоятельство, что въ моментъ-де своего преступленія обвиняемый былъ доказанно трезвъ и до того трое сутокъ не пилъ. Человѣкъ послѣ шестинедѣльнаго пьянства — трезвъ ли даже черезъ недѣлю своей трезвости? Человѣкъ, привыкшій, не пьянѣя на видъ и въ словахъ, вливать въ себя ежедневно съ утра бутылку водки, можетъ ли назваться трезвымъ и вполнѣ отвѣчать за себя? Въ случайности и безсмысленной жестокости большинства сибирскихъ преступленій часто сказывается непроизвольная стихійная, внѣшняя сила: оружіе въ руку, какъ будто и трезваго, но давно и привычно отравленнаго алкоголемъ, убійцы вкладываетъ съ изумленіемъ и коварствомъ исконный русскій погубитель, пьяный бѣсъ. Жизнь человѣческая въ Сибири страшно дешева, по чалдонъ и въ преступленіи остается существомъ практическимъ: изъ пустяковъ онъ на душегубство не пойдетъ, дешеваго преступника онъ презираетъ. Но, въ самыхъ предпамѣренныхъ и хорошо разсчитанныхъ преступленіяхъ, съ тѣмъ же сдержаннымъ и холодно характернымъ чалдономъ разыгрываются иногда непредвидѣнныя драмы: нервы взволнованнаго алкоголика вдругъ не выдержатъ, — онъ теряетъ самообладаніе, звѣрѣетъ и —

глядь,— безсознательно натворилъ, самъ не понимая и не помня, какъ, самыхъ отвратительныхъ, ненужныхъ, опасныхъ, выдающихъ его ужасовъ: расшибъ грудного младенца объ уголъ стола, вскрылъ животъ беременной женщинѣ... О подвигахъ бродягъ, бѣглыхъ сахалинцевъ, слишкомъ много писано и безъ меня,—не къ чему повторять давно извѣстное. Думаю, что и въ отношеніи ихъ пора бы отказаться отъ юридическаго предразсудка, согласнаго, впрочемъ, съ мѣстнымъ предразсудкомъ бытовымъ, что разбойникъ изъ бѣглыхъ—сознательный злодѣй по предопредѣленію, какъ представитель рецидива: членъ особой свирѣпой, бродячей расы. Въ сибирской глуши не слыхали именъ Ломброзо и Ферреро, но подобно мыслящихъ ломброзистовъ и феррериствовъ по инстинкту—сколько угодно. Ужъ и ухлопываютъ же бродягъ эти доморощенные ученики криминально-антропологической школы. Безъ всякихъ расъ и прирожденныхъ потребностей въ рецидивѣ, легко понять, что взвинченный постоянной опасностью, голодный, холодный, усталый человѣкъ, — поддерживающій себя при всякой возможности спиртомъ и когда спирта нѣтъ, полусумасшедшій отъ томленія по спирту,—идетъ по Сибири въ состояніи, недалекомъ отъ безумія... Страшныя преступленія бродягъ—только зловѣщія вспышки хроническихъ апомалій, которыми мученія пути и алкоголь перерождаютъ ихъ нервную систему.

Сибирь почти лишена развлеченій. Постоянныхъ театровъ мало даже по губернскимъ городамъ. Труппы гастролируютъ далеко не всегда удачно. Времена, когда заѣзжимъ артистамъ Сибирь подносила въ даръ самородки золота, а артисткамъ—вѣера изъ выигрышныхъ билетовъ и сторублевокъ, прошли давно и невозвратно. Да, кажется, когда и расшвыривались-то еще столь щедрые дары, то не столько за святое искусство, сколько за угодливое лакейство предъ сибирскими самодурами—актерамъ, за альковныя услуги—актрисамъ. Сибирская театральная старина полна по этой

части анекдотами умопомрачительными, отъ коихъ, по выраженію Щедрина, отвращаетъ лицо свое даже не весьма стыдливая Кліо. Теперь артистовъ въ Сибири стараются не столь одарить, сколь обобрать. Въ Читѣ, во время одного успѣшнаго матеріально концерта, погасло электричество. Тьма лежала не болѣе двухъ минутъ, но, когда вспыхнули лампы, — ау! касса была уже опустошена начисто!.. Да и взыскательна сибирская публика изрядно. Тонъ обществу даетъ богатое купечество, а оно, еще въ тарантасахъ, каталось по два раза въ годъ въ Москву, Питеръ, а оттуда въ Парижъ; теперь же, съ желѣзною дорогою, перебывало во всѣхъ заграницахъ, пересмотрѣло и переслушало всѣ знаменитости, такъ что удивить его трудно. Въ настоящее время расшевелить Сибирь интересомъ къ искусству въ состояніи только необычайно громкое имя: Ермолова, Савина, Коммисаржевская, Шаляпинъ. Труппа московскаго Малаго театра, съ Яблочкиною во главѣ, въ 1902 году, кажется, не окупила даже своихъ красноярскихъ расходовъ. Опера, съ Яковлевымъ и Власовымъ, тоже лишь прозябала. О захудалыхъ гастролерахъ нечего и говорить! Нѣтъ развлеченій въ Сибири, и, очевидно, нѣтъ въ нихъ насущной потребности. Что касается клубной общительности, она несомнѣнно существуетъ и даже довольно развита, но уѣздное общественное собраніе въ Сибири почти всюду и всегда—синонимъ кабака для интеллигенціи и игорнаго вертепа. О нѣкоторыхъ изъ этихъ милыхъ учрежденій даже «Путеводители» предупреждаютъ, что семейному человѣку посѣщать ихъ неприлично.

Заинтересованный однимъ смѣшнымъ случаемъ, я началъ было вырѣзывать изъ сибирскихъ газетъ извѣстія о безобразіяхъ, происходящихъ по общественнымъ собраніямъ, но черезъ недѣлю или полторы опротивѣло и надоѣло; такія накопились Авгіевы конюшни... Дождь оплеухъ трещитъ въ нихъ, какъ картечь. Скандалы дикіе, вычурные,—извращенное творчество пьяной скуки! Здѣсь запро-

токоленъ мировой судья за то, что, допившись до франко-русскихъ симпатій (это градусомъ выше бѣлаго слона), ворвался въ оркестръ, влѣзъ на барабанъ и дирижировалъ, ударяя палкою по головамъ музыкантовъ, покуда барабанъ лопнулъ, а судья—провалился въ оный, что̀ и вызвало составленіе протокола. Тамъ акцизный судится съ головихою за «символическое оскорбленіе»: остроумный молодой человѣкъ сѣлъ среди общественнаго собранія на полъ и, по-ноздревски, ловилъ головиху за «чулки», испуская при семъ, подобно Христіану Ивановичу Гюбнеру, звуки, похожіе отчасти на *и*, отчасти на *е*; не весьма стыдливая Кліо, какъ, все-таки, дама, опять умалчиваетъ, какимъ способомъ. Тамъ избранное городское и «навозное» общество канканировало всѣмъ соборомъ до поднятія «ногами вверхъ, внизъ головой». Тамъ юный «навозный» нахлестался до того, что, позабывъ, что онъ женатъ, осчастливилъ отца перезрѣлой дочери предложеніемъ въ изящной формѣ:

— Иммѣю че-есть... отдайте мнѣ вашу кобылу!

Трахъ!.. Трахъ и въ отвѣтъ!.. И загудѣла рукопашная канонада, которую въ русской провинціи 50-хъ годовъ называли «бенгалкою»!..

Бушуетъ клубный гость. Высылаютъ на него грозою старшину. Тотъ уже самъ хорошъ. Налетѣлъ:

— Ты кто?

Гость высовываетъ языкъ и говоритъ:

— Я—богъ!

Старшина ошалѣлъ. Кругомъ хохотъ...

— Врешь! Ты—червь! Я тысячами давилъ такихъ въ степяхъ Маньчжуріи!

— Ужъ и тысячами, дурашка?!.—изумляется гость и ласково гладитъ дерзновенною рукою старшину по лысинѣ.

Трахъ!.. трахъ!.. И засверкали по залу «бенгальскіе огни»!

Въ 1897 году, проѣздомъ, я побывалъ въ лѣтнемъ помѣщеніи одного изъ сибирскихъ общественныхъ собраній

*

и попробовалъ описать его нравы. Редакторъ газеты, гдѣ я тогда работалъ, никогда до тѣхъ поръ не имѣвшій повода сомнѣваться въ точности моихъ впечатлѣній, на этотъ разъ, однако, отказался вѣрить... А только и было всего, что жены нѣсколькихъ подгулявшихъ чиновниковъ пытались увести своихъ супруговъ домой, тѣ упирались и ругались, а прекрасный полъ отвѣчалъ грубіянамъ въ томъ же духѣ, при чемъ въ жаргонѣ обѣихъ сторонъ царилъ самый изысканный и непринужденный «матріархатъ». Эка невидаль!.. Теперь я могъ бы разсказать факты, о которыхъ, лѣтъ черезъ десять житья въ цивилизованныхъ краяхъ, быть можетъ, самъ буду сомнѣваться: да неужели подобное переживалось не въ пьяномъ снѣ, а на трезвѣйшемъ яву?

— Познакомить васъ съ Любкой?—коснѣющимъ языкомъ лепечетъ мнѣ опускающійся умница, храповицкій мировой судья Грандіозовъ.

— Кто такая?

— Любка-то? Это въ просторѣчіи... Любовь Андреевна Пещерныхъ... золотопромышленница!.. Во всѣхъ смыслахъ, золотой человѣкъ!.. Эхъ, чортъ! Женаты вы!.. А то—вотъ невѣста... Дай Богъ всякому!.. Печка — не женщина!.. Пьетъ, я вамъ доложу... Никакому мужчинѣ!.. Дѣловая шельма! Безъ заднихъ ногъ лежитъ, а дѣла изъ головы не теряетъ... Какъ же!

Отъ знакомства съ Любкою я, «по независящимъ причинамъ», уклонился, а издали присмотрѣлся къ ней однажды. Сидитъ среди «мужчинья», какъ индійскій идолъ, огромная, здоровенная, съ умнымъ, толстымъ монгольскимъ лицомъ, съ нетрезвыми, но очень себѣ на умѣ, смышленымъ глазами,—прямо осаждена поклонниками! Не знаю, что они ей лопотали, но Любка смотрѣла на ихъ масляныя рожи съ хладнокровнымъ презрѣніемъ самки, избалованной и выбирающей, и время отъ времени повторяла гласомъ трубнымъ:

— Пошелъ ты, Иванъ,—знаешь, куда?

— На Любовь Андреевнѣ жениться—одно наслажденіе!—восклицаетъ одинокій голосъ изъ группы, инородническій, съ татарскимъ акцентомъ.

Любовь Андреевна въ отвѣтъ произноситъ краткую реплику, которой мы не слышимъ, но въ ея компаніи вызывающую оглушительный взрывъ долго ржущаго восторга.

Грандіозовъ мигаетъ мнѣ.

— А вѣдь не думайте о насъ плохо: курсистка была!..

— Быть не можетъ?!

— У насъ-то? Сколько угодно! Засосетъ, кого хотите! Поѣзжайте къ ней въ гости: у нея въ столовой виситъ группа выпуска... Группа—на стѣнѣ надъ диваномъ, а сама она—богинею этакою—подъ группою, на диванѣ... тутъ и коньякъ глушитъ, и сальности вретъ, и съ приказчиками своими Мессалину изображаетъ... Да—развѣ она одна такая? Нашъ край и пьющему мужчинѣ нехорошъ, а для пьющей бабы—совсѣмъ трясина!

— Да съ чего пить-то такой сытой, здоровой, богатой и,—вы говорите,—даже умной и съ образованіемъ?

— Скука! Безлюдье! Темь степная! А, по моему, впрочемъ, больше наслѣдственность: два вѣка пьяныхъ поколѣній... пора, наконецъ, вырожденію сказаться,—чему тутъ быть хорошему?! Я когда-нибудь покажу вамъ другое сокровище,—тоже не безъ нѣкотораго, образованія,—ту зовутъ у насъ по уѣзду «Голая гвардія»...

— За что?

— За то, что, когда она напивается, то любимое ея развлеченіе: призываетъ подчиненныхъ своего супруга и играетъ имъ на трубѣ военные сигналы, а подчиненные обязаны маршировать предъ нею въ чемъ мать родила... Спьяну.

Сибирякъ остерегается очень пьянствовать въ зимней дорогѣ: при холодахъ опасно. За то—вдругъ прорветъ какого-нибудь запойнаго гдѣ-нибудь на станкѣ,—онъ и засѣлъ тамъ недѣли на двѣ: деревню споитъ, проѣзжа-

ющихъ, начинаются исторіи, скандалы, чуть не уголовщина...

Нѣчто совсѣмъ дикое, хуже всякаго общественнаго собранія, представляетъ собою жизнь парохода, бѣгущаго по сибирской рѣкѣ. За лѣто, прожитое мною въ Минусинскѣ, очень рѣдкій рейсъ между этимъ городомъ и Красноярскомъ не утѣшалъ скучающую публику какимъ-либо приключеніемъ или скандаломъ. То, одурѣлый отъ водки, человѣкъ палитъ изъ револьвера по корридору между каютами.

— Нельзя!—замѣчаетъ слуга.

— Анъ можно!.. Вотъ тебѣ!..

Пьяный стрѣляетъ въ животъ слугѣ. Тотъ корчится и кричитъ, что у него душа уходитъ изъ тѣла, а полупьяный помощникъ капитана ругаетъ его же, зачѣмъ лѣзъ не въ свое дѣло... То пьяные интеллигенты забредутъ мимо сходни въ глубокую быстрину Енисея. То, наоборотъ, пьяный капитанъ выдернетъ сходню изъ-подъ ногъ публики. Одинъ пароходъ привезъ удачнаго самоубійцу. Другой—неудачнаго.

— Зачѣмъ вы въ себя стрѣляли?

— Страшно стало... Сижу на палубѣ, а берега вдругъ —ко мнѣ... высоченные, башнями... Я подумалъ: въ лепешку!!!.. Чѣмъ этакое, лучше застрѣлюсь...

Малый оказался въ бѣлой горячкѣ.

Былъ случай, что пароходовладѣлецъ встрѣтился на своемъ пароходѣ съ кумомъ. Запили и пропьянствовали пристань Абаканскъ, гдѣ куму надо было вылѣзать. Спохватились только черезъ семьдесятъ верстъ къ низу.

— Ворочай назадъ!—командуетъ пароходовладѣлецъ, —повеземъ кума къ мѣсту. Аль мнѣ для кума угля жаль?

Протесты пассажировъ пропали вотще.

— Кому не нравится, скачи въ воду!.. вылѣзай на берегъ!

— Однако, деньги взяты?!

— Деньги получай обратно!

Подошли къ Абаканску. Кумъ тѣмъ временемъ опять нализался, умилился и заявляетъ:

— Нѣтъ, кумъ: не хочу выходить... Я тебя, однако, такъ полюбилъ,—провожу до Красноярска.

Облобызались, повернули пароходъ и поплыли въ Красноярскъ. А народъ безмолвствовалъ и, кажется, даже не особенно гнѣвался, ибо—«понималъ»...

Посѣтилъ меня въ Минусинскѣ гость-петербуржецъ.

— Что за странная публика ѣхала со мною? Весь путь —пароходъ былъ точно мертвый... «Воздушный корабль» какой-то!... Затворенныя каюты, пассажировъ не видать, капитанъ и прислуга то и дѣло куда-то ныряютъ... только и жизни, что въ третьемъ классѣ!.. А, когда стали подходить къ городу, палуба вдругъ сразу покрылась неизвѣстно откуда вынырнувшими, совершенно пьяными людьми!..

Бывалый человѣкъ изъ мѣстныхъ смѣется:

— Изъ каютъ повыползли. Одиночниковъ, стало быть, Богъ вамъ въ путь послалъ. Бываютъ... подбираются компаніи...

— То-есть?

— Запойные купцы съ товариществомъ... Многіе такъ избываютъ свою слабость! Потому что—рѣка... природа... воздухъ легкій... Дорогою сидѣли, запершись, и пили промежъ себя... Ну, а какъ вылѣзли на Божій вѣтеръ, тутъ ихъ, подъ небомъ, и очикурило...

Вагонъ-ресторанъ курьерскаго поѣзда, ползущаго черепашьимъ шагомъ въ сторону Россіи. Люди въ высокихъ сапогахъ, очень смущающіе аристократическихъ пассажировъ перваго класса. Это—запоздалые захолустные купцы спѣшатъ въ Ирбитъ на ярмарку: нагоняютъ сроки и, куда ни шло, расшиблись заплатить бѣшеный тарифъ сибирскаго экспресса. Слушаю разговоръ.

— А Марья Дементьевна, супруга ихняя, здравствуетъ?

— Пропилъ.

— Такъ-съ... Однако, кому?

— Иннокентію Беззубыхъ.

— Рыжему,—разные глаза?

— Ему самому.

— Сама сбѣжала?

— По согласію.

— Большую сумму взялъ отступного?

— Нѣтъ, просто... Поилъ его Иннокеній три недѣли, какъ слѣдуетъ, по уговору, а на четвертую посадилъ Марью Дементьевну въ кошеву и увезъ.

— Дуракъ Блошной!

— Онъ не дуракъ, довольно даже плутъ, только обезумѣлый... Очень много водку любитъ.

— Красивую женщину такъ зря безо всего отпустилъ.

— Конечно, очень просто могъ вексель взять... Иннокентій бы не постоялъ...

На завтра пью чай. Поѣздъ стоитъ у какой-то разъѣздной станціи съ красивою церковью, выжидаетъ встрѣчнаго. Вчерашніе высокіе сапоги глядятъ въ окно и повѣствуютъ:

— Въ этомъ селѣ попъ—чудакъ. Весьма оглашенный. Теперь находится подъ судомъ.

— Пьетъ?

— Кабы просто пилъ, а то ума рѣшился... Какъ выпьетъ, сейчасъ мстится ему, будто онъ—баба...

— Такъ!

— Выкрадетъ у стряпки сарафанъ, нарядится и шастаетъ отъ кабака къ кабаку... Очень безобразно.

— Подъ судомъ за это, говорите?

— Однако, да. Крестьяне три года жалѣли, потому что хорошій человѣкъ, изъ сосѣдей нѣкто донесъ.

— Есть же подлецы'..

— Изъ своей братьи духовенныхъ, надо думать... по зависти.

— Вѣшать бы такихъ!

Молчаніе.

— Многіе спиваются...— метерлинковскимъ афоризмомъ изрекаютъ первые сапоги.

— Достаточно...—нескоро отвѣчаютъ вторые.

— Что-то монополія скажетъ?

— Вовсе сопьемся.

— Но? Пошто?

— Водка крѣпше.

— Меньше пить будемъ...

— Скажете!!!...

V.

## Щедринская сторожка.

Храповицкій обыватель Кобылкинъ обозрѣвалъ мою библіотеку. Увидавъ на полкѣ томы Салтыкова, возрадовался и осклабился.

— Михайло Евграфовичъ!.. Любите?

— Мало, люблю:—обожаю!

— Да-съ, это—писатель! Слушайте: а какъ вы его понимаете?

— То-есть?

— Ну, къ какому роду литературы, что ли, относите?

— Чудакъ вы, Кобылкинъ! Конечно, Салтыковъ—нашъ величайшій, а, пожалуй, даже и единственный настоящій сатирикъ. Объ этомъ и споровъ нѣтъ.

— Ага! Сатирикъ! Такъ я и зналъ, что скажете: сатирикъ!

Кобылкинъ взялъ съ полки томъ «Сказокъ», полистовалъ книгу, бормоча что-то себѣ подъ носъ, заложилъ одну страницу пальцемъ и обратился ко мнѣ, хитро улыбаясь всѣмъ своимъ нервнымъ и немножко безумнымъ лицомъ.

— А, по моему, вовсе не сатирикъ!—сказалъ онъ,—совсѣмъ не сатирикъ Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ!

— Вотъ какъ? Кто же, въ такомъ случаѣ?

— Бытовой писатель,—вотъ кто!

— Однако, Кобылкинъ!!!...

Онъ же стучалъ корешкомъ книги по столу и говорилъ:

— Сатира гиперболична. Сатирикъ удлиняетъ линіи явленія, чтобы показать его житейскую нелѣпость, обратить его въ абсурдъ. Онъ показываетъ факты сквозь стекло, которое утолщаетъ и огрубляетъ контуры, подчеркиваетъ штрихи, сгущаетъ краски. Гдѣ же это у Щедрина? Я не вижу! Я нахожу его фотографичнымъ У него все, какъ и на самомъ дѣлѣ. Я, конечно, не знаю столичнаго быта и какъ живутъ въ большихъ городахъ, но, что касается нашихъ мѣстъ, сибирскихъ медвѣжьихъ угловъ, не усматриваю у него ни въ чемъ ни малѣйшихъ гиперболъ. Обличитель—да, сатирикъ—нѣтъ. У Щедрина жизнь—въ настоящій ростъ, какъ мы ею утѣшаемся, безъ всякихъ преувеличеній.

— Даже въ «Сказкахъ»?—улыбнулся я, кивнувъ на томъ, который Кобылкинъ держалъ въ рукахъ.

— Даже въ «Сказкахъ»!.. Что же въ «Сказкахъ»—отъ себя, не изъ житейскаго? И премудрый пискарь, и самоотверженный заяцъ, и бѣдный волкъ, и баранъ непомнящій, и недремлющее око... пожалуйте, сколько угодно! Всѣхъ вамъ пальцемъ укажу и по имени-отчеству назову!.. Да, вотъ, позвольте. Я вамъ тутъ, именно въ «Сказкахъ», одно мѣстечко попридержалъ... изъ «Игрушечнаго дѣла людишекъ».

Онъ поспѣшно раскрылъ книгу и стремительно, скороговоркою прочиталъ:

«Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись въ этотъ день безъ «лакомства». Въ ту минуту, когда онъ простиралъ уже трепетныя руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась цѣлая толпа женщинъ. То были старыя «Лакомкины» прелестницы. Я

счелъ ихъ не меньше двадцати штукъ: всѣ онѣ были въ разнообразныхъ одеждахъ, и у каждой лежало на рукахъ по новорожденному ребенку.

— Л—ля! Л—ля! — кричали онѣ разомъ.

«Лакомка» на минуту какъ бы смутился. Но сейчасъ же оправился и, обращаясь въ нашу сторону, съ гордостью произнесъ, указывая на младенцевъ:

— Таковы результаты моей попечительной дѣятельности за минувшій годъ».

— Что-съ?—съ торжествомъ воскликнулъ Кобылкинъ и захлопнулъ книгу.—Что-съ?

Я молчалъ и улыбался. Дѣйствительно, по одному мѣстному случаю, совпаденіе сложилось курьезно *). Кобылкинъ ораторствовалъ.

— Человѣкъ воображалъ, что каррикатуру пишетъ, злобнѣйшій и язвительнѣйшій шаржъ,—анъ, врешь: Гальтиморовъ-то этихъ мы, сколько прикажете, видѣли и видимъ, вы сами были свидѣтелемъ!.. Да-съ! Вотъ-те и каррикатура! Нѣ-ѣ-ѣтъ! Насъ не перекаррикатуришь! Въ какомъ чудномъ видѣ ни изобразитъ насъ писатель, а мы понатужимся, ухитримся, да еще чуднѣе штуку выкинемъ!.. Жизнь наша литературою не превосходима,—нѣ-ѣ-ѣтъ! Скажите, напримѣръ, какой Щедринъ, какой Раблэ рискнулъ бы сочинить анекдотъ о боровѣ, котораго мужики Простоволосинской волости имѣли счастіе получить для усовершенствованія своего рогатаго скота?

— Кобылкинъ! Вы врете! Выдумываете!

Кобылкинъ упрямо затрясъ головою.

— Не вру! Не выдумываю! Нельзя выдумать такой штуки. Если бы я былъ способенъ такъ сатирически выдумывать, я бы самъ былъ Вольтеръ, Раблэ или Салтыковъ! Если не вѣрите, можете прокатиться въ Простоволосинскую волость: тамъ вамъ въ любой деревнѣ, на любой заимкѣ

---

*) См. выше разсказъ „Гальтиморы“.

любой мальчишка разскажетъ трогательную исторію жизни и смерти іоркширскаго борова, который былъ командированъ совершенствовать мѣстную породу рогатаго скота, но, не оправдавъ довѣрія, покончилъ свою дѣвственную жизнь въ горести и немилости отъ скоротечной чахотки.

— Какъ же это могло случиться?

— Очень просто: отъ усердія.

— Не отъ небрежности ли скорѣе?

— А вотъ слушайте. Дѣло было такъ. Пришла въ Простоволосное бумага: предлагаютъ мужичкамъ пріобрѣтать обществами породистыхъ производителей домашняго скота—на льготныхъ условіяхъ, чуть не вовсе даромъ, а, можетъ быть, даже и даромъ,—не могу вамъ сказать навѣрное... Мужики обрадовались: вѣдь здѣсь россійской косности и вахлаччины въ хозяйствѣ нѣтъ,—народъ на полезное новшество всегда охочій и чуткій. Говорятъ писарю:—Пиши, что желаемъ! Пущай намъ, однако, пришлютъ добраго бугая!.. Писарь написалъ. Чиновникъ въ губерніи, изъ недавнихъ «навозныхъ», столичный слетокъ маменькиной выкормки и дяденькиной протекціи, посмотрѣлъ на бумагу въ монокль:—Какъ глупо пишутъ мужики!.. Какой-то бугай... кесъ-ке-се бугай? Мишель! Ты не знаешь, что это за звѣрь—бугай?.. Мишель подумалъ и говоритъ:—это, моншеръ, кажется, мужъ свиньи—домашній кабанъ или боровъ... Моноклю все равно: боровъ, такъ боровъ!.. Составилъ докладъ, что требуютъ въ Простоволосинскую волость породистаго борова...

— Хоть зарѣжьте меня, Кобылкинъ, хоть присягу примите, но все же я не повѣрю въ возможность чиновника, который не знаетъ, что свинья—не рогатый скотъ!

— Да, о рогахъ въ бумагѣ ничего не значилось: бумага говорила объ усовершенствованіи не рогатаго, а вообще, домашняго скота...

— Ну-ну!

— Докладъ пошелъ въ Питеръ и былъ принятъ съ

пріятностью. Вотъ-де сколько просвѣщенія пролито въ Сибирь: въ этакой глуши учреждаются раціональныя хозяйства! Если въ Простоволосинскую волость просятъ іоркшира,—значитъ, тамъ дѣйствуетъ свиноводство на самый цивилизованный манеръ! Сейчасъ же министерскій статистикъ выкрасилъ на картѣ россійскаго свиноводства Простоволосинскую волость въ розовый цвѣтъ, и отпущены были кредиты для пріобрѣтенія въ питомникѣ племеннаго іоркширскаго борова и немедленнаго препровожденія онаго въ Простоволосинскую волость... Аглицкій боровь поѣхалъ и пріѣхалъ. Со станціи желѣзной дороги увѣдомляютъ простоволосинцевъ (будетъ этакъ верстъ за четыреста): получено, молъ, извѣщеніе, что тогда-то прибудетъ предназначаемая вамъ казенная живая кладь... Потрудитесь получить! Отправили выборныхъ, получили... Владѣютъ сокровищемъ и дивятся: что за чорта питерскаго прислали? Не то скотина, не то оборотень! Ждали бугая, а онъ—весь голый и безъ роговъ....

— Опять врете, Кобылкинъ! Что же—ваши простоволосинскіе мужики никогда не видали свиньи?

Кобылкинъ посмотрѣлъ на меня съ ехиднымъ превосходствомъ.

— Нѣтъ, видѣли!—сказалъонъ.—Лѣтъ пятнадцать тому назадъ, забѣжала въ Простоволосное неизвѣстно откуда, заблудившаяся въ тайгѣ, домашняя свинья. Страшнаго переполоха надѣлала. Какъ же! Событіе это въ исторіи Простоволоснаго стало въ родѣ хронологической эры... происшествія волости дѣлятся на «до свиньи» и «послѣ свиньи»! Увидавъ невѣдомаго и чудовищнаго звѣря съ пятачкомъ вмѣсто носа, простоволосинцы рѣшили, что передъ ними—сатана. Загнали сатану въ баню на задворкахъ, да, вмѣстѣ съ нею, для вѣрности и спалили. Такъ началось и тѣмъ кончилось свиноводство въ Простоволосномъ. Тутъ вся его исторія отъ аза до ижицы!

Нѣчто въ этомъ же родѣ произошло и при появленіи

іоркшира. Когда его везли степными деревнями, бабы выли. Общее убѣжденіе было, что везутъ въ Простоволосное антихриста губить православныя души. Проводники, просвѣтившіеся знаніемъ отъ станціонныхъ служащихъ при пріемѣ іоркшира, тщетно увѣряли, что это—«однако, свинья». Имъ не вѣрили: во-первыхъ, зачѣмъ-де начальство прислало бы вамъ свинью, если у васъ на триста верстъ вокругъ свиней нѣтъ и въ заводѣ? Во-вторыхъ, свиное званіе іоркшира отрицали даже бывалые, которые, посѣщая Храповицкъ и подгорные поселы, видали тамъ живыхъ свиней. Въ самомъ дѣлѣ, сибирская свинья и іоркширъ, на видъ—животныя разныхъ породъ: сибирская свинья—длиннорылая, узкомордая, лохматая, будто вся камышемъ заросла, нравъ у нея бойкій, шкодливый, а тутъ—что-то голое, толстое, розовое, лѣнивое, еле смотритъ...

Смотрятъ простоволосинцы на диковиннаго звѣря и кладутъ рецензіи.

Одни говорятъ:

— Свинья.

Другіе:

— Аглицкій бугай.

Третьи:

— Антихристъ.

Что прибывшій знатный иностранецъ—не аглицкій бугай, обнаружилось, конечно, съ перваго же момента, какъ попробовали пустить его въ стадо: весь предназначавшійся ему коровій гаремъ, едва завидѣлъ чудовище, такъ и махнулъ отъ него по степи въ разныя стороны, хвосты вверхъ и куда глаза глядѣли. Оставалось выбирать между антихристомъ и свиньей. Чалдоны—народъ практическій: предпочли выбрать свинью и отписали о своихъ недоумѣніяхъ уѣздному начальству. Получился отвѣтъ, что, хотя съ боровомъ, повидимому, дѣйствительно, вышла ошибка, но такъ какъ исправлять ее, за отдаленностью нашего края,

было бы дорого и долго, то примите-де эту полезную тварь за указаніе свыше: видно, есть воля Провидѣнія, чтобы въ Простоволосномъ процвѣло усовершенствованное свиноводство.

Чалдоны и не прочь бы: свиноводство, такъ свиноводство... Но теперь выходитъ новое затрудненіе: родоначальникъ есть, а родоначальницы нѣту. Отправили новыхъ выборныхъ за триста верстъ въ Храповицкъ: покупайте Еву для нашего Адама, привозите свинью!.. Купили за двѣнадцать цѣлковыхъ, увязали, повезли. Подъѣзжаютъ къ Простоволосному, а народъ съ горы завидѣлъ ихъ далеко въ степи,—бѣгутъ, машутъ руками, кричатъ:

— Везите, однако, чортову дочь назадъ, откуда взяли!.. Аглицкій демонъ сею ночью поколѣлъ!

— Про такія исторіи,—сказалъ я,—покойный пріятель мой, Яша Рубинштейнъ, выражался: се нонъ е веро, е бенъ соврано...

Кобылкинъ нахмурился.

— Вы читали Ядринцева?—круто спросилъ онъ меня.

— Конечно.

— Помните у него примѣчаніе о сюрпризахъ земельныхъ участковъ, которыми были осчастливлены переселенцы на Амуръ?

— Ахъ, это насчетъ фальшиваго чернозема?

— Ну, да! Мишели съ моноклями увидали черную землю и, въ твердой, ангельской, можно сказать, увѣренности, что всякая земля чернаго цвѣта есть черноземъ, отписали въ Питеръ о такой новоявленной благодати. Переселенческая волна хлынула на площадь, да потомъ такъ и завыла: земля-то оказалась совсѣмъ на черноземомъ, а какою-то болотною слизью, мертвою неродихою... Пришлось переводить бѣдняковъ на новые дальніе участки... Вы, можетъ быть, и Ядринцеву не вѣрите?

— Нѣтъ, Ядринцеву я вѣрю.

— Тогда не понимаю, за что вы обижаете меня: ей-

Богу, одному борову легче быть принятымъ за быка, чѣмъ ста тысячамъ десятинъ болота—за сто тысячъ десятинъ чернозема!....

— Щедринъ! Щедринъ!—вздохнулъ онъ,—о, если бы сюда Щедрина!... Какіе факты!.. Какіе типы!.. Вотъ вы мнѣ давали читать Сухово-Кобылина—«Смерть Тарелкина» или «Веселые Расплюевскіе дни»... въ Петербургѣ, вы сказывали, публика почти освистала пьесу: старо, шаржъ, грубо, невозможно... Пытка на сценѣ, бьютъ смертнымъ боемъ, при допросѣ полотенцемъ руки выкручиваютъ... Гдѣ виданы подобные нравы? Это все умерло, въ Россіи этого нѣтъ!... А вотъ я вижу въ окно: докторъ и мировой судья Грандіозовъ идутъ къ вамъ пить водку!.. Здравствуйте, докторъ! Сдѣлайте милость: разскажите ему про пойманныхъ убійцъ... подробно разскажите!

— Дѣйствительно, чортъ знаетъ...—тянетъ докторъ,—неподобная публика, понимаете... Шайка ихъ тамъ была, понимаете... Ну, понимаете, ворвались ночью къ богатому попу... Понимаете, не оставили живой души... Это ужъ какъ у насъ въ степныхъ грабежахъ водится, понимаете... Свидѣтелей не оставляютъ: все живое—на смерть!... Ну, ловили ихъ, негодяевъ, облавою... съ трехъ деревень народъ сбили... понимаете, восемьсотъ человѣкъ... Ну, выслѣдили... нагнали... стрѣляли тамъ... ранили, понимаете...

— Вы про осмотръ раненыхъ-то разскажите! Про осмотръ раненыхъ!—нетерпѣливо понукалъ Кобылкинъ.

Грандіозовъ тоже поддакнулъ:

— Про раненыхъ разскажи!

— Н-да-а... осмотръ... Понимаете, раны меня удивили... огнестрѣльныя, а будто рваныя по краямъ... звѣздочками... понимаете, какъ хорошіе повара морковь въ супъ крошатъ...—Чѣмъ это васъ, ребята?.. А казаки, которые привели ихъ, взятыхъ изъ степи, говорятъ мнѣ, понимаете, совершенно спокойно:—Это мы, ваше благородіе, шиломъ... Я, понимаете, удивился, какимъ, зачѣмъ шиломъ... А они

объясняютъ:—Мы, однако, допрашивали ихъ на степу, всѣ ли они тутъ пойманы, или былъ съ ними еще какой-нибудь злодѣй,—такъ вотъ, при этомъ случаѣ, шиломъ ихъ малость, однако, поковыряли... И смѣются. И тѣ, черти двужильные, тоже, понимаете, грохочутъ какъ ни въ чемъ не бывало..—Безъ этого,—говорятъ казаки,—нельзя, ваше высокоблагородіе, а то они не скажутъ...—Безъ этого не скажемъ! – соглашаются и тѣ .. Все по душамъ такъ, спокойно... Я посмотрѣлъ на нихъ, плюнулъ и пошелъ прочь.

— Вы не плевать, а донести должны!—взвился на него Кобылкинъ.

Докторъ хладнокровно высунулъ ему языкъ.

— Доноси самъ! Я, братъ, краснаго пѣтуха на крышу, понимаете, не желаю. Да еще и какъ начальство взглянетъ... Я—человѣкъ мирный, кляузъ, понимаете, не терплю...

— Вотъ-съ? Не угодно ли? Полюбуйтесь: интеллигентъ!..—трагически указалъ Кобылкинъ.

— Да чудакъ-человѣкъ!—вмѣшался Грандіозовъ,—чего ты безпокоишься? Ежели обѣ стороны собою и другъ другомъ довольны? Кабы претензіи кто заявилъ или что... А то—одни поковыряли, у другихъ поболѣло, и шабашъ: довольны! Съ своимъ уставомъ... знаешь?

— Знаю! Что другое, а эту пословицу всѣ вы горазды повторять. То-есть—до чего всѣ они, навозные, быстро здѣсь дичаютъ—это уму непостижимо!—обратился Кобылкинъ ко мнѣ.—Въ два, три года человѣкъ тумбѣетъ, какъ чугунная болванка!.. Нѣтъ, образованные изъ нашихъ сибиряковъ куда же прочнѣе держатся!..

Грандіозовъ посмотрѣлъ на него съ насмѣшкою и возразилъ:

— Это потому, что они кабаки держатъ, а мы изъ ихнихъ кабаковъ водку беремъ.

По улицѣ раскатился и глухо дошелъ до насъ сквозь двойныя рамы заливистый рокотъ бубенцовъ.

— Кто?—зѣвнулъ докторъ. Онъ вальяжно лежалъ на диванѣ, и ему была лѣнь приподняться даже на локтѣ, чтобы заглянуть въ окно. Грандіозовъ посмотрѣлъ и сказалъ:

— Иванъ Николаевичъ Бездѣльный... должно быть, въ уѣздъ... въ дохѣ.

— На мереньяхъ?—засмѣялся докторъ.

Засмѣялся и Грандіозовъ. Засмѣялся Кобылкинъ.

— На мереньяхъ!

Докторъ повернулъ ко мнѣ голову.

— Это, понимаете, одинъ изъ нашихъ крестьянскихъ начальниковъ, понимаете... Хорошій человѣкъ, только, понимаете, очень любитъ почтеніе...

— Однимъ словомъ,—подхватилъ Грандіозовъ,—когда онъ ѣдетъ по службѣ и мужики приводятъ ему лошадей, сейчасъ же у него первая забота: освидѣтельствовать полъ.

— Зачѣмъ?

— Существуетъ у насъ въ краю этакое служебное суевѣріе, еще съ засѣдательскихъ временъ, что начальству пристойно разъѣзжать только на лошадяхъ мужескаго пола; вотъ онъ и блюдетъ свое достоинство, чтобы, сохрани Богъ, не запрягли ему кобылу.

— А если запрягутъ?

— Скандалъ на всю степь... Изругаетъ, хуже чего нельзя... Пожалуй, и подъ арестъ посадитъ...

— Послушайте! Какъ же это, въ самомъ дѣлѣ? Откуда такой фруктъ? О крестьянскихъ начальникахъ идетъ хорошая слава, что они—цвѣтъ сибирской служебной интеллигенціи, все молодежь, большинство университетскихъ...

— Это, батюшка, было... Теперь уже не то, андере гешихте... Иныхъ уже нѣтъ, а тѣ далече...

— Не ко двору пришлись!—вставилъ Кобылкинъ.

— Растаяли,—сказалъ съ дивана докторъ.

— Именно,—подтвердилъ Грандіозовъ.—Сначала ин-

*

ститутъ двинулся впередъ энергическимъ, смѣлымъ, прогрессивнымъ шагомъ. Старики находили даже, что немножко похоже на мировыхъ посредниковъ,—знаете, какъ было въ шестидесятыхъ годахъ. Но не надолго. Дрязги пошли, столкновенія, доносы... Ну, и пофиникалась комедія: поползло дѣло, распоролось по швамъ. Изъ горяченькихъ—кого перевели, кто самъ ушелъ, смирные поопустились, поприспособились, выучились съ волками жить и по-волчьи выть...

Кобылкинъ не утерпѣлъ, чтобы не уязвить:

— Въ родѣ докторовъ, которые замалчиваютъ, что въ револьверныхъ ранахъ оказываются края морковными звѣздочками.

Докторъ зѣвнулъ и сказалъ:

— Въ родѣ.

Грандіозовъ продолжалъ:

— А дальше институтъ покатился подъ гору по пословицѣ, что—соколъ съ мѣста, ворона на мѣсто. Интеллигенты порасточились, яко врази его, а нагрянулъ бурбонъ... вотъ, въ родѣ этого голубчика съ мереньями...

Грандіозовъ засмѣялся.

— Я какъ-то разъ засталъ его на этомъ полицейско-врачебномъ изслѣдованіи.

— Сконфузился?

— Нисколько. Чего? Лицо жреца! Священнодѣйствуетъ! Всею осанкою охраняетъ престижъ ввѣренной власти!

— Что, батюшка?—восхитился Кобылкинъ.—Найдете вы такой сюжетъ у Щедрина? Рѣшился бы подумать что-нибудь подобное Щедринъ? Нѣтъ-съ, я такъ полагаю, что друга нашего Ивана Николаевича Бездѣльнаго и мать-то родила только ненарокомъ, безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія, а литературной фантазіи гдѣ же его родить!

Грандіозовъ повѣствовалъ:

— Я говорю ему: Иванъ Николаевичъ, что ты ужъ такъ больно очень шибко усердствуешь?... Отвѣтствуетъ:

— А что будешь дѣлать? Я самъ не радъ, братъ, но нельзя иначе. Служба. Распущено мужичье. Надо подтянуть.

— Такъ ты бы какъ-нибудь иначе... А то не хорошо: мужики смѣются...

У Бездѣльнаго сейчасъ же—кровь въ глазахъ.

— Смѣ-ют-ся?

— И очень. Хвостоглядомъ тебя прозвали. Я намедни тоже ѣздилъ въ уѣздъ; гдѣ ни бывалъ, нѣтъ тебѣ другого имени, какъ хвостоглядъ...

Возражаетъ съ важностью:

— Не упускай подтягивать въ мелочахъ,—будутъ трепетать и повиноваться въ крупномъ! А кто дерзаетъ смѣяться и изобрѣтать клички начальству, ты мнѣ, пожалуйста, тѣхъ укажи: я ихъ посажу подъ арестъ, а если будутъ упорствовать, передамъ дѣло прокурору...

Вижу: не зря хвостоглядствуетъ человѣкъ—по принципу, съ твердо выработаннымъ убѣжденіемъ!.. А главное: со всѣхъ четырехъ сторонъ окопался самодовольствомъ! Неуязвимъ!.. Взяло меня зло на дурака... Смотрю на него и говорю:

— Ты не такъ меня понялъ, Иванъ Николаевичъ. Я совсѣмъ не то тебѣ совѣтую, чтобы ты прекратилъ... Боже меня сохрани! Но зачѣмъ тебѣ самому такъ дѣйствовать? Оно и ниже чина твоего, и, если хочешь, не совсѣмъ по закону...

— То-есть, почему же это не по закону?

— А потому, что — ну, какъ лошадь, часомъ, окажется, въ самомъ дѣлѣ, кобыла? Вотъ тебѣ и превышеніе власти: свидѣтельствовать женскій полъ чиновникъ, братъ, не имѣетъ никакого римскаго права.

Удивился Бездѣльный, подумалъ, сообразилъ, согласился:

— Правда!.. Но какъ же тогда?

— Да, требуй,—говорю,—отъ полиціи, чтобы присылала свидѣтельствовать акушерку... очень просто!

Докторъ промямлилъ съ дивана:

— Тутъ онъ, конечно, тебя—въ морду?

— Вовсе нѣтъ! За что? Напротивъ: посмотрѣлъ, точно я передъ нимъ Америку открылъ, задумался и просіялъ...

— А вѣдь это, говоритъ, идея!..

— Что, батюшка?!—торжественно возгласилъ ко мнѣ ликующій Кобылкинъ.

VI.

# ИЛЮШКА.

Въ черную ночь, какъ сегодня, мой домъ, что фонарь, свѣтитъ на три улицы. Одинокій, въ пустой квартирѣ, я хожу отъ окна къ окну и гляжу въ тьму внѣшнюю. Черно... Мигаетъ слабый фонарикъ на улицѣ къ базару, мигаетъ фонарикъ на улицѣ къ собору, а дальше — завѣса. Чернь ночи кажется неподвижною, а выйди-ка на улицу: она полна вихремъ,—такъ и свалитъ съ ногъ, въ минуту изнобитъ до костей, изсѣчетъ лицо колючимъ мерзлымъ пескомъ. Вонъ какъ жутко трепещетъ и плачетъ иззябшій духъ степной вьюги въ трубѣ, какъ скучно пищатъ о холодной зимѣ и глухо постукиваютъ въ стѣны дурно закрѣпленныя, не затворяющіяся ставни.

— Бухъ... Бухъ... Бухъ...

По всему дому разносятся тяжелые глухіе толчки. Знаю, что это: мой козелъ-яманъ на крыльцѣ обидѣлся на дурную погоду и со злости бьетъ рогами въ подъѣздъ.

— Туки-туки-тукъ...

Звонко и гулко слышны съ улицы острые удары желѣзнаго посоха. Это ночные сторожа подобрались и примащиваются у моихъ воротъ: мѣсто у нихъ облюбованное.

— Изъ всего города самый ты для насъ, сторожей, лю-

безный человѣкъ,—говорилъ мнѣ намедни одинъ изъ нихъ, почтенный семидесятилѣтній дѣдъ.

— Спасибо на добромъ словѣ. Чѣмъ такъ угодилъ?

— По ночамъ долго сидишь, лампы свѣтло жжешь. Превеселое около тебя теперь стало мѣсто. Такъ мы, сторожа, цѣлую ночь подлѣ твоего дома всѣ и сидимъ. Чудесно это, что у тебя огонь горитъ. Ясно, не страшно...

— Дѣдъ! А вѣдь тебя городъ нанималъ, поди, не въ свѣтлѣ сидѣть, а дозоромъ ходить?

— Что дозирать-то? Нешто въ ночи дозришь? Не котъ я—видѣть впотьмахъ. Обязанность свою сполняемъ. Съ вечера, покуда смеркается, пройду на слободу; къ утру, какъ начнетъ свѣтъ заниматься, вдругорядъ схожу. Чего еще? А на ночь всю ужъ къ тебѣ, поцъ огонекъ. Все наше сторожевое кумпанство. Табакъ куримъ, сказки сказываемъ.

— А воры, дѣдъ?

— Воры? Воры, господинъ, народъ дурной. Это я тебѣ никогда не посовѣтую, чтобы съ ворами вязаться. Ты воровъ обязательно остерегись,—вотъ какъ я тебѣ скажу.

— Я-то остерегусь. Ты зачѣмъ своего участка не сторожишь?

— Чѣмъ мнѣ его сторожить? Я старикъ старый. Мнѣ отъ вора себя въ разъ оборонить: наглый человѣкъ—воръ. У нихъ, воровъ, теперь пошла такая манера, что одиночкою не ходятъ: вдвоемъ, да втроемъ Что я, старый меренъ, могу выстоять супротивъ троихъ жеребцовъ? У нихъ револьверты, а я—тюхъ-тюхъ —палкой стучу.

Дѣдъ горестно вздохнулъ:

— Ты, баринъ, полагаешь: лѣнтяйка дѣдъ, робѣетъ дѣдъ, легкое дѣдово дѣло. А я тебѣ доложу напротивъ: наше дѣло очень даже тяжкое. Возьми меня, сторожа. Обязанность моя: долженъ я въ ночи два раза идти дозоромъ къ кузнямъ, на слободу. Идешь,—душеньки человѣческой не слыхать, свѣта ни въ окошечкѣ не видать, ночь згою своею такъ вотъ на самый копецъ носа къ тебѣ и сядетъ.

Идешь, палкою стучишь, а у самого сердце, словно селезенка у ядренаго коня, ёкъ, ёкъ, ёкъ... Того ждешь: сей минутъ прощайся душа съ грѣшнымъ тѣломъ, потому что шкворнемъ по затылку... Въ слободу иду,—трясусь, изъ слободы—трясусь. Только тогда и оживаю, когда твои окошечки издали проблеснутъ: Слава Богу, Абалацкой Божіей Матери! Сегодня, стало быть, живъ; чего Богъ пошлетъ завтра.

Клубъ ночныхъ сторожей у воротъ моихъ, однако, нимало не помѣшалъ тому, что однажды осенью, подойдя къ двери на балконъ взглянуть на термометръ, я неожиданно встрѣтился съ глазами, любопытно смотрѣвшими на меня съ улицы въ то же самое стекло. Глаза были острые, смѣлые.. кудрявился черный вихоръ изъ-подъ шапки... сверкала серьга въ ухѣ... Мнѣ показалось, что сердце у меня остановилось и сдѣлалось въ пудъ вѣса, а лобъ, ноги и руки разомъ превратились въ ледъ. Мы глядѣли другъ на друга одно мгновеніе... Въ слѣдующее я стоялъ у своего письменнаго стола и вынималъ изъ чехла револьверъ. Лица за стекломъ на балконѣ не стало. Я вышелъ на балконъ съ револьверомъ. Мой ночной гость удиралъ, уже саженяхъ въ десяти, по улицѣ къ базару. Прямо въ лицо мнѣ свѣтилъ умирающій мѣсяцъ сентябрьскаго ущерба и дышала острымъ холодомъ первоморозная сухая ночь. Я смѣрилъ глазами разстояніе отъ балкона до земли: сажени двѣ съ половиною...

— По ставнямъ забрался... Ловкій парень! — почему-то необычайно весело подумалось мнѣ. Теперь сердце колотилось въ груди и стучало, какъ вагонное колесо, а на лицѣ даже потъ выступилъ: такъ горячо хлынула къ головѣ кровь. Я былъ радъ и горъ, что не струсилъ, потому что я думалъ, будто не струсилъ; однако, ложась въ постель, я чувствовалъ себя разбитымъ во всемъ тѣлѣ, словно мы съ воромъ не взглядами только помѣнялись, но дрались смертнымъ боемъ часа четыре.

Ко всякимъ эмоціямъ привыкаетъ человѣкъ. Мѣсяцъ спустя, я совершенно спокойнымъ окомъ смотрѣлъ поутру въ окно на тотъ же самый балконъ, истоптанный въ ночи по свѣже выпавшему снѣгу опять чьими-то воровскими сапожищами. Только и думалъ:

— Эка народецъ. На улицѣ сторожа, въ окнахъ свѣтъ... пѣтъ, все-таки лѣзетъ. Подъ пулю хочется.

Бухъ... Бухъ... Бухъ... бодаетъ стѣну яманъ.

Туки-туки-тукъ... стучитъ клюка сторожа.

Вѣтеръ малымъ ребенкомъ заливается, стонетъ въ трубѣ...

Я сижу, глубоко уйдя въ уютное кресло, и читаю старую книгу о томъ, какъ Титъ осаждалъ Іерусалимъ, и безумный пророкъ Іошуа бенъ-Гананъ блуждалъ по стѣнамъ святой твердыни, предвѣщая ей гибель:

— Голосъ съ востока, голосъ съ запада, голосъ съ четырехъ вѣтровъ, голосъ, вопіющій надъ Іерусалимомъ и храмомъ, голосъ, вопіющій надъ женихами и невѣстами, голосъ, вопіющій надъ всѣмъ народомъ!.. Горе городу, народу и храму... Горе, горе тебѣ, Іерусалимъ!..

Бухъ, бухъ, бухъ. .

Туки, туки, тукъ...

Что это? Среди глухой ночи, сквозь стонъ вѣтра какъ будто прорвалось громкое тяжкое рыданіе...

— А-а а-ахъ! а-а-а-а-а-ахъ!

Нѣтъ, это ужъ не вѣтеръ плачетъ. Это живое, это голосъ человѣческій, безумный человѣческій голосъ. Такой же трагическій и дикій, какъ у того Іошуа бенъ-Ганана, рыдавшаго надъ Іерусалимомъ отъ имени четырехъ вѣтровъ. Это вопитъ Илюшка, нашъ уѣздный бенъ-Гананъ. Бурная ночь, какъ всегда, нагнала ему безсонницу. Гдѣ-нибудь далеко, улицы за двѣ, за три, лежитъ онъ, бѣдняга, впотьмахъ, голымъ брюхомъ на голой землѣ, боится мрака, тоскуетъ и вопитъ:

— А-а-а-а-ахъ! Мамонька... Мамонька... А-а-а-а-ахъ!

Стоны Илюшки раздираютъ ночь. Могучая у него грудь: онъ кричитъ, какъ десять голосовъ. Словно это не человѣкъ вопитъ, а вѣчная тоска, свинцомъ гнетущая нашъ отверженный, забытый, никому не нужный, ссыльный Храповицкъ, разрѣшаетъ свою муку отчаяннымъ ночнымъ причитаньемъ...

— Мамонька! Мамонька! А-а-а-ахъ!

Илюшкѣ сорокъ шесть лѣтъ. Онъ здоровъ, какъ быкъ, и силенъ, какъ быкъ. У него безбородое круглое лицо толстой бабы и мускулы крючника. Никто никогда не видалъ его обутымъ. Одни и тѣ же лохмотья прикрываютъ его лѣтомъ въ тридцатиградусныя степныя жары и зимою въ сорокаградусные степные морозы. Простонародье считаетъ Илюшку святымъ, интеллигенція — хитрымъ притворщикомъ и тунеядцемъ, инородцы—сумасшедшимъ. Правы, конечно, инородцы.

— Не хочетъ работать, вотъ и кривляется! Нравится юродствовать, даромъ хлѣбъ ѣсть,—съ сердцемъ кричалъ объ Илюшкѣ на послѣднемъ винтѣ у городского головы товарищъ прокурора Валерьянъ Агапитовичъ Буринокъ.— Ты чего смѣешься?

— Ничего,—возражаетъ податной инспекторъ Фикусовъ,—я только вспомнилъ, что негры въ Африкѣ совершенно того же мнѣнія о шимпанзе. Притворяется нѣмымъ,— говорятъ они,—чтобы его не заставили работать. Безсмысленною скотиною быть выгоднѣе, чѣмъ человѣкомъ,—вотъ онъ, хитрый, и не говоритъ.

— А какъ морозъ сегодня, сколько градусовъ?—спокойно и, казалось бы, ни къ селу, ни къ городу, задаетъ Буринку вопросъ мировой судья Грандіозовъ.

— Сейчасъ не знаю... Утромъ было двадцать шесть... А что?

— Да видишь ли: я сегодня на протоку ѣздилъ мерена промять... Ну-съ, такъ Илюшка этотъ—тамъ... Сидитъ надъ прорубью, ледъ проломилъ, ноги въ воду опустилъ и

болтаетъ... «Мамонька мыть! Мамонька Илюшѣ мыть...» Даже смотрѣть жутко...

— Къ чему ты это?

— Къ тому, что очень это странная манера отлынивать отъ работы: при тридцатиградусномъ морозѣ, разгуливать по городу чуть не нагишомъ и купать ноги въ Енисеѣ. Если намъ съ тобою предложить за одно этакое купанье тысячъ пять рублей денегъ,—пожалуй, вѣдь, откажемся,—а? Найдемъ, что самимъ дороже? А Илюшка такъ-то изо дня въ день...

— Поразительная нечувствительность кожи,—поддакиваетъ врачъ Стремопуховъ.—Совершенно исключительный экземпляръ. Его бы въ Петербургъ въ клинику, студентамъ показывать...

— Въ клинику ли, въ острогъ ли, только запереть его давно пора,—суровымъ голосомъ откликается нотаріусъ Сусъ.—Безобразіе! Скитается по городу этакое чудище: ноги голыя выше колѣнъ, подолъ рубахи завороченъ къ пазухѣ, пузырь пузыремъ. Помилуйте, нельзя выйти на улицу съ семействомъ изъ-за Илюшки вашего. У меня дочери невѣсты...

— Нельзя ему безъ подола,—заступается Грандіозовъ. Подолъ у него кладовая. Посмотрѣлъ я какъ-то: чего только онъ себѣ за пазуху не напихалъ. И говядина, и рыба, и конфекты, и газеты старыя, и банная мочалка, и стружки, и камни какіе-то. Домъ, а не подолъ!

— Именно, что домъ,—чудовище! Идетъ по улицѣ, такъ добро-то его по бокамъ на аршинъ торчитъ. Рожа! Кулачищи! Лошади шарахаются, женщины въ обмороки падаютъ... Непремѣнно надо его запереть.

— Да, вотъ заприте,—желчно отзывается исправникъ.

— Ваше дѣло, вамъ запирать...

— Куда я его, чорта, запру? Словно вы нашей каталажки не знаете... Хибара.

— Сиживалъ онъ у насъ,—смѣется помощникъ ис-

правника, старый человѣкъ, съ печатью безнадежности на лицѣ: «служить тебѣ, служить, да не дослужиться».—Я же и сажалъ, когда исправлялъ должность—вотъ, предъ Михайлы Трофимовича вступленіемъ... Сиживалъ.

— И что же?

— Да, ничего. Привели его въ камеру, камера ему очень поправилась, онъ и сидѣлъ въ ней, покуда нравилось. А часа черезъ полтора, когда выспался, вылежался, надоѣло быть одному, началъ причитать по-своему: гуль-гуль, Илюша, гуль-гуль... Въ двери его гуль-гуль, конечно, не пустили. Тогда онъ преспокойно выломалъ изъ окна раму, выворотилъ изъ окна желѣзную рѣшетку... голыми руками-съ!—забралъ свои стружки-щепки и ушелъ.

— Позвольте,—загорячился Буринокъ,—это побѣгъ арестанта, это серьезно.

— Ну, ужъ и побѣгъ... Какой можетъ быть отъ Илюшки побѣгъ?.. Какъ это у васъ, судейской молодежи, все сразу въ крутую... Онъ никуда не убѣжалъ, а тутъ же, подъ выворочепнымъ окномъ, усѣлся среди улицы на травку и, какъ обыкновенно, началъ раскладывать свои чурки... Смирный такой: «гуль-гуль, Илюша, гуль-гуль»...

— А куда же смотрѣли ваши вѣрные Личарды, сторожа, городовые?

— Что съ нимъ могутъ сдѣлать сторожа? Говорю вамъ: голыми руками желѣзную рѣшетку выворотилъ... На него взводъ солдатъ нуженъ: буйволъ.

— Стрѣлять!—какъ всегда, щеголяя энергіей, восклицаетъ Буринокъ.

Всѣ смотрятъ на него дико.

— Это въ Илюшу-то?

— А чѣмъ онъ лучше другихъ арестантовъ?

— Да, во-первыхъ, онъ не въ своемъ умѣ...

— Должно быть установлено экспертизою. Для меня онъ просто шарлатанъ и вымогатель...

— Ни одинъ сторожъ руки не поднимете,—возражаетъ

Стремопуховъ.—Они его святымъ чтутъ. Вы, батенька, столичный слетокъ, края не знаете. У насъ на счетъ религіи слабо, а суевѣрія—не въ проворотъ.

Помощникъ исправника смѣется:

— Стрѣлять? Вы спросите, во что намъ обошлось Илюшку въ каталажку взять. Немного, кажется, насидѣлъ въ ней: когда захотѣлъ, тогда и вышелъ, а, между тѣмъ, на утро два городовые, которые вчера вели его по улицамъ, уже пришли ко мнѣ просить увольненія: на родину, видите ли, желательно...—Взбѣсились?..—Никакъ нѣтъ, ваше высокоблагородіе, но въ Храповицкомъ мы теперича—не жильцы. Оченно шибко боязно: мѣщанишки убить грозятся, такъ и подсыкаются къ мордѣ съ кулаками: вы, говорятъ, фараоны-антихристы...—Вздоръ!..—Никакъ нѣтъ, увольте, ваше высокоблагородіе,—опять же въ своей душѣ тяжко: этакой грѣхъ. Подумалъ и уволилъ-съ... Потому что, ежели человѣкъ забоялся, какой онъ можетъ быть хранитель граду?

— Вѣрно.

— Да, что городовые! Самому было жутко на базаръ ѣздить. Смотрятъ на тебя волками, молчатъ. Едва отвернулся, сейчасъ кто-нибудь тебѣ въ спину изъ народа:—Игемонъ!.. — Кто кричалъ?..—Мы, вашбродь, ничего не слыхали...—Игемонъ!.. Ну, по неволѣ, дѣлаешь видъ, будто и самъ не слышишь,—не очень-то сыщешь грубіана, коли вся площадь за него... Гола полтора, черти-изувѣры, зло помнили и въ игемонахъ меня содержали...

— Такъ тебѣ и надо,—резонируетъ Грандіозовъ,—не сажай въ каталажку человѣка, который тебя не трогаетъ.

— Я его не за бездѣлье посадилъ, а за то, что онъ на гулянье пришелъ и Андрею Михайловичу на фуражку неприличіе положилъ. Да и, конечно, правъ Валерьянъ Агапитовичъ: шляется, въ самомъ дѣлѣ, чудище... Безобразіе!

— Ну, безобразіе!.. Одинъ Илюшка у насъ что ли безобразіе-то? Если все наше безобразіе въ каталажку запереть, такъ и города не будетъ—одна каталажка середь степи торчать останется.

— Не все больно строго, Валерьянъ Агапитовичъ,— заискивающимъ тономъ говоритъ товарищу прокурора мѣстный богачъ, золотопромышленникъ Парфуткинъ.—Безобразіе безобразію рознь. Иное безобразіе-то—къ счастью-съ. Хотя бы этотъ случай съ Андреемъ Михайловичемъ въ примѣръ принять: вѣдь въ скорости затѣмъ Андрей Михайловичъ награжденіе получили и на высшее мѣсто отъ насъ уѣхали.

— Ахъ, господа, господа!—презрительно улыбается Буринокъ. А Грандіозовъ съ хохотомъ указываетъ на Парфуткина пальцемъ.

— Это онъ—pro domo sua. Вы знаете? Илюшка къ нему въ гости пришелъ, да и отличился... ну, такое свинство въ гостиной устроилъ, что разсказать нельзя. Хозяйка, Мавра Даниловна, — даромъ, что блаженный, — ругаться стала: ковры бархатные. Но самъ Парфуткинъ оказался въ преданіи твердъ: не замай, велитъ, онъ не спроста даетъ намеки къ счастью... И что же вы думаете? Вечеромъ съ пріисковъ депеша: нашли самородокъ золота— два фунта десять золотниковъ... Такъ я говорю или нѣтъ?

— Изложеніе правильное-съ.

— Такъ послѣ этого торжественнаго случая всѣ наши золотопромышленники ходили за Илюшкою по городу гурьбою: «батюшка, Илюшенька, и къ намъ, и къ намъ милости просимъ, уважь, не обидь, не обходи»... А вы хотите, чтобы безобразія не было. За Илюшкины безобразія и юродства люди между собою, на перебой, въ драку лѣзутъ.

— Это—общественное помѣшательство какое-то,— брезгливо оттопыривъ губу, цѣдитъ Буринокъ.—Поголовное суевѣріе. Того и ждите, что, по вашимъ дикимъ нравамъ, возникнетъ здѣсь Илюшкина секта какая-нибудь.

— Собственно говоря, отецъ Иринархъ, это больше всѣхъ до васъ касается,—обращается нотаріусъ Сусъ къ протопопу.—Вамъ бы надлежало вмѣшаться... Что вы медлите?

Старикъ протопопъ закрываетъ добрые лучистые глаза сухими и блѣдными, похожими на старый пергаментъ, вѣками, трясетъ жиденькою желтою бородкою и дребезжитъ теноркомъ, похожимъ на великопостный звонъ въ разбитый колоколъ.

— Опасеніе имѣю... Въ расколъ многіе уйдутъ... Такъ какъ велика въ народѣ нашемъ шатость вѣры...

— Предшественнику его, отцу Малахіи, — киваетъ исправникъ,—прихожане, именно, такъ и заявили: ты, батюшка, хочешь писать архіерею на счетъ Илюши? Лучше планы эти свои оставь, а то вѣдь Богъ-то живъ не подъ одними большими колоколами... Понимаете?

— Секты изъ Илюшкина юродства никакъ не можетъ произойти,—замѣчаетъ отецъ Иринархъ.—Если хотите, онъ даже нѣсколько полезенъ.

— Вамъ? Чѣмъ же это?—позвольте спросить.

— А тѣмъ, что на церкви крестится. Я—смирный, я съ раскольниками не состязаюсь, а отецъ Малахія строгій были, обожали съ начетчиками о вѣрѣ спорить. И вотъ, ежели, бывало, учители еретическіе очень ужъ его загоняютъ,—потому что между фанатиками сими бываютъ преловкіе и преначитанные,—ежели ужъ очень ему не въ терпежъ, сейчасъ онъ за этотъ аргументъ брался: «какъ же, молъ, ты, неразумный, дерзаешь поносить наши храмы, а праведный мужъ Илія на оные истово молится?»—И много симъ преуспѣвалъ. Такъ что иныхъ даже вводилъ въ окончательный конфузъ, и они соглашались познать свѣтъ истинной вѣры.

— Нечего сказать, хорошъ миссіонеръ,—брезгливо ежится Буринокъ.

— Безобразіе!

— Кому безобразіе, а намъ благодать, —въ полголоса и въ пространство огрызается Парфуткинъ.

— Вотъ какъ сожжетъ онъ вамъ городъ, такъ и будетъ благодать, — сердито откликается отъ закусочнаго стола нотаріусъ съ пластомъ вяленой таймени во рту. Хоть бы слѣдили—спичекъ въ руки не давали ему... благодѣтели!..

— Первое у него удовольствіе—костры запаливать.

— Намедни смотрю: возится на Батыевской стройкѣ: щепки, стружки... коробокъ со спичками тутъ же валяется... Илюшка, что ты тутъ мастеришь, дуракъ? Городъ сожжешь!.. «Мамонька, мамонька, холодно,—мамонька, грѣть, Илюша, грѣть...» И что только онъ себѣ воображаетъ?

Народъ говоритъ о сумасшедшихъ, что у нихъ въ головѣ разумъ затмился: былъ свѣтлый день, а стала темная ночь. Когда я слышу дикіе вопли Илюшки, это образное слово народное всегда приходитъ мнѣ на память. Такъ, именно, вопитъ человѣкъ, заблудившійся въ темной ночи, полный паническаго ужаса предъ нею и невѣдомыми ея опасностями. Темная ночь въ умѣ Илюшки, и, вмѣстѣ съ воплями его, вырывается она наружу и, жалко стеная, плыветъ на сонный, скучный, нищій, ссыльный городъ... плыветъ, плыветъ, плыветъ...

Илюшка тронулся въ умѣ ребенкомъ отъ перепуга: мать едва успѣла выхватить его изъ горящей избы. Онъ дико таращилъ глазенки, лепеталъ:

— Мамонька, мамонька... Жига, Илюша, жига... Мамонька, тепло...

А вскорѣ начали замѣчать, что малый-то потерялъ мысли: о чемъ ни заговори съ нимъ, онъ все сворачиваетъ къ огню да къ теплу.

— Мамонька, жига... мамонька, тепло, жжетъ...

Въ глухой степной деревнѣ стало однимъ кандидатомъ въ дурачки больше. Однако, Илюша еще не лишился тогда ни рѣчи, ни пониманія: кромѣ навязчивой идеи пожара и первныхъ судорогъ,—послѣдствій дѣтскаго испуга,—онъ

былъ мальчикъ, какъ мальчикъ, въ больныхъ не почитался, и, когда подросъ, то, за бѣдностью и неспособностью къ другимъ занятіямъ, положило опчество: быть Илюшкѣ подпаскомъ.

И вотъ сидитъ однажды Илюшка на высокомъ енисейскомъ яру, въ густой іюньской травѣ, грѣется подъ солнцемъ. Кругомъ ползаютъ овцы. Яманъ-вожакъ взобрался на высокій камень древняго инородческаго могильника и, вытянувъ толстую рогатую голову, нюхаетъ воздухъ, трясетъ бородою, звенитъ шейнымъ бубенцомъ. Въ безпощадно жгучемъ, синемъ небѣ перекликаются орлы. Енисей сверкаетъ, какъ остро отточенная, кривая сабля. Тихо, жарко, душно, клонитъ ко сну... И вдругъ—потряслась степь шумомъ, и подъ яснымъ небомъ загудѣло стукотнею крупнаго дождя. Открылъ Илюшка глаза, а овцы его мчатся уже далеко въ степи, дробно топоча тысячью копытецъ, и всѣхъ впереди скачетъ грузною иноходью красавецъ-яманъ. А передъ Илюшкою, откуда ни возьмись, сѣли на хвосты четыре здоровенныя собаки, какихъ Илюшка еще никогда не видывалъ на деревнѣ. Мальчишка онъ былъ не изъ робкихъ, къ животнымъ ласковый. Протянулъ руки:

— Тю, тю... тютьки!.. что вы, тютьки?

Собаки заворчали и, трусливо пригнувшись, отпрыгнули отъ руки. Глаза у нихъ были желтые, масляные и блудливо бѣгали въ раскосъ. Пушистые, метлами, хвосты висѣли, поспѣшно зажимаясь между ногъ, едва Илюшка дѣлалъ движеніе. Пасти собачекъ были прорѣзаны по узкимъ мордамъ отъ уха до уха. Желтосѣрая шерсть дыбилась.

— Чьи вы, тютьки? Тю... тю...

Тютьки переглянулись, какъ бы совѣтуясь:

— Кажется, можно рискнуть: парень-то одинъ.

И принялись гарцовать передъ Илюшкою, съ ворчаньемъ прыгая одинъ черезъ другого, покусывая другъ друга за

уши, за ляжки, за толстыя стычныя шеи. Илюшка хохоталъ, хлопалъ въ ладоши, а волки, подбодряя себя игрою, набирались храбрости. Въ глаза ихъ зловѣще вступала кровь, они нервно зѣвали и, коротко подлаивая, облизывали морды длинными, узкими, вырѣзанными въ форму тонкой ложки, розовыми языками.

И осмѣлились: самый крупный изъ четырехъ прыгнулъ, рванулъ... Дикимъ крикомъ на всю степь завопилъ Илюшка, и берегъ Енисея аукнулся ему, и на далекомъ паромѣ люди въ испугѣ подняли головы... Полилась кровь... Звѣри остервенились и смявъ мальчика подъ себя, свились надъ нимъ въ клубокъ ..

Подоспѣвшіе съ парома люди успѣли отбить Илюшку отъ волковъ живымъ и даже не слишкомъ искусаннымъ: отъ когтей и тяжелыхъ лапъ ему досталось больше, чѣмъ отъ зубовъ. На его счастье, какъ увѣряютъ знатоки степи, волковъ было четное число, и всѣ они, какъ водится, передрались, паче всего заботясь, чтобы изъ будущей добычи ничего не досталось другимъ. Будь нечетъ,—напримѣръ, трое,—покуда бы пара дралась, третій, тѣмъ временемъ, воспользовался бы случаемъ—загрызъ и наѣлся. А въ четѣ волки, будто бы, всегда другъ другу мѣшаютъ.

Съ этого дня Илюшка пересталъ узнавать людей, кромѣ своей матери; съ этого дня научился онъ вопить тѣмъ источнымъ, стихійно умоляющимъ о помощи голосомъ, что ломится сейчасъ въ мои окна изъ ночной тьмы... «Голосъ отъ четырехъ вѣтровъ! Горе, горе, тебѣ, Іерусалимъ, горе и мнѣ!»...

— Илюшкины мозги, — красиво сравнилъ однажды Грандіозовъ,—представляются мнѣ черною пропастью, изъ которой время отъ времени вырываются огненные языки и выскакиваютъ волчьи морды. Ничего—кромѣ тьмы, огненныхъ языковъ, волчьихъ мордъ. Страшно жить съ такою памятью: оттого онъ и воетъ. Не люблю, когда его обижаютъ. Чего тамъ? Кажется, уже достаточно претерпѣлъ

*

человѣкъ отъ судьбы: въ огнѣ горѣлъ, волки его ѣли, разумъ потерялъ,—стало быть, людямъ-то можно бы оставить бѣднягу въ покоѣ. Вы только вообразите: всю жизнь наединѣ съ огненными языками и волчьими мордами.

Превратившись въ идіота, Илюшка началъ какъ-то сверхъестественно расти и здоровѣть. Ѣлъ много и безъ разбора, сталъ грубо нечистоплотенъ. Тѣмъ не менѣе, семья имъ не тяготилась, потому что очень вскорѣ онъ началъ приносить ей изрядный доходъ въ качествѣ юродиваго и прозорливца. Двумъ-тремъ суевѣркамъ Илюша пробормоталъ что-то принятое за предсказаніе,—по счастливому случаю, оказался удачнымъ пророкомъ, и слава о немъ пошла гулять по степнымъ деревнямъ до самаго славнаго города Храповицкаго.

Въ этомъ послѣднемъ онъ очутился четверть вѣка тому назадъ, благодаря не совсѣмъ обыкновенному происшествію.

Изъ всей родни своей Илюшка узналъ въ лицо и любилъ только мать. Когда старуха умерла, онъ былъ страшно озадаченъ. Не отходилъ отъ тѣла и сгонялъ съ него мухъ. Онъ былъ увѣренъ, что мать спитъ. Когда пришла бобылка-читалка и звонко затрещала по избѣ псалтыремъ, Илюшка долго шикалъ на нее и махалъ руками:

— Хрр... Хррр... мамонька бай... хррр...

Очень изумлялъ его холодъ мертваго тѣла. Онъ заботливо щупалъ голову и руки покойницы и терялся въ напрасныхъ усиліяхъ сообразить, отчего мать такъ озябла.

Соображалъ, соображалъ да и досоображался. Вышла бобылка на минутку изъ хаты, оставила Илюшку одного, возвращается,—анъ покойницы на столѣ нѣту, а Илюша сидитъ на корточкахъ передъ печкою и умильно смотритъ въ устье:

— Жига, мамонька, тепло... Грѣй, мамонька, грѣй...

Изъ печки,—хорошо еще, что нетопленой,—прямыми бревнами торчали старухины ноги.

Пришлось прибирать покойницу вдругорядь. Илюшку

обманомъ увели отъ нея, заперли до похоронъ. Въ церкви онъ держалъ себя превосходно. Иконы, свѣчи, ризы понравились ему; онъ все оглядывалъ, лѣзъ ощупать и бормоталъ, бормоталъ, бормоталъ... Сунули ему въ руки свѣчу, нагнули его и сказали:

— Крестись и кланяйся въ землю.

И земные поклоны оказались по вкусу Илюшкѣ, и стучалъ онъ лбомъ о половицу, инда содрогался лѣвый клиросъ.

— Бухъ, мамонька, Илюша, бухъ.

Повели его проститься съ покойницею. Видъ матери въ гробу, съ вѣнчикомъ на лбу, подъ парчевымъ церковнымъ покровомъ поразилъ Илюшку. Онъ притихъ, округлилъ глаза:

— О-о-о-о-о?

Повидимому, онъ былъ и удивленъ, и польщенъ, найдя мать свою столь великолѣпно убранною красавицею. Но, когда, поцѣловавъ ее, ощутилъ на губахъ все тотъ же противный холодъ, огорчился, сморщился, заплакалъ. И вдругъ сумрачный мозгъ его осіяла идея. Онъ посмотрѣлъ на покойницу почти сознательнымъ взглядомъ и хитро-хитро подмигнулъ:

— Подожди, молъ, мамонька, мы съ тобою ужо всѣхъ надуемъ.

Трупъ закрыли крышкою, гробъ забили. Илюша перетерпѣлъ это спокойно,—вѣроятно, находя, что въ глухомъ ящикѣ мамонькѣ будетъ теплѣе и согрѣется, наконецъ, ея ледяная кожа. Гробъ подняли, понесли изъ церкви. Илюша шелъ сзади и очень весело сообщалъ направо и налѣво:

— Гуль, гуль, Илюша... Мамонька, гуль, гуль...

Глядя на него, и смѣялись, и плакали.

Зарывъ старуху въ землю, семья прямо съ кладбища поспѣшила въ поле на хлѣбную уборку,—страда была въ разгарѣ. Предъ свѣжимъ холмомъ на погостѣ остался одинъ Илюшка. Онъ смотрѣлъ на могилу, безсмысленно улыбался, по-прежнему лукаво подмигивалъ глазкомъ:

— Жига, мамонька, жига... Тепло...

Вечеромъ усталая семья, возвратясь съ работъ, ужинала съ слипающимися глазами. Заглянули въ Илюшкинъ запечный уголъ, видятъ: дурачекъ спитъ, наваливъ подъ себя огромный ворохъ тряпья и соломы.

— И ладно, что дрыхнетъ... Пущай... Не до него людямъ... Утрудились. Оченьки спать хочутъ...

Первый свѣтъ разбудилъ семью. Проснулся и Илюшка. Мужики вышли обряжать коней въ телѣги; молодуха, Илюшкина брата жена, хлопотала у печки. Илюшка что-то возился въ соломѣ.

— Гуль, мамонька, гуль...—ласково ворчалъ онъ.— Гуль, мамонька...

Молодуха обернулась черезъ плечо посмотрѣть на дурачка, что онъ тамъ мастеритъ, и—ухватъ съ громомъ выпалъ изъ рукъ ея, а самоё словно вихорь подхватилъ и выбросилъ изъ хаты на крыльцо...

— Ѳедоръ!—крикнула она такимъ голосомъ, что всѣ мужики, какъ одинъ человѣкъ, кинулись къ ней, побросавъ работу. А она, не попадая зубомъ на зубъ и давясь пересмякшимъ языкомъ, тыкала пальцами на хату и лопотала:

— Илюшка... Мамонька...

Вошли братья въ избу и обомлѣли: въ красномъ углу, подъ образами, торчкомъ, какъ колода, стоялъ синелицый трупъ ихъ матери, а Илюшка хлопоталъ около покойницы, стараясь согнуть ей ноги, чтобы сѣла:

— Гости, мамонька, гости...

И въ то же время застучалъ въ окно перепуганный церковный сторожъ:

— Бѣда, братцы: лихіе люди. Могила ваша разрыта, съ гроба крышку сорвали, старуху выкрали...

Опомнившись отъ перваго впечатлѣнія, практическія сибирскія головы принялись соображать, какъ теперь выйти изъ труднаго положенія, въ какое поставило ихъ безумное Илюшкино святотатство. Боялись не суда: даже

старый, дореформенный, «черный неправдою», судъ, тогда въ Сибири работавшій, спасовалъ бы передъ очевидною невмѣняемостью преступника,—боялись алчнаго слѣдствія, свирѣпаго засѣдателя, взятокъ, волокиты, а въ особенности потери времени, дорогого въ страдную пору. Сторожъ, кромѣ того, трясся паче всѣхъ, что не укараулилъ кладбища.

Переглянулись, перешептались и порѣшили:

— Свидѣтелей нѣтъ. Рука руку моетъ. Быть дѣлу шиту и крыту.

Народъ на улицѣ еще едва начиналъ шевелиться. Церковь съ кладбищемъ при ней стояла отъ села на отлетѣ. По задамъ, сквозь густую сѣдую росу, сторожъ и одинъ изъ братьевъ Илюшки отнесли покойницу, завернутую въ рогожу, обратно къ мѣсту ея вѣчнаго сна и, забросавъ землею, возстановили могильный холмикъ.

Сибиряки—народъ съ характеромъ: молчать умѣютъ. Дѣло сошло съ рукъ благополучно, лучше чего нельзя желать. Участники происшествія, какъ бы по безмолвному договору, дѣлали видъ, будто никто изъ нихъ не знаетъ и не помнитъ, что случилось, и только бѣдную молодуху, съ перепуга, трясла нѣсколько дѣнъ нервная лихорадка. Илюшка былъ очень изумленъ и опечаленъ, что мать опять куда-то пропала, ходилъ мрачный, стоналъ, на всѣхъ домашнихъ смотрѣлъ испытующими, слезными глазами скучающаго пса. Потомъ опять засоображалъ.

За нимъ слѣдили. Старшій братъ, по нѣскольку разъ въ ночь, заглядывалъ за печь: на мѣстѣ ли Илюшка? Чуть онъ зашевелится въ своей норѣ, сейчасъ же нѣсколько голосовъ рыкнутъ на него:

— Куда? Опять, шельма, мать воровать?

Въ одну ночь проспали: Илюшка исчезъ. Старшій братъ разбудилъ другихъ мужиковъ, и тихо, безъ разговоровъ, пошли они вчетверомъ прямо на кладбище.

Сторожъ спалъ на паперти. Растолкали его:

— Илюшки не видалъ?

— Нѣту, не проходилъ... Ай сбѣжалъ, идолъ?

— Запропалъ... Надо быть, здѣсь... опять роетъ...

Мужики подоспѣли вò-время. При блѣдномъ свѣтѣ мѣсяца, Илюшка, урча и фыркая, какъ медвѣдь, лежалъ на холмѣ материнской могилы и, какъ кротъ, врывался голыми руками въ легкую, сыпучую, не успѣвшую слежаться, песчаную почву. Мужики подкрались и бросились на него сзади. Застигнутый врасплохъ, онъ не успѣлъ или не сумѣлъ пустить въ ходъ свои страшные мускулы. Въ молчаливой борьбѣ его повалили, связали, заткнули ему тряпкою ротъ и жестоко его избили. Когда ему дали свободу, Илюшка въ слѣпомъ ужасѣ убѣжалъ, какъ бѣшеный, не издавая ни одного звука... И только, когда очутился за нѣсколько верстъ отъ села, упалъ на землю и, кусая ее, завылъ свое:

— А а-а-а-ахъ! Мамонька! а-а-а-а-ахъ!

Дикій страдальческій вопль безпомощнаго отчаянія, которымъ съ тѣхъ поръ оглашаетъ онъ каждую свою ночь. Къ волчьимъ мордамъ и огненнымъ языкамъ прибавился въ его памяти еще образъ: разрытая могила, мертвая гнилая старуха и побои градомъ, побои съ плеча нѣсколькихъ разозленныхъ мужиковъ.

Братья и сторожъ угрюмо совѣщались: что дѣлать съ Илюшкою дальше?

— Мы его знаемъ. Онъ этой своей блажи не оставитъ. Повадился рыть, станетъ шляться каждую ночь.

— Стерегите.

— Гдѣ такого устеречь? Впятеромъ едва связали. Нешто можно, чтобы каждый день такое? Не подъ силу, мы люди рабочіе.

Сторожъ сказалъ:

— Я противъ вашего облома сторожемъ быть не согласенъ. Онъ кулакомъ убьетъ. Я, ежели такъ, и вокругъ церкви въ обходъ не пойду. Буду въ сторожкѣ сидѣть, запрусь.

Согласились:

— Не миновать, что надо признаваться батюшкѣ. Пусть возьметъ деньги, какія хочетъ, но устроитъ нашу бѣду къ свому мѣсту.

Батюшка сперва было взъахался, раскричался, сталъ вопить.

— Подъ судъ васъ, негодяевъ, всѣхъ подъ судъ!..

Но Илюшкины братья возразили ему съ резономъ:

— Батюшка, подъ судъ упечь людей недолго. Но какая тебѣ изъ того польза? Доноси, пожалуй,—самому стать въ свидѣтеляхъ придется... Вызовутъ тебя въ городъ, а тамъ и въ губернію къ архіерею... Посчитай-ка, да смекни, не обсчитаться бы...

Священникъ—мѣстный же сибирякъ изъ зажиточныхъ крестьянъ—вспомнилъ консисторію,—вспомнилъ, посчиталъ и изъявилъ готовность взглянуть на происшествіе тоже съ практической точки зрѣнія. Какъ истинно сибирскій священникъ, онъ былъ купецъ въ рясѣ, хлѣбный негоціантъ...

— Кабы еще не рабочее время...—разсуждалъ онъ,—а то главное, что страда... Тутъ каждый часъ дорогъ, а—на поди, возись съ чиновниками, расхлебывай казусное дѣло...

— Такъ, вы полагаете, опять онъ придетъ ее вырывать?

— Безпремѣнно что такъ, отецъ. Ужъ онъ у насъ такой: что затѣялъ, будетъ ладить, покуда не осилитъ.

— Гмъ...

— По мнѣ, — вполголоса сказалъ одинъ изъ братьевъ,—по мнѣ, батюшка, пусть бы онъ вырылъ... только бы могилка, стало быть, была цѣла: людямъ видимость... А мертвому тѣлу—что жъ? Мертвымъ-то тѣломъ, сказываютъ, хоть заборъ подпирай.

— Нельзя,—возразилъ священникъ холодно, однако, безъ особаго негодованія: онъ, на своемъ вѣку, и не такія сентенціи слыхивалъ отъ своей полудикой паствы.—Нельзя:

тѣло пѣтое. Не игрушка. Мало ли куда онъ его заволочь можетъ. Да, глядите, еще на село притащитъ: будетъ вамъ тогда праздникъ. Нѣтъ, никакъ нельзя, чтобы рылъ. Надо непремѣнно спрятать отъ него покойницу.

— А какъ ее спрячешь?

— Да, просто: переложимъ въ другую могилу. Дуракъ поищетъ, не найдетъ и отстанетъ.

Сторожъ смутился.

— А не попадетъ намъ за это?

Священникъ пожалъ плечами.

— Оно, конечно, если до начальства дойдетъ, то какъ начальство взглянетъ. По-моему, не должно попасть. За что же? Не кощунствуемъ, не ради празднаго любопытства покойницу тревожимъ, напротивъ, спасаемъ пѣтый прахъ отъ возможнаго поруганія. А что дѣйствуемъ безъ разрѣшенія власти гражданской и соблюденія формальностей, на то имѣемъ оправданіемъ дальнія разстоянія. До Храповицкаго триста пятьдесятъ верстъ, до губерніи близко тысячи. Покуда у начальства спрашиваться, да отъ начальства отвѣта ждать, онъ, Илюшка вашъ, у насъ весь погостъ раскопаетъ. Нѣтъ, не должны мы быть въ отвѣтѣ. А если и будемъ, то все-таки меньше, чѣмъ если у насъ пропадетъ изъ могилы тѣло...

— Ужъ ты намъ, отецъ, помоги, — поклонились мужики.—За благодарностью не постоимъ и денегъ не пожалѣемъ.

— Да что жъ? Однако, ничего... Худого не усматриваю... Владыкѣ, при случаѣ, келейно, всеконечно,— донесу, а передъ свѣтскими властями—вы помолчите, я помолчу, оно у насъ дѣло-то и шибко ладно обомнется...

— Мы, батюшка, на тебя не доказчики.

— А я на васъ подавно.

Илюшкина семья пережила еще одну кладбищенскую ночь, въ теченіе которой прахъ злополучной старухи переселился въ новую, вырытую вдалекѣ отъ первой, могилу.

Священникъ прочиталъ молитвы и ушелъ домой, а мужики остались сторожить. Холмикъ надъ старою могилою, для видимости, не сравняли съ землею, оставили, какъ былъ.

Илюшка тоже пришелъ въ ночи на свой упрямый подвигъ. Притаившіеся мужики не препятствовали ему рыть и только слѣдили за нимъ издали. И онъ рылъ, стеная и рыча, страшный въ лунномъ блескѣ, какъ упырь, весь въ поту, съ окровавленными руками... рылъ, покуда не докопался до твердаго грунта, и земля не перестала поддаваться его крѣпкимъ пальцамъ. Матери не было. Сидя въ ямѣ, Илюшка долго и безполезно шарилъ вокругъ себя, вылѣзъ изъ могилы, ходилъ, озирался, опять опустился въ яму...

— Мамонька... Мамонька...

Мамонька не пришла и не откликнулась. Илюшка упалъ на землю бркхомъ и завылъ.

Вылъ долго. Наблюдавшимъ его людямъ было страшно и жалко. Они боялись подойти ближе. Илюшка лежалъ и вылъ.

Небо стало сѣрое отъ разсвѣта, и мѣсяцъ выцвѣлъ въ бѣлое пятно. Илюшка поднялся съ земли.

— Мамонька... Мамонька...

— Гли, гли: зарыватъ...— зашептались, затолкали другъ друга мужики.

Илюшка зарывалъ яму до солнца. Сознаніе и память «мамоньки» оставляли его по мѣрѣ того, какъ разгоралось утро и спорилась работа. Когда могилка выросла опять въ холмъ, Илюшка гордо посмотрѣлъ на желтую насыпь, весело засмѣялся, перепрыгнулъ черезъ бугоръ и, скача съ ноги на ногу, побѣжалъ въ степь...

Больше его на селѣ не видали.

Богъ знаетъ, какими судьбами добрался онъ до Храповицка, но въ одинъ прекрасный день объявился на улицахъ этого богоспасаемаго города, босой, полунагой, безъ шапки. Онъ заглядывалъ въ лица прохожимъ:

— Мамонька?

А по ночамъ вылъ.

Храповицкъ и сейчасъ еще дикій городъ, а четверть вѣка назадъ нравы въ немъ жили совсѣмъ патріархальные, начальство правило старинно жестокое и старинно повадливое. Купечеству и мѣщанству новый пришлый дуракъ сразу полюбился, милѣе чего нельзя.

— Ты намъ этого юродиваго, ваше высокоблагородіе, не тронь,—говорили они градоначальнику изъ старыхъ севастопольцевъ на кормленіи,—а, что собирались мы на тебя губернатору кляузу писать, то свое намѣреніе мы оставляемъ...

— Цѣлуйтесь съ нимъ, чучелы,—добродушно соглашался севастополецъ.—А кляузъ у меня не писать: въ острогѣ сгною...

— На кляузахъ не обижайся, а за юродиваго мы тебѣ, ваше высокоблагородіе, пудъ уваженія прикинемъ...

— На томъ вамъ благодарствую, а ежели прибавите еще ведра три почтенія, такъ и совсѣмъ будетъ хорошо...

Мирный договоръ былъ заключенъ. Съ тѣхъ поръ Илюшка угнѣздился въ Храповицкомъ и украшаетъ его своею особою двадцать седьмой годъ, переживъ множество градоначальниковъ, порядковъ, новыхъ людей и новыхъ идей. Любятъ его въ Храповицкомъ, сами не знаютъ, за что, но безмѣрно. Къ вою его городъ привыкъ, точно вопли эти—естественный придатокъ сибирской непроглядно-унылой ночи...

— Не извольте безпокоиться,—съ усмѣшкою сказалъ мнѣ половой въ гостиницѣ, когда меня, новоприѣзжаго человѣка, передернуло и съ кресла подняло отъ внезапнаго стона этого, впервые ударившаго по моему слуху.— Не извольте безпокоиться: это совершенные пустяки-съ, это у насъ каждонощно-съ. Ничего болѣе, какъ Илюша, святая душа, мамоньку вспоминаетъ...

— Однако, и поминки...

— Спервоначалу, оно, точно, всѣмъ чрезвычайно какъ

дико, и многіе даже очень пугаются. Однако, потомъ въ скорости привыкаютъ... Мнѣ, скажемъ къ примѣру, теперича Илюша хоть надъ самымъ ухомъ про мамоньку жалься: только сны слаще будутъ-съ, потому: близость праведнаго-съ...

На завтра я видѣлъ Илюшку на базарѣ. Онъ стоялъ у мясной лавки, бралъ съ лотка шмотья сырой говядины и жралъ, какъ звѣрь, раздирая красныя волокна острыми бѣлыми зубами, облизывая языкомъ вокругъ губъ сокъ и кровь.

— Постъ, мамонька, постъ,—бормоталъ онъ,—ѣшь, мамонька, Илюшѣ постъ.

Хозяинъ лавки крестился и взиралъ съ умиленіемъ. Во взглядахъ торговцевъ-сосѣдей и прохожихъ свѣтилась искреннѣйшая зависть:

— Везетъ же людямъ: этакой чести удостоился...

— Кушай, Илюшенька, кушай на здоровье. Все твое. Хоть всее лавку забери...

— Рррр... собака ѣсть, Илюша ѣсть... Постъ, мамонька, постъ...

— Илюша, прими копѣечку...

Осанистый прохожій купецъ протянулъ юродивому двугривенный. Илюша посмотрѣлъ и не взялъ, продолжая урчать надъ говядиною, какъ котъ Васька надъ курченкомъ. Купецъ даже позеленѣлъ отъ злобнаго испуга.

— Видно, изъ недобрыхъ рукъ пришла монетка, — сказалъ онъ трепетнымъ голосомъ, въ смущеніи, избѣгая встрѣчаться взорами съ множествомъ глазъ, нелаково глядѣвшихъ на него исподлобья,—швырнулъ двугривенный на земь и поспѣшно зашагалъ по улицѣ. Въ Храповицкомъ—брось на улицѣ грошъ, его кинутся поднимать и даже, пожалуй, передерутся за него многотысячные купцы: такая здѣсь жадность на деньги. Однако, двугривенный, брошенный купцомъ, такъ и остался блестѣть въ пыли: никто на него не польстился.

— Вишь ты: изъ недобрыхъ рукъ,—злорадно говорили на базарѣ. Смотри, свои-то руки чисты ли?

— Илюша хорошаго человѣка не обидитъ... Онъ, братъ, чувствуетъ...

— Не взялъ денегъ, стало быть, воняетъ ему... Кровь, либо грѣхъ смертный на рукѣ дателя...

А Илюшка, безмятежный, не замѣчающій ни прохожихъ, ни базара, знай грызетъ сырое мясо...

— Постъ, мамонька, постъ...

Впослѣдствіи я познакомился съ сконфуженнымъ купцомъ. Онъ оказался премилымъ малымъ и даже довольно свободомыслящимъ. Смѣясь, я напомнилъ ему первую нашу встрѣчу. Онъ вздохнулъ:

— Да, вамъ хорошо трунить надъ нашею дикостью, а у меня тогда, вѣрите ли, просто сердце оборвалось... Не зналъ уже, какъ держать меня ноги...

— Вы такъ суевѣрны?

— Не суевѣръ я, сударь. Не будь при семъ случаѣ публики, я бы его, подлеца, за продерзость, можетъ быть, и палкою бы треснулъ. Но народъ всю эту охальность его видѣлъ... контрагенты на базарѣ могли быть...

— Да имъ-то что?

— Изувѣры: сейчасъ въ дѣлахъ заминку устроятъ и кредита лишатъ. У насъ, по здѣшнему купечеству, это твердо: отъ кого Илюшка отвернулся, тотъ лиши себѣ пропало, погибшій человѣкъ. Потому что такое у нихъ глупое мнѣніе, что, значитъ, надъ онымъ человѣкомъ бѣда виситъ, и сторонись отъ него подальше... Какъ же!.. Многіе черезъ то капиталы потеряли... Потому что—необразованіе...

## VII.

# Тетка Ѳемида.

Говорятъ, что дореформенный сибирскій судъ былъ ужасенъ. Охотно вѣрю тому даже безъ доказательствъ возмутительными примѣрами, потому что и послѣреформенный-то, современный коронный судъ въ уѣздномъ сибирскомъ захолустьи произвелъ на меня самое жуткое, мрачное впечатлѣніе.

Что такое выѣздная сессія окружнаго суда въ Восточной Сибири?

Если откинуть въ сторону память объ ея прямой цѣли, казенной обязанности и срочности, то—прежде всего, она есть поѣздка людей, очень заскучавшихъ въ одномъ медвѣжьемъ углу, въ другой, столько же скучающій медвѣжій уголъ: мужской пикникъ верстъ за двѣсти, триста, пятьсотъ. Разстоянія—огромныя по россійскимъ понятіямъ, но въ Сибири, гдѣ время недорого, люди за восемьсотъ верстъ на свадьбы гулять ѣздятъ...

— Все-таки, разнообразіе,—думаетъ участникъ сессіи, закутанный въ доху, забросанный мѣховыми одѣялами, катясь въ легкой кошевѣ по льду Енисея. Все-таки, нѣкоторое обновленіе... Хоть рожи другія увижу! А то все свои, да свои... Уже дотуда опостылѣли, что, при встрѣчахъ, хочется каждаго просить: не гляди на

меня!.. отвернись!.. Ну, опять же и денежный разсчетъ: прогоны. Хоть и немного, а, все-таки, кое какая поправка обстоятельствамъ.

Да, пожалуй, если сессія ѣдетъ далеко, то поправка выходитъ и не очень маленькая. Нашъ уѣздный городокъ, напримѣръ, отстоитъ отъ губернскаго на пятьсотъ верстъ. Стало быть, казенный почтовый прогонъ—сорокъ пять рублей съ тройки, въ два конца девяносто рублей, да суточныя.—«Счетецъ мой, господине, зѣло не малъ», какъ говорилъ блаженной памяти Кутейкинъ. А ѣдутъ участники сессіи, конечно, по двое, а то и по трое на одной тройкѣ, а столъ и содержаніе имъ въ пунктѣ сессіи, конечно, ничего не стоитъ: гостепріимство горожанъ, съ нетерпѣніемъ ожидающихъ судейскихъ гостей, не дастъ имъ ни времени, ни возможности истратить на себя много рублей.

Попасть въ сессію—постоянная мечта сибирскихъ судейскихъ, особенно, когда къ мѣсту сессіи можно добраться по желѣзной дорогѣ или, въ лѣтнее время, пароходомъ. Тогда прогоны остаются въ карманѣ почти цѣликомъ.

— Пустите покормиться,—кланялись воеводы въ сибирскомъ приказѣ семнадцатаго вѣка.—Включите меня въ сессію,—говорятъ жрецы современной сибирской Ѳемиды.

Захолустье, совершенно одурѣвшее отъ одинокой скуки, радо-радехонько наѣзжимъ гостямъ. Пить водку въ одной и той же компаніи и обыгрывать другъ друга по маленькой и здѣсь всѣмъ давно надоѣло.

— Слава Богу, сессія ѣдетъ... Переметнемъ...

— Сессія ѣдетъ... ха-ха-ха! Пощупаемъ, какіе у судейскихъ капиталы.

— Прогонные-то... ха-ха-ха!

— Смотрите, какъ бы вашихъ не пощупали. Въ прошломъ году—помните?

— Ну, что въ прошломъ году? Удалось раку свист-

нуть. Зато, послѣ того, они два раза отъ насъ голенькими уѣзжали.

Въ теченіе года я наблюдалъ четыре наѣзда окружнаго суда въ глухой сибирскій городокъ. И четыре раза неизмѣнно повторялось одно и то же явленіе. Городъ какъ бы шалѣлъ на нѣсколько дней. Отъ людей непьющихъ начинало разить водкою. У всей «интеллигенціи»—какой-то нелѣпый, заспанный видъ.

— Что съ вами? На васъ лица нѣтъ.

— Да, сессія эта... Просто съ ногъ сбила... Не дождусь, когда уѣдутъ.

— А что?

— Третьяго дня до восьми часовъ утра въ штоссъ рѣзались, вчера до девяти, а сегодня, покорно благодарю, уже до половины одиннадцатаго.

— Позвольте. Но вѣдь они въ одиннадцать должны уже засѣдать?

— Такъ, прямо изъ-за зеленыхъ столовъ въ судъ и отправились.

— Хорошо судить будутъ!

— Да, ужъ, конечно, у насъ—съ тѣмъ и возьмите. Судейскій зайдетъ: за голову держится; ликъ—словно онъ не судить пріѣхалъ, а самъ сейчасъ станетъ, подобно Раскольникову, на колѣнки, да и повинится въ семи душахъ.

— Чортъ знаетъ, что у васъ за городъ... Такъ нельзя... Бѣжать надо... Тутъ у васъ сопьешься совсѣмъ...

—Гмъ... А я думалъ было, что, наоборотъ, это вашъ пріѣздъ всѣхъ возмутилъ.

— Помилуйте, что вы? Я въ губерніи вина въ ротъ, картъ въ руки не беру. А здѣсь, съ тѣхъ поръ, какъ началась сессія, ни разу трезвый въ постель не легъ. И продулся вдребезги. Просто не знаю, съ какими глазами домой покажусь... Что жена скажетъ?.. На-ка, поди: просился въ сессію, думалъ поправить финансы, а дай Богъ штаны на ногахъ увезти.

Выходитъ, такимъ образомъ, нѣчто чудодѣйственное. Губернская интеллигенція, покуда не двинулась къ намъ въ уѣздъ, не пьянствовала и не картежничала. Наша уѣздная интеллигенція, покуда не осчастливила ее своимъ посѣщеніемъ интеллигенція губернская,—также. Но, чуть обѣ интеллигенціи очутились вмѣстѣ и, говоря языкомъ Горбунова, интеллигенція на интеллигенцію наѣхала, обѣ немедленно пропились и проигрались самымъ гнуснѣйшимъ образомъ.

По городу гулъ идетъ:

— Слышали? Вчера казначея дернули на триста.

— Ничего, батюшка. Наши тоже сами съ усами. Казначей, точно, пострадалъ. За то исправникъ и протопопъ—въ выигрышѣ. Члена суда обработали въ чистую. Раздѣваться хотѣлъ; «примите, говоритъ, въ игру вещами... часы, портъ-сигаръ серебряный... денегъ, фю-ю-ю, — больше нѣту»...

Триста... двѣсти пятьдесятъ рублей... полтораста... Это выигрываютъ и проигрываютъ люди, для которыхъ такія деньги равняются мѣсячному, двухмѣсячному, даже трехмѣсячному доходу. Но—Богъ съ ними, съ разсужденіями о чужихъ средствахъ и нравственномъ правѣ. Ничего красиваго въ этихъ картежныхъ подвигахъ, съ моральной точки зрѣнія, конечно, нѣтъ. Но даже и не о морали, а просто—о физической возможности отправлять правосудіе при такихъ дикихъ условіяхъ жизни—жутко думается. Невольно приходитъ въ голову вопросъ:

— Какой судья ближнему своему—нервный, сонный, усталый человѣкъ, который приходитъ въ судъ съ головою, тяжелою, какъ свинецъ, отъ вчерашней выпивки, шальною отъ сплошь безсонной игрецкой ночи, полною одной неотвязной карающей мысли:

— Я глупѣйшимъ образомъ просвисталъ все, что имѣлъ,—и, чѣмъ я теперь буду существовать до получки жалованья, и на какой шереметевскій счетъ выберусь изъ

городишки этого во-свояси, сіе никому неизвѣстно. Кредиторамъ же моимъ остается одно средство: вывести меня,— по праву двѣнадцати таблицъ,—на базаръ и разсѣчь на куски, пропорціональные долгамъ моимъ.

---

Мнѣ никогда не избыть тяжелаго чувства, съ которымъ я впервые присутствовалъ при засѣданіи суда сибирской выѣздной сессіи. Судебный формализмъ вмѣсто живого вниманія, сухая гимнастика юридическими символами и статьями закона, въ буквальномъ ихъ пониманіи, вмѣсто участливаго «совѣстнаго» отношенія къ людямъ и къ ихъ интересамъ, всегда антипатичны. Не скажу, чтобы отъ нихъ были свободны и россійскіе суды. Достоевскій, Салтыковъ, Толстой, Чеховъ—всѣ хлестали сатирическимъ бичомъ по этой слабой, грѣшной части нашего правосудія. Но въ сибирской глуши грѣхъ чисто внѣшняго отношенія къ подсудимому, въ связи съ самымъ неряшливымъ и небрежнымъ спѣхомъ, съ самою легкомысленною поверхностью, съ несноснѣйшимъ «отзвонилъ, да и съ колокольни долой», выступаетъ съ особенно рѣзкою яркостью. Думаешь:

— Боже, мой! Люди ѣхали за пятьсотъ верстъ,—зачѣмъ? Чтобы совершить несовершимое: въ девять дней разсмотрѣть семьдесятъ пять уголовныхъ дѣлъ и цѣлую кучу мировыхъ рѣшеній. Изъ уголовныхъ дѣлъ каждое рѣшаетъ человѣческую судьбу, а иныя по нѣскольку человѣческихъ судебъ заразъ. Въ рукахъ этихъ людей—участь, по меньшей мѣрѣ, ста подсудимыхъ. Ради ихъ пріѣзда взбудоражено, поднято на ноги, приведено изъ дальнихъ деревень, по крайней мѣрѣ, триста человѣкъ свидѣтелей. Присяжныхъ засѣдателей въ Сибири нѣтъ. Стало быть, въ дѣлахъ, которыя они будутъ разбирать, эти наѣзжіе господа являются полными хозяевами. Никто изъ нихъ о всѣхъ этихъ дѣлахъ до настоящаго дня не имѣлъ ни малѣйшаго понятія. Сидятъ они за краснымъ сукномъ, съ шальными

*

отъ дороги и отъ гостепріимныхъ встрѣчъ головами, съ мыслями совсѣмъ не о томъ... Что же это? Развѣ правосудіе при такой обстановкѣ мыслимо?

— Служба, батюшка.

— Но правосудіе-то?

— Правосудіе—понятіе растяжимое, вещь, разсуждаемая разнственно.

— А какъ вы ее понимаете?

— Прежде всего, какъ обязанность очищать поступающія дѣла быстро, безъ зловреднаго накопленія ихъ. Прежде, до реформы, сибирская волокита истомила край своею медленностью до того, что вошла въ пословицу. Нашъ судъ—скорый, какъ сказалъ законодатель, и въ чемъ-чемъ другомъ, а за медленность правосудія упрекнуть насъ нельзя. Дѣлъ не задерживаемъ, да! Если у меня дѣла залеживаются,—значитъ, я плохъ: не удовлетворяю требованіямъ правосудія. Если дѣла очищены, я торжествую: выходимъ мы съ теткою Ѳемидою квиты.

Верхъ торжества судебной быстроты! Въ одну изъ четырехъ извѣстныхъ мнѣ сессій, въ «мировой день», то-есть, когда сессія разсматривала апелляціонныя дѣла по рѣшеніямъ мировыхъ судей, въ теченіе шести часовъ, съ 11 до 5 часовъ вечера было разобрано сорокъ жалобъ, что даетъ скорость – по девяти минутъ на дѣло.

— Развѣ такъ судятъ? съ горечью говоритъ на безмолвный укоръ мой членъ суда, старый, опускающійся «интеллигентъ семидесятыхъ годовъ». Это изъ Островскаго выходитъ: суди меня, судья неправедный...

— Просто, неловко, знаете...—восклицаетъ почетный мировой судья, въ очередь присутствующій на засѣданіи.—Словно мы въ Виѳлеемѣ младенцевъ избиваемъ. Кушаемъ человѣка, быстрѣе, чѣмъ дыню. Съѣдимъ, косточки въ бумажку за нумеромъ завернемъ, а на бумажкѣ распишемся: участвовали такіе-то.

— Наше счастіе, что подсудимые-то у насъ болѣе

безсловесные... въ законахъ слабы,—смѣется товарищъ прокурора.

— Неужели слабѣе тебя?—язвитъ мѣстный Мефистофель, мировой судья Грандіозовъ.

— Да, нѣтъ... Право... Ну, тебя!.. Какой ты всегда...

— То-то. Помни, братъ: невозможное невозможно... Онъ у насъ,—обращается Грандіозовъ ко мнѣ,—юристъ великій: однажды обвинительный актъ за кассаціонное рѣшеніе принялъ.

— Ври, ври...

— А что слабы подсудимые въ законѣ, это вѣрно...—поддержалъ разговоръ членъ суда.—Взять хоть бы дѣло Звѣробоева. По закону, дѣло должно быть у товарища прокурора на рукахъ за двѣ недѣли до выѣзда сессіи къ мѣсту разбирательства.

— А я только вчера его получилъ...—съ горячностью восклицаетъ товарищъ прокурора.—Эхъ, господа!

— Бываетъ хуже,—спокойно возражаетъ членъ суда.

— Позвольте. Что ужъ можетъ быть хуже? Готовься, какъ на почтовыхъ...

— Бываетъ, что дѣло забываютъ привезти вовсе.

— Какъ же тогда?

— А, вотъ и изворачивайся.

— На нѣтъ и суда нѣтъ,—острить Грандіозовъ.

— Въ самомъ буквальномъ смыслѣ слова.

— Но послѣдствія?

— Послѣдствія? Предсѣдательствующій сдѣлаетъ строгій выговоръ секретарю, секретарь изругаетъ судебнаго пристава, приставъ сорветъ сердце на курьерѣ, а курьеръ съ горя будетъ къ вечеру пьянъ... Чего же еще?

— Послушайте,—говорю я товарищу прокурора.—Вѣдь Звѣробоевское дѣло, кажется, очень сложное?

— Да, крупная коммерческая растрата.

— Слѣдовательно, цифры, цифры, цифры: какъ же вы такъ? Вчера получили дѣло въ руки, а сегодня обвинять?

Товарищъ прокурора безпомощно разводитъ руками.

— Что же прикажете дѣлать? Служба. Развѣ я виноватъ? Вотъ они—какіе.

Членъ суда вставляетъ замѣчаніе:

— Если бы Звѣробоевъ былъ мужикъ съ пониманіемъ, а не темная деревня, онъ прекрасно сорвалъ бы намъ разбирательство. Не было дѣла на мѣстѣ до вчерашняго дня—ну, значитъ, и перекладывай разсмотрѣніе на новый срокъ.

— Съ дураками-то вашему брату, стало быть, лафа?—хохочетъ Грандіозовъ.—То-то вы адвокатовъ не любите... Бѣда имъ,—опять обращается онъ ко мнѣ,—когда они на случайнаго жоха адвоката, либо на умника изъ подсудимыхъ нарвутся... Алексѣй Ивановичъ! Вульфа помните?

Членъ суда досадливо пожималъ плечами.

— Если бы всѣ дѣла были такія, то на сессію нужно отводить не девять дней, но девять мѣсяцевъ...

И, дѣйствительно, я имѣлъ случай самъ, своими глазами и ушами, убѣдиться, что судъ надъ «умникомъ» и судъ надъ «темнымъ дуракомъ» въ сибирской глуши—два совершенно различныхъ зрѣлища. Въ первомъ засѣданіи, при которомъ я присутствовалъ, было заслушано восемь дѣлъ: изъ нихъ въ семи судили «темныхъ дураковъ», а въ восьмомъ «умника»: интеллигентнаго плута изъ породы корнетовъ Савиныхъ. О судѣ надъ этимъ умникомъ и надъ другими умниками изъ другихъ засѣданій я разскажу когда-нибудь особо. Теперь о дѣлахъ «дураковъ»... Всѣ семь дѣлъ были «покончены» отъ одиннадцати часовъ до половины второго,—слѣдовательно, заняли два съ половиною часа, по двадцать одной минутѣ на «дурака». Быстрота, стремительность и натискъ разбирательства просто кружили голову.

— Свидѣтели Ивановъ, Петровъ, Сидоровъ имѣютъ быть допрошены подъ присягою. Стороны не имѣютъ заяв-

ленiй противъ привода свидѣтелей къ присягѣ? Батюшка, приведите свидѣтелей къ присягѣ. Прошу встать...

— Обѣщаю и клянусь...

— Я имѣю,—кричитъ подсудимый.

— Всемогущимъ Богомъ...

— Ваше превосходительство, я имѣю...

— И святымъ...

— Постойте... А? Что такое?

— Ваше превосходительство, я имѣю заявить: энтотъ Ивановъ—онъ мнѣ по матери братъ.

— Что же ты раньше молчалъ?

— Шибко скоро повернули, не спохватился отвѣтить.

— А вы, Ивановъ, зачѣмъ молчали?

— Да я не зналъ... Думалъ: такъ надо...

— Судъ постановляетъ: свидѣтелей Петрова, Сидорова допросить подъ присягою, свидѣтеля Иванова безъ присяги.

— Обѣщаю и клянусь всемогущимъ Богомъ и святымъ Его евангеліемъ...

Словно курьерскій поѣздъ, мчится впередъ правосудіе. Въ Сибири все дѣлается медленно и вяло, только судятъ скоро.

— И не только скоро, но даже и скорострѣльно,— остритъ Грандіозовъ.

Непріятное впечатлѣніе скорострѣльной расправы усугубляется суровостью приговоровъ, которая въ Сибири возведена въ систему, что зависитъ, конечно, не отъ злого сердца или жестокой воли судей, но отъ общей строгости уголовнаго законодательства къ главному подсудимому элементу края — къ рецидивистамъ, ссыльно-поселенцамъ. Просто жутко слушать, какія драконовы кары несетъ этимъ несчастнымъ обвинительный приговоръ хотя бы даже за самый ничтожный проступокъ... Особенно поразило меня слѣдующее мелкое дѣло:

Пропившійся ссыльно-поселенецъ, нищій, типическій

алкоголикъ, почти не владѣющій собою, входитъ въ кабакъ и клянчитъ у своего знакомаго, богатаго мужика, двугривенный на выпивку. Тотъ говоритъ:

— Двугривеннаго нельзя, а пятакъ получи.

Вынимаетъ кошель и роется въ деньгахъ, выбирая серебряный пятачекъ. Тѣмъ временемъ ссыльно-поселенецъ хвать изъ кошеля рубль и зажалъ въ горсти. Дѣло было у всѣхъ въявь, на глазахъ, къ тому же между знакомыми, слѣдовательно, о зломъ умыслѣ не могло быть и рѣчи: просто глупая, пьяная шутка, можетъ быть, не безъ разсчета:

— Разсмѣется, молъ, богачъ на мою глупую удаль... скажетъ:—чортъ съ тобою, владѣй, Ѳаддей, моей Маланьей...

Но богачъ, тоже подвыпившій и «дурной во хмѣлю», не разсмѣялся, а обидѣлся.

— Отдай рубль.

— А вотъ, хозяинъ, и не отдамъ.

— Отдай!

— Не отдамъ.

Оба пьяные, оба, быть можетъ, одинаково не отдаютъ себѣ отчета, о чемъ спорятъ... Поругались, чуть не передрались. Ссыльно-поселенецъ убѣжалъ изъ кабака и, убѣгая, опять-таки, видимо всѣмъ,—швырнулъ рубль въ уголъ, подъ лавку. Стали искать рубль,—не нашли: онъ закатился въ щель, гдѣ и былъ обрѣтенъ впослѣдствіи. Но тогда рѣшили, что поселенецъ убѣжалъ съ рублемъ. Сибирскіе кабаки кишатъ пропойцами-ходатаями, подстрекателями темнаго люда къ кляузамъ. По всей вѣроятности, одинъ изъ такихъ проходимцевъ напѣлъ мужику-богатѣю въ уши заявить объ ограбленіи его ссыльно-поселенцемъ на сумму одного рубля.

Результатъ дѣла для поселенца:

— Двадцать плетей *) и годъ принудительныхъ работъ на заводѣ.

*) Писано въ 1902 году, до отмѣны наказанія плетьми.

— Послушайте,—говорилъ я потомъ судейскимъ,— вѣдь это же безчеловѣчно?

Они соглашались, закрывали глаза, вздыхали, многозначительно поднимали указательные персты и говорили:

— Законъ.

— Не можетъ быть такого закона. Законъ для людей сдѣланъ, а не люди—для закона. Законъ можетъ быть дурно выраженъ, но не можетъ желать зла. Я уже не говорю о томъ, что все это дѣло о рублѣ—совершенно вздорное, пьяное, что въ немъ нѣтъ состава преступленія, что оно не стоитъ не только судебнаго, но даже и полицейскаго вниманія. Можно ли за рубль серебра отдавать человѣка въ подневольный трудъ, отнимая у него годъ жизни, и безъ того уже лишь полусвободной? Можно ли за рубль серебра бить его плетьми? Вѣдь, это, выходитъ, онъ по пятачку плеть себѣ купилъ! Не тяжеленько ли для спины-то? Можно ли?

— Ссыльно-поселенца? Очень можно.

— То-то и ужасно, что на этихъ ссыльно-поселенцевъ несчастныхъ вы смотрите совсѣмъ, какъ на скотъ какой-то. Съ ссыльно-поселенцемъ въ Сибири все можно.

— Да если законъ его такъ безпомощно ставитъ? Повѣрьте, мы не аспиды-василиски. Пріятно намъ что ли прописывать эти плети? Очень противно и совѣстно. Никто изъ насъ никогда не позволитъ себѣ ничего беззаконнаго. Да и не можетъ, если бы захотѣлъ. Не мы суровы, законъ суровъ.

— Голая, мертвая, безжалостная буква, силою которой вы создаете такія рѣшенія, не есть еще самый законъ, за буквой остается огромное поле внутренняго смысла, допускающее широкое толкованіе...

— Вы забываете, что мы—только коронный судъ, безъ присяжныхъ засѣдателей. Мы не въ состояніи брать на себя отвѣтственность оправдательныхъ приговоровъ противъ буквы закона, по совѣсти и внутреннему убѣжде-

нію. Кабы у насъ былъ судъ присяжныхъ, конечно, этотъ жалкій пьяница вышелъ бы изъ суда оправданнымъ... Могъ бы даже, пожалуй, возбудить дѣло о недобросовѣстномъ обвиненіи...

Судъ присяжныхъ—настойчивая, неотступная потребность Сибири. Безъ присяжныхъ,—людей земли, выросшихъ въ условіяхъ мѣстнаго быта и міросозерцанія,—именно въ Сибири особенно трудно быть правосудію. Пестро и оригинально населеніе Сибири, сложившееся черезъ переселенчество, ермачество, ссыльно-поселенчество, вольное скваттерство,—да еще прибавьте инородцевъ, переживающихъ теперь процессъ перехода отъ кочевого быта къ осѣдлости, быстро покоряющихся обрусѣнію. Пора Сибири судить себя самой, чрезъ своихъ присяжныхъ засѣдателей, какъ сами судятъ себя чрезъ нихъ Москва, Тверская губернія, Самара, Новгородъ. Поразительною нелѣпостью звучитъ въ ушахъ человѣка, сколько-нибудь знающаго Сибирь, пресловутый, торжествующій россійскій аргументъ, обыкновенно выставляемый противъ введенія суда присяжныхъ:

— Судъ присяжныхъ невозможенъ въ Сибири по низкому уровню образованія въ краѣ. Въ народонаселеніи Сибири—мало элементовъ, способныхъ выдѣлить контингентъ судей, сознательно относящихся къ своимъ обязанностямъ.

Именно эту хлесткую фразу произнесъ однажды нѣкоторый «столичный слетокъ» въ присутствіи франзуза-путешественника, полуученаго, полуавантюриста, какихъ теперь много блуждаетъ по сибирскимъ медвѣжьимъ угламъ, попадая въ нихъ, по преимуществу, на поиски минеральныхъ богатствъ и иныхъ выгодныхъ предпріятій. Человѣкъ много бывалый, видалъ всякіе виды! Онъ выслушалъ пышную фразу и засмѣялся:

— Развѣ можетъ существовать на свѣтѣ такой странный соціальный строй, при которомъ болѣе сложныя,

книжныя формы суда бываютъ удобнѣе простыхъ и житейскихъ?

— То есть?

— Я не въ состояніи представить себѣ человѣческаго общежитія, достаточно дикаго, чтобы оказаться неспособнымъ къ суду своихъ проступковъ чрезъ присяжныхъ засѣдателей.

— Ахъ, вы не знаете нашего мужика!

— Нѣтъ, извините. Это вы его не знаете, а я съ нимъ много соли съѣлъ. Я давно скитаюсь по Сибири и думаю, что изучилъ ее лучше многихъ русскихъ. Слышите: даже говорю безъ акцента и, по говору, всегда отличу русскаго изъ Сибири отъ русскаго изъ Россіи. Ужъ если говорить объ умственныхъ способностяхъ, то, конечно, сибирскій мужикъ,—при всей своей неграмотности, по природному уму, практическому смыслу, житейской смѣткѣ,—стоитъ куда выше своего зауральскаго собрата. А, между тѣмъ, въ Россіи мужикъ судомъ присяжныхъ пользуется превосходно.

— Ну,—сказалъ столичный слетокъ,—объ этомъ еще можно поспорить...

Французъ замахалъ руками.

— Позвольте, позвольте... Не отвлекайте меня въ принципіальный споръ... Мы говоримъ только о практической возможности суда... Я Россію до Урала знаю хуже Сибири. Но неужели всѣ ваши знаменитые писатели—лгуны? Вы увѣряете меня, что крестьяне-присяжные плохи, а, между тѣмъ, ваши Достоевскій, Толстой, Успенскій свидѣтельствуютъ, что именно мудрые, глубоко проницательные, задушевные приговоры суда общественной совѣсти исходятъ именно отъ крестьянъ-присяжныхъ. Да, опять не въ томъ дѣло. Оставимъ вопросъ объ умѣ крестьянскомъ. Пусть они, ваши «чалдоны», будутъ дики и неумны, какъ вамъ угодно. Но все-таки повторяю: нѣтъ такого хаотическаго общества, чтобы судъ присяжныхъ не

оказался ему по силамъ и не былъ въ немъ естественною потребностью и способностью. Какая, по вашему мнѣнію, самая грубая и первобытная форма суда?

— Если не считать нашего крестьянскаго самосуда надъ конокрадами,—конечно, американскій судъ Линча.

Французъ просто засмѣялся.

— Но даже онъ имѣетъ присяжныхъ засѣдателей... А у васъ? Пресловутая Желтугинская республика, едва стала слагаться за Амуромъ, сейчасъ же создала очень грубый и суровый уголовный кодексъ, истинно драконово уложеніе о наказаніяхъ, а судить и рядить по немъ постановила выборнымъ двѣнадцати присяжнымъ. И отлично судили. Неужели вы считаете умственный и нравственный уровень современной Сибири ниже развитія и морали Желтугинской республики? Неужели чувство справедливости менѣе свойственно сибирскому чалдону, чѣмъ американскому скваттеру-линчевику?

Сибирскій судъ — молодой и неустановившійся. Въ немъ—вѣчное служебное броженіе, передвиженія, перемѣщенія. Все—новые люди и скороспѣлые люди. Судейскіе постарше ѣдутъ сюда служить для поправки дѣлишекъ огромными подъемными и увеличеннымъ содержаніемъ, молодежь—для быстрой карьеры.

— У насъ прокуратура — сплошь молокососики,— смѣются сибиряки.—Въ Россіи иному бы еще лѣтъ пять въ кандидатахъ на судебныя должности околачиваться, а тутъ— на, поди, блюдетъ! Око закона!

— А, по-моему, — трунитъ мировой судья Грандіозовъ,—оно и очень хорошо, что юнцовъ присылаютъ. Юнецъ, ежели и вздумаетъ по закону ходить, то все нетвердою ногою: вѣры въ себя не имѣетъ, осторожность хранить,—вдругъ, молъ, проврусь, оступлюсь, провалюсь? Ну, лютовать-то ему, значитъ, и не очень свободно. А пустите-ка къ намъ настоящаго дѣльца-прокурора, волкодава этакаго зубатаго: его же въ законѣ со статьи и пара-

графа не сшибешь. Онъ вамъ, шутя, полъ-Сибири переporетъ и спасибо не скажетъ. Не успѣете и опомниться! Нѣтъ, съ младыми вьюношами легче. Вонъ—хоть бы нашего свѣтъ Валерочку взять, который обвинительный актъ съ кассаціоннымъ рѣшеніемъ смѣшиваетъ. Сколько отъ него подсудимымъ облегченія! Отправитъ онъ обвинительный актъ въ губернію, а ему это дивное произведеніе назадъ шлютъ: неосновательно, младый вьюношъ. Валерочка опять пошлетъ, а судъ—опять назадъ. Ну, обвиняемому, тѣмъ временемъ, хоть и подъ слѣдствіемъ онъ волочится, а все же передышка. Ежели бы Валерочка зналъ, что отъ обвинительнаго акта до кассаціоннаго рѣшенія не очень-то рукою подать, давно бы у ссыльно-поселенца Максима Травленаго спина отъ плетей болѣла. А какъ Валерочка разстоянія отъ обвинительнаго акта до кассаціоннаго рѣшенія ясно себѣ не представляетъ, то и спина Максимова цѣла, и плети въ спокойствіи. Обоюдное удовольствіе.

Очутившись въ сибирской глуши, каждый судейскій, естественно, смотритъ на свое въ ней пребываніе, какъ на ссылку, искупительную за будущія служебныя блага, и, съ перваго же прибытія, уже лелѣетъ мысль:

— Господи, когда-то отсюда удеру?

Раньше трехъ лѣтъ удрать нельзя: иначе надо возвратить въ казну прогонныя и подъемныя деньги. Но можно быть переведеннымъ нѣсколько разъ съ мѣста на мѣсто внутри Сибири. Да, наконецъ, инымъ бабушка ворожитъ. Переведутъ въ россійскій округъ какое-нибудь высокое сибирское начальство,—глядь, оно перетянетъ къ новому мѣсту служенія и любимчиковъ своихъ:

— Куда цѣпочка, туда и брелоки.

Такимъ образомъ, приливъ и отливъ судейскихъ силъ въ Сибири работаютъ непрерывно. И, насколько здѣсь однообразны преступленія и сословный составъ подсудимыхъ, настолько неустойчивъ персоналъ судящихъ. Въ годовой срокъ, въ одномъ сибирскомъ городкѣ, мнѣ извѣстномъ,

смѣнилось три товарища прокурора. Если исключить сравнительно небольшой процентъ коренныхъ сибиряковъ, по преимуществу оставшихся въ наслѣдство новому суду отъ стараго дореформеннаго и, обыкновенно, обреченныхъ на изморъ безъ дальнѣйшаго служебнаго движенія (да, правду говоря, и подѣломъ), то можно смѣло сказать, что преступника сибиряка обычно судятъ люди наѣзжіе или, поздѣшнему, «навозные», — которые, по новости своей въкраѣ, по полному его невѣдѣнію, по незнакомству съ мѣстными нравами и условіями,—не могутъ имѣть почти никакого собственнаго мнѣнія о любомъ бытовомъ чалдонскомъ преступленіи. Слѣдовательно, имъ приходится судить не преступленіе въ истинной сути его, не весь составъ преступленія, а только видимость, да еще въ добавокъ къ тому руководиться не полнымъ смысломъ закона, а только внѣшнею формою его выраженія, часто болѣе чѣмъ несовершенною. Вопросъ разрѣшается не въ томъ смыслѣ: виновенъ или не виновенъ человѣкъ? но—подошло ли дѣяніе, въ которомъ онъ обвиняется, подъ статью такую то или не подошло?

Изъ семи дѣлъ противъ «темныхъ дураковъ» я выбралъ разсказать самое рѣзкое и типическое для той легкости, съ какою примѣняется сибирскими судами къ практикѣ предвзятая обвинительная тенденція (особенно, когда разбираются дѣла ссыльно-поселенческія), какъ легко разсыпаются работы и плети. Какъ это дѣло, такъ остальныя шесть, всѣ безъ исключенія,—при судѣ присяжныхъ, даже самомъ суровомъ и предубѣжденномъ,—обязательно кончились бы оправдательными приговорами. Здѣсь:

— Плети! Заводъ! Плети! Заводъ!

Меня увѣряли, будто это только страшныя слова, будто, въ дѣйствительности, плети «почти» никогда не даются и лишь пишутся на бумагѣ. Однако, во-первыхъ, только «почти», а, во-вторыхъ, въ жестокихъ приговорахъ теряется въ такомъ случаѣ уже всякій смыслъ—даже драконов-

скаго устрашенія. Судебное рѣшеніе—шагъ къ закону, а сказано есть: «всуе законы писать, ежели оные не исполнять». Все толкуютъ, что Сибирь «распущена», что въ ней мало уваженія къ закону. Откуда же сибирякамъ набраться этого уваженія? Со времени Ивана Грознаго и до 1897 года у нихъ, вмѣсто правосудія, была жестокая торговля закономъ, оптовая и въ розницу. Теперь реформа, конечно, смягчила и упорядочила нравы. Но если отъ суда отпали нѣкоторые пороки старины—продажность и волокита,—то безалаберности только убавилось, а умереть она не умерла. Высказавъ суровый приговоръ, преувеличенность котораго сами же судьи прекрасно понимаютъ, судъ сейчасъ же и спохватывается, и дальнѣйшимъ своимъ поведеніемъ въ отношеніи преступника какъ бы говоритъ:

— То есть, видишь ли... Это законъ велитъ такъ тобою распорядиться, а я — только исполнитель воли закона... Но ты не бойся: я свое показное дѣло сдѣлалъ,—значитъ, предъ закономъ правъ; а теперь могу притвориться, что забылъ про тебя. Знаешь: въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, скверно пороть плетьми живое тѣло... Развѣ я не понимаю?.. Гуманность не велитъ, Кеннаны ѣздятъ, Европа смотритъ... Нехорошо. Не бойся, за тебя заступятся доктора, и дѣло устроится такъ, что не будутъ драть.

— Чудаки бываютъ между ними,—улыбаясь, разсказывалъ мнѣ старый котъ на покоѣ, отставной тюремный смотритель. — У меня сидѣлъ одинъ, Ваською Чулкомъ звали... Мрачный былъ парень, бунтовская душа... Н-ну... Докторъ, какъ водится, написалъ о немъ свидѣтельство, что, по болѣзни сердца, наказанію на тѣлѣ подвергнутъ быть не можетъ... Живетъ Чулокъ недѣлю, другую, третью и все ждетъ, дрожитъ, какъ это и когда его наказывать станутъ... Боится до страсти, хуже бабы всякой,—весь истрепетался... Гордый человѣкъ-съ... Оно, видно, въ первинку... Я его пожалѣлъ, думалъ порадовать—говорю, не будешь наказанъ, докторъ свидѣтельство выдалъ... Онъ

сперва, точно, очень было возликовалъ, а потомъ вдругъ— словно чортъ его въ глазъ хвостомъ хлестнулъ: какъ задрожитъ весь, губы побѣлѣли... Кричитъ:

— Какое же право вы имѣли такимъ страхомъ меня экое время стращать?.. Не позволю!.. Я къ вамъ не для страховъ посаженъ... Нельзя!.. Коли ты меня по закону драть должонъ, дери,—такая моя горькая судьба; а стращать меня вы не можете, нѣтъ!.. Не ребенокъ я, чтобы со мною шутки шутить!.. У меня, можетъ, всего полъ-души теперь въ грудяхъ цѣло осталось отъ страха вашего, покуда я плетей дожидался... Сердечушко издрожалось, волосъ сѣдой пошелъ... А вы шутки шутили?!. Нельзя! Не позволю!..

— Потомъ уже, когда разобралъ дѣло и спустилъ съ себя первую горячку, каково оно выходитъ ему льготно, былъ очень благодаренъ и радъ, а то было очень обидѣлся и ужасно какъ бушевалъ за несправедливость. Всѣ остальные арестанты надъ нимъ очень смѣялись...

Въ концѣ концовъ, гонимый и загнанный закономъ, рецидивистъ-поселенецъ становится совершенно равнодушнымъ къ судебному приговору и очень часто выслушиваетъ его съ откровенно дерзкою усмѣшкою. Онъ презираетъ судъ и за теоретическую жестокость,—очень часты въ Сибири непріятные случаи, когда подсудимый, слушая приговоръ, вдругъ разражается грубыми ругательствами по адресу судей или устраиваетъ иной скандалъ,—и за практическое безсиліе быть жестокимъ на дѣлѣ. Судится народъ смышленый, отлично понимающій, что «не тѣ времена, чтобы съ человѣка шкуру драть». Это нынче даже глухая каторга знаетъ. В. М. Дорошевичъ выпустилъ великолѣпную книгу о Сахалинѣ. Кажется, ужъ чего искать ужаснѣе фактовъ, имъ оглашенныхъ, кажется, ужъ некуда идти дальше въ презрѣніи къ человѣческому достоинству «исправляемаго» преступника. А, между тѣмъ, старики-поселенцы изъ бывшихъ каторжныхъ, памятующихъ старинную материковую каторгу, Кару и Акатуй, говорятъ:

— Сахалинцы — ребята балованные... Гладятъ ихъ нонѣ на Сахалинѣ... Вотъ въ наше время «майоры», точно, истязали... Да... Теперь такъ нельзя...

У меня въ домѣ клалъ печку отставной конвойный солдатъ, долго служившій на Сахалинѣ. Онъ разсказывалъ мнѣ объ этомъ ссыльномъ адѣ исторіи, которыя доводили меня до нервной дрожи, послѣ которыхъ я не любилъ оставаться въ комнатѣ одинъ. Но, оглушивъ меня рядомъ чудовищностей, одна другой безобразнѣе, онъ не разъ кончалъ заключеніемъ:

— А прежде еще хуже было.

— Куда, братъ, еще хуже-то?

— Хуже было. Теперь нельзя, какъ было прежде.

— Ты думаешь?

— По родителю сужу. Родитель мой былъ изъ ссыльныхъ. Еще до воли былъ пригнанъ изъ Россіи, съ партіей, за убійство: вынесъ старой каторги, полностью, двадцать годовъ... Такъ, вѣрите ли, баринъ, нельзя было и говорить съ нимъ объ этихъ предметахъ. Спросишь, бывало, какова въ каторгѣ жизнь... Весь бѣлый станетъ, схватится за голову... Молчи,—шепчетъ: молчи, не замай... Объ этомъ помнить грѣхъ... Страшно!.. Ночью, бывало, во снѣ заоретъ благимъ матомъ, вскочитъ на постели, дрожитъ, глаза дикіе...—Батька, чего ты?.. Опамятуется: ничего, ребятушки,— это я такъ, ничего... Ну, мы уже такъ и знаемъ: это, стало быть, батькѣ опять майоръ приснился...

— Лютой, должно быть, былъ майоръ-то?

Печникъ посмотрѣлъ на меня значительно:

— А вотъ каковъ. За кѣмъ провинность замѣчалъ, да особенно коли тотъ человѣкъ по нраву ему не придется, то онъ того розгами или побоями никогда не наказывалъ. А отведетъ онъ того человѣка въ темный карцеръ, да къ потолку его за ноги и подвѣситъ... надъ парашкою... Вотъ какой былъ майоръ.

— Тьфу, мерзавецъ!..

— Да... Теперь этого нельзя...

«Теперь такъ нельзя»—это общее и, къ счастію, справедливое убѣжденіе. Но, разъ нельзя, и слава, слава Богу, что нельзя, на дѣлѣ,—зачѣмъ же остается можно на словахъ? Залъ суда не долженъ оглашаться пустыми словами, которыя въ то же время жестокія, отталкивающія слова. Судъ вѣдь училище правды и человѣчности. Зачѣмъ же вводить на трибуну его стращающую ложь, точно какое-то принципіальное хвастовство возможною жестокостью?..

Одинъ изъ печальныхъ грѣховъ русской современности—наше дурное, подозрительное отношеніе къ образованнымъ полякамъ вообще, къ состоящимъ на русской службѣ—въ особенности. Ихъ упорно стараются удалять, какъ можно дальше отъ родины—внутрь Россіи, а еще чаще на окраины. Желаніе служить Россіи для поляка является, такимъ образомъ, равносильнымъ просьбѣ о своего рода служебной ссылкѣ въ мѣста не столь и столь отдаленныя. Сибирскіе суды полны поляками. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, это—отличные дѣльцы: усердные, внимательные, съ тактомъ, истинные цивилизаторы. Конечно, въ семьѣ не безъ урода, но общая масса поляковъ-судейскихъ въ Сибири дѣлаетъ честь своей національности. Однако, и у нихъ, какъ спеціально сибирскихъ судей, имѣются крупные недостатки, хотя и не отъ нихъ зависящіе, но, тѣмъ не менѣе, трудно поправимые.

Во-первыхъ, они, за самыми рѣдкими исключеніями, страдаютъ особенно глубокою и острою тоскою по родинѣ и, при первой матеріальной возможности покинуть Сибирь, спѣшатъ разстаться съ ея безрадостными медвѣжьими углами, переходя съ охотою, хотя бы и на меньшій окладъ, и на низшее положеніе, только бы поближе къ Нѣману и Вислѣ! Поэтому, въ служебномъ приливѣ и отливѣ,—о которыхъ уже была рѣчь,—польскій элементъ—самый замѣтный.

Во-вторыхъ, весьма многіе изъ нихъ дурно знакомы

съ русскимъ языкомъ, а въ Сибири, при сплошь крестьянской подсудимой массѣ и при бытовомъ характерѣ большинства разбираемыхъ дѣлъ, судья долженъ знать русскій языкъ въ полномъ совершенствѣ. Я зналъ товарища прокурора, который просилъ знакомыхъ объяснить ему, что значитъ слово «подоплека». Другой (русскій, навозный) допрашиваетъ свидѣтеля:

— Почему, именно, вы поспѣшили на помощь къ потерпѣвшей, когда свекоръ сталъ бить ее? Развѣ она васъ звала?

— Да, шибко ревѣла...

Товарищъ прокурора заноситъ показаніе въ книжку, а затѣмъ строитъ на немъ почти все обвиненіе.

— Какъ страшны были истязанія, которымъ свекоръ подвергъ непослушную сноху, видно изъ словъ свидѣтеля Савельева: онъ показалъ, что потерпѣвшая отъ боли даже ревѣла...

Защитникъ, старый, язвительный сибирякъ, не замедлилъ поддѣть юношу: въ Восточной Сибири «ревѣть» значитъ, просто, «звать».

— Реви Михайлу Ивановича... Реви пардмъ...

Всего труднѣе полякамъ-судейскимъ, конечно, при разбирательствѣ инородческихъ дѣлъ, нуждающихся въ посредничествѣ переводчика. Отъ нихъ и русскіе-то плачутъ...

— Нечего сказать, уяснительное правосудіе!—смѣялся послѣ одного такого дѣла все тотъ же уѣздный Мефистофель, — мировой судья Грандіозовъ. — Подсудимый—татаринъ, не понимаетъ ни слова по-русски, защитника не имѣетъ. Переводчикъ—киргизъ или башкиръ какой-то ссыльный. Не знаю, какъ онъ говоритъ по-татарски, но по-русски едва плететъ, знаетъ только «деревенскія и торговыя слова», при томъ извѣстный дуракъ, круглый невѣжда. Предсѣдательствующій, одинъ изъ членовъ суда и товарищъ прокурора—поляки. Предсѣдательствующій обдумываетъ вопросъ по-польски и переводитъ свою мысль

на русскую рѣчь, конечно, не свободно книжно, «словами комнатными», языкомъ интеллигенціи. Переводчикъ долженъ, во-первыхъ, уяснить себѣ комнатныя слова словами деревенскими, затѣмъ обдумать ихъ по-киргизски и передать подсудимому по-татарски. Что онъ при этомъ подсудимому мямлитъ,—Аллахъ его вѣдаетъ. Никто изъ судей татарскаго языка не знаетъ. Да и, вообще, мы, здѣшніе русскіе, на этотъ счетъ болѣе чѣмъ безпечны. Живемъ съ татарами бокъ о бокъ десятками лѣтъ, а, кромѣ «якши», ничего по-татарски не смыслимъ. Итого: прежде, чѣмъ изъ мозговъ предсѣдателя перемѣститься въ мозги подсудимаго, вопросъ долженъ претерпѣть четыре перевода... съ польскаго на русскій интеллигентный, съ русскаго на сибирскій крестьянскій говоръ, съ сибирскаго на киргизскій, съ киргизскаго на татарскій, — при томъ послѣдніе три остаются безъ всякой повѣрки, на совѣсть и искусство переводчика.

— Собственно говоря, — продолжалъ онъ, — почти каждое инородческое дѣло, разбираемое нашими судами, можетъ быть обжаловано, какъ недѣйствительное, даже съ формальной точки зрѣнія. Подсудимый не понимаетъ своего процесса. Вы судите глухонѣмого, неспособнаго ни понимать васъ, ни защищаться.

— Но допросъ свидѣтелей переводится.

Грандіозовъ усмѣхнулся.

— Хорошо переводится! Черезъ два языка на третій. Ну, да ладно! Пусть! Дарю вамъ слѣдствіе... Ну, а пренія сторонъ, то-есть, вѣрнѣе сказать, заключеніе обвинителя, потому, что защитники у насъ—рѣдкость? Вѣдь рѣчи прокурора-то подсудимому никто не переводитъ.

— Это правда.

— А, разъ онъ не смыслитъ, что говорилъ прокуроръ, какое же можетъ быть преніе сторонъ? Какой смыслъ имѣетъ предоставляемое подсудимому послѣднее слово? Формальность, комедія...

Поляковъ, повторяю, тѣмъ болѣе жаль видѣть въ тяжелыхъ имъ условіяхъ сибирской службы, что они—добросовѣстнѣйшая по старанію, самая дѣльная, самая рабочая, самая трезвая группа въ сибирскомъ культуртрегерствѣ, вообще, въ судейскомъ въ особенности. Невольно недоумѣваешь: почему люди эти, умные, образованные, живые дѣловики, не пригодились для службы въ своемъ родномъ краю, который они знаютъ, какъ свои пять пальцевъ, и, слѣдовательно, могутъ быть полезными въ немъ на всю сумму своего знанія и таланта? Какая польза систематически забрасывать ихъ въ край, гдѣ они всему и всѣмъ чужіе, и гдѣ они, затративъ силы на сто пользъ, едва успѣваютъ принести одну пользу? Польша жалуется на плохихъ русскихъ чиновниковъ, поляки «непритыкальны» въ Россіи и Сибири. Если бы тѣ и другіе обслуживали свои родныя мѣста, отъ этого выиграли бы и родныя мѣста, и сами служащіе, и практика правосудія...

## VIII.

# Герой сессіи.

Валерьянъ Агапитовичъ Буринокъ, юный товарищъ прокурора, только-что назначенный блюсти нашъ Храповицкъ недреманнымъ окомъ правосудія, могъ быть доволенъ: его первая дебютная сессія сошла какъ по маслу. Ни одного возвращеннаго обвинительнаго акта; оправдательныхъ приговоровъ нѣтъ и десяти процентовъ; ворогиадвокатишки подобрались дрянь-дрянью: наѣзжій коронный судъ едва ихъ выслушивалъ, предсѣдательствующій обрывалъ. Судились преимущественно рецидивисты-поселенцы и крестьяне изъ ссыльныхъ; поэтому въ залѣ такъ и трещало:

— Тридцать плетей!.. Сорокъ плетей!.. *) Годъ заводскихъ работъ!.. Два года принудительныхъ!

— Валерьянъ Агапитовичъ! вы—жестокій!—кокетничали въ перерывахъ храповицкія дамы.

— Mesdames, представитель закона не имѣетъ права быть сентиментальнымъ.

— Эти плети!.. ужасно!..

Буринокъ сожалительно воздымаетъ плечи къ ушамъ:

— Dura lex, sed lex!

— Неужели вамъ не жаль «ихъ»?

---

*) Писано въ 1902 г., до отмѣны закона.

— Mesdames! проводникъ правосудія...

Но его спѣшно перебиваетъ дама, слывущая въ городѣ ницшеанкою:

— Валерьянъ Агапитовичъ! Вѣдь вы нашъ? — не правда ли, нашъ?

— Ольга Ѳеодоровна!!!

— Вы «ихъ» по Ницше? Да? Вы за право сильныхъ и жизненныхъ организмовъ супротивъ слабыхъ и выродившихся индивидуевъ?

Буринокъ польщенъ и пріосанивается:

— Да, Ницше... Мы — однѣхъ мыслей... Ницше,— это, я признаюсь...

— Падающаго... вспори!—ни къ селу, ни къ городу врывается въ разговоръ восклицаніе мирового судьи Грандіозова, человѣка, одареннаго престранною способностью: стоитъ ему кого-нибудь похвалить, съ кѣмъ-нибудь согласиться, чтобы всѣмъ присутствующимъ сдѣлалось очень неловко, а хуже всѣхъ похваленному. Такъ и теперь: Валерьяна Агапитовича какъ бы нѣчто ожгло...

— Ужъ ты всегда,—съ дружескою укоризною треплетъ онъ Грандіозова по плечу и спѣшитъ оправдаться предъ дамами:

— Mesdames! эти плети страшнѣе звучатъ, чѣмъ получаются. Онѣ—бумажныя.

Общая сенсація. Грандіозовъ издаетъ неопредѣленное хрюканье. Буринокъ ораторствуетъ побѣдоносно:

— Къ плетямъ присуждаютъ, но плетей не даютъ. Онѣ—бумажная угроза, фикція, заставляющая преступника оцѣнить всю глубину своего паденія, но не переходящая въ реальное осуществленіе.

— Ахъ, какъ хорошо!—восклицаютъ добродушныя.

— Да? Ну, вы меня разочаровали...—тянетъ ницшеанка.—Это отнимаетъ половину интереса.

— Евто чудесно!—радуется красивая дьяконица,— евто совсѣмъ, какъ у насъ при покойникѣ-дѣдинькѣ: до-

брѣйшей души былъ старичекъ Божій, пальчикомъ никого николи не цупурухнулъ, одначе вицу завсегда къ божничкѣ бодрилъ, чтобы, разумѣете, торчала для ужасти внучатной породы.

— Но, если плети не даются, зачѣмъ же ихъ и писать?—недоумѣваютъ положительныя.

Буринокъ воздымаетъ плечи:

— Форма!

— Какъ, странно!

— Устарѣлый пережитокъ прошлаго.

— Такъ что эти присужденія «имъ» безопасны?

— Увѣряю васъ: форма и фикція

— Ну, нѣтъ,—по обыкновенію «портитъ обѣдню» Грандіозовъ.—На службѣ-то не всѣ лодыри, бываютъ и формалисты.

— Такъ что же?

— То, что формалистъ—онъ форму и исполнитъ... Вкотитъ, братъ!

— Ну, это—развѣ, какъ прискорбное исключеніе... какой-нибудь бурбонъ...

— Ничего не бурбонъ, а просто человѣкъ, который полагаетъ, что приговоры пишутся для того, чтобы приводиться въ исполненіе. Коли плети бумажныя, такъ вы такъ бы и писали, что бумажныя. А то инымъ спинамъ ваша фикція весьма ременною покажется.

— Остри, остри, фрондеръ!..

Несмотря на столь совершенное свое торжество, Валерьянъ Агапитовичъ вернулся сегодня изъ суда нѣсколько не въ своей тарелкѣ. Разстроило его дѣло инородца Владиміра Эпылэ Хуздызыдова, обвинявшагося въ покушеніи на убійство одноуправца своего Владиміра Кышпара Хуздызыдова. Дѣло самое будничное: въ каждую сессію, храповицкое правосудіе слушаетъ подобныя дѣла десятками и давно уже приноровилось кончать ихъ штукъ по пяти въ засѣданіе, отводя на каждое отъ пятнадцати до двадцати минутъ.

— Помните, господа! — напутствуетъ отъѣзжающія сессіи предсѣдатель суда въ нашемъ губернскомъ Непросыпайскѣ:—самъ законодатель внушаетъ намъ, чтобы судъ былъ, во-первыхъ, скорый, во-вторыхъ, правый и, только уже въ-третьихъ, милостивый!

И ѣдутъ сессіи въ Храповицкъ, Перинскъ, Подтыкаловъ, Покрываловъ, ѣдутъ и твердятъ про себя:

— Судъ скорый, скорый, скорый...

А міровой Грандіозовъ поддакиваетъ:

— Не токмо скорый, но даже и скорострѣльный.

Что касается спеціально инородческихъ дѣлъ, быстрота въ разбирательствѣ ихъ доведена до предѣльной энергіи. Храповицкіе злые языки предлагаютъ даже учреждать при судѣ, на время сессій, родъ тотализатора для игры на преступныхъ татаръ, наискорѣйше добѣгающихъ къ призу каторжныхъ работъ.

— Владиміръ Ахмэтъ Хуздызыдовъ—въ двѣнадцать съ половиною минутъ. Лихо сдѣлано!

— Владиміръ Аютымъ на полголовы... тьфу! на двадцать семь секундъ раньше!

Владиміръ Эпылэ Хуздызыдовъ также не избѣгъ рокового конца, дойдя до него по шаблонному пути, которымъ пробѣжали ранѣе тысячи ихъ, Хуздызыдовыхъ. Секретарь продекламировалъ коротенькій обвинительный актъ. Предсѣдательствующій, красивый, сѣдой господинъ, съ рѣчью книжною, какъ переводъ,—потому что предсѣдательствующій былъ полякъ и думалъ по-польски,—провозгласилъ вопросъ:

— Подсудимый Владиміръ Эпылэ Хуздызыдовъ! Признаете ли вы себя виновнымъ въ томъ, что, ночью съ 11 на 12 декабря прошлаго 1901 года, вы проникли въ закрытое помѣщеніе для домашнихъ животныхъ, принадлежащее вашему родственнику, одноуправцу и сосѣду Владиміру Кышпару Хуздызыдову, съ преступною цѣлью похитить благо-

пріобрѣтеннаго Владиміромъ Кышпаромъ Хуздызыдовымъ на базарѣ, бѣлаго козла яманной породы; когда же Владиміръ Кышпаръ Хуздызыдовъ съ родственниками своими Владиміромъ Юсупомъ и Владиміромъ Якубомъ Хуздызыдовыми стали отнимать у васъ присвояемое животное, то вы, держа оное лѣвою рукою за рога, правою вынули изъза пазухи револьверъ системы «Непопаде» и произвели три выстрѣла въ упоръ, оставшіеся безъ послѣдствій только благодаря несовершенству огнестрѣльнаго оружія системы «Непопаде»?.. Переводчикъ!

Переводчикъ, волкоподобный парень лѣтъ тридцати, съ глазами, полными суевѣрнаго испуга предъ важностью судейской обстановки, быстро киваетъ головой:

— Здэси, вашъ прысхадыль.

— Изложите Владиміру Эпылэ Хуздызыдову все, мною сказанное.

— Слющій, вашъ прысхадыль!

— Помните, что вы обязаны переводить правильно, ясно, точно.

— Слющій.

— За неправильный переводъ подвергаетесь строжайшей отвѣтственности.

— Слющій!

И, строго уставясь на подсудимаго, можно сказать, поѣдая его глазами, переводчикъ внезапно испускаетъ короткій трехсложный лай:

— Гау-гау-гау?

Подсудимый печально косится узко прорѣзанными черными глазами и отвѣчаетъ еще проще:

— Чохъ.

— Никакъ нѣтъ, вашъ прысхадыль! Нычиму не виноватъ.

— Судебный приставъ! пригласите свидѣтеля Владиміра Кышпара Хуздызыдова.

Читатель, вѣроятно, недоумѣваетъ, почему подсудимые и

свидѣтели инородцы поголовно оказываются Владимірами. Это значитъ, что—цѣлая управа Владиміровъ. И еще значитъ, что управа приняла крещеніе около 15 іюля, Владимірова дня. Благословилъ преосвященный: нарещи всѣхъ мужчинъ Владимірами, а женщинъ Ольгами! Миссіонерамъ оно и лучше: не надо ломать голову надъ святцами. Существуютъ цѣлые улусы Васильевъ, Сергѣевъ, Константиновъ и т. д. Такая одноименность крещеныхъ управъ ведетъ къ тому, что христіанское имя инородца становится какъ бы варицательнымъ прозвищемъ православнаго. Крикните на базарѣ: Владиміръ!—къ вамъ обернутся сотни головъ. Но, чтобы вызвать изъ этой сотни опредѣленнаго, нужнаго вамъ Владиміра, вамъ придется выкликнуть его старинное, магометанское имя: Эпылэ, Юсупъ, Кышпаръ и т. п.

Владиміры-Ахметы, Владиміры-Юсупы, Ольги-Зулымъ, Ольги-Зинабъ проходятъ предъ судомъ быстрою чередою. У всѣхъ у нихъ—коричневыя лица, плоскіе черные волосы и косо прорѣзанные глаза, печальные и темные, какъ ночи въ родной ихъ, холодной степи. Всѣ Ольги въ праздничныхъ шубкахъ, шитыхъ въ подолѣ, на груди, въ рукавахъ, по дубленкѣ причудливыми узорами синяго, краснаго, желтаго, зеленаго шелка. У всѣхъ подъ шубками младенцы—смирные, молчаливые сосуны, замотанные до одурѣнія непрерывною качкою то въ висячей зыбкѣ, то на материнской груди. Качаться тѣломъ—сидя ли, стоя ли—вторая натура инородки. Иныя закачиваются до столбняка, до какого-то сна на яву—съ мистическимъ, не то разсѣяннымъ, не то полуумнымъ выраженіемъ въ немигающихъ глазахъ... Гдѣ инородокъ много, мнѣ всегда представляется, будто я не на сушѣ, а на пароходной палубѣ въ свѣжій вѣтеръ. Если долго смотрѣть, это шатаніе живыхъ, пестрыхъ маятниковъ утомляетъ и раздражаетъ нервы. Я знаю впечатлительныхъ людей, которые сами начинали ему безсознательно подражать и мало-по-малу втягивались въ него, какъ въ нѣкую заразу.

Всѣмъ свидѣтелямъ предсѣдательствующій ставилъ длинные, сложные, обстоятельные и очень фразистые вопросы, послѣ которыхъ переводчикъ лаялъ коротко, съ начальственнымъ озлобленіемъ, на лай свой получалъ лай отвѣтный и затѣмъ увѣдомлялъ:

— Такъ точь, вашъ прысхадыль!

— Видалъ, вашъ прысхадыль!

— Запомнилъ, вашъ прысхадыль!

Подсудимый, между двумя малорослыми солдатиками, сидѣлъ молчаливый и неподвижный, какъ пень. По мѣрѣ того, какъ слѣдствіе шло впередъ, взоръ его, по-собачьи сосредоточенный на лицѣ предсѣдательствующаго, становился все спокойнѣе и грустнѣе. Повидимому, Владиміръ Эпылэ рѣшилъ въ умѣ своемъ, что именно этотъ-то многоглаголивый старикъ и есть его злѣйшій врагъ. И онъ главный здѣсь! Что захочетъ сдѣлать съ Эпылэ, то и сдѣлаетъ. И никто не заступится. Страшно Эпылэ!

— Слово принадлежитъ товарищу прокурора.

Въ ничтожныхъ дѣлахъ, подобныхъ стычкѣ двухъ Владиміровъ Хуздызыдовыхъ, храповицкіе обвинители издавна выработали традицію отдѣлываться короткимъ заявленіемъ:

— Поддерживаю обвиненіе въ размѣрахъ обвинительнаго акта.

Но сегодня на Валерьяна Агапитовича нашелъ ражъ поговорить. И всталъ онъ, уперся длинными руками на красносуконный столъ, мотнулъ волосатою головушкою и пошелъ, и пошелъ...

— Право собственности, господа судьи,—опора, столпъ общества. Владиміръ Кыпшаръ Хуздызыдовъ—очень маленькая общественная единица, господа, но все же единица, и права его должны быть уважены и ограждены, какъ и наши съ вами права, какъ права каждаго члена общества. Покупая на храповицкомъ базарѣ бѣлаго ямаднаго козла мѣстной породы, Владиміръ Кыпшаръ Хуздызыдовъ, конечно, вѣрилъ, что живетъ въ обществѣ и подъ охраною

законовъ, достаточно сильныхъ, чтобы оградить его право на благопріобрѣтенное животное, доставшееся ему тяжелою цѣною, цѣною трудовой копейки, господа! Не играючись, а рабочими мозолями добытъ этотъ козелъ! И, ужъ разумѣется, не предвидѣлъ Владиміръ Кыпаръ Хуздызыдовъ, что вскорѣ придется ему, отстаивая козла своего, идти подъ револьверныя пули хищника, пущенныя изъ огнестрѣльнаго орудія системы «Непопаде». Только счастливая случайность или, вѣрнѣе сказать, Промыслъ небесный не допустилъ, чтобы стоимость козла стала цѣною человѣческой жизни. Я предвижу попытки къ оправданію преступника невѣжествомъ, патріархальною дикостью мѣстныхъ нравовъ. Господа судьи! Эти качества, если даже они присущи человѣку со столь опредѣленно направленною злою волею, какъ Владиміръ Эпылэ Хуздызыдовъ,—эти качества не смягчаютъ вины его, нѣтъ! Они ее отягчаютъ! Мы живемъ и дѣйствуемъ въ молодомъ краю, которому нужны не дикари, но цивилизаторы! Граждане потребны намъ, а не патріархи! Какъ представители высшей культуры, мы отвѣтственны за этихъ дѣтей пустыни предъ небомъ и отечествомъ. Наша обязанность превратить ихъ въ гражданъ, научивъ ихъ уважать неприкосновенность чужихъ яманныхъ козловъ и цѣнить жизнь своего ближняго дороже стоимости козлиной шкуры. Нашъ святой долгъ воспитать ихъ для чести и нравственности! Почему, настаивая на доказанности данныхъ обвинительнаго акта во всей полнотѣ его, ходатайствую предъ судомъ о примѣненіи къ обвиняемому высшей мѣры наказанія, слѣдуемаго по закону!

Такою бурною тирадою заключилъ Буринокъ свою пылкую двадцатиминутную рѣчь. Опускаясь въ кресла, онъ, сквозь изнеможеніе, чувствовалъ, что судъ побѣжденъ, что залъ влюбленъ въ него, апплодисменты не гремятъ только потому, что Храповицкъ еще не дообразовался до апплодисментовъ. Подъ краснымъ сукномъ судейскаго стола къ Буринку просунулась привѣтственная рука члена суда.

— Великолѣпно, батенька! Просто... герой сессіи! Одно слово!

— Хоть бы и не въ Храповицкѣ,—шепнулъ предсѣдательствующій.

Самодовольно озпраясь, герой сессіи всюду видѣлъ почтительные взгляды и сочувственныя улыбки. И, что всего удивительнѣе, радостно ухмылялся даже подсудимый Владиміръ Эпылэ Хуздызыдовъ.

— Этотъ-то съ чего?!—даже смутился было Буринокъ.

Коричневое лицо Эпылэ свѣтилось торжествомъ, инда скулы лоснились; осклабленный ротъ сверкалъ бѣлыми, какъ кипень, волчьими зубами; щелки глазъ лучисто сіяли. Въ волненіи восторга, Эпылэ едва могъ усидѣть на мѣстѣ, ерзалъ по скамьѣ подсудимыхъ, переминаль нога за ногу и весело кивалъ головою то Буринку, то въ залъ—свидѣтелямъ-инородцамъ, а тѣ отвѣчали ему такими же веселыми кивками... Всѣ они, какъ и Эпылэ, покуда говорилъ Буринокъ, прислушивались къ нему съ величайшимъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ.

— Подсудимый! Слово за вами. Что вы можете сказать въ свое оправданіе?

Подтолкнутый конвойными, окрикнутый переводчикомъ, Эпылэ всталъ и залаялъ гортанью. Лаялъ долго, быстро, страстно и все кивалъ, либо указывалъ пальцемъ на Буринка, улыбаясь ему съ такою нѣжностью, будто видѣлъ въ товарищѣ прокурора брата родного.

— Переводчикъ! что онъ говоритъ?

— Согласенъ, вашъ прысхадылъ!

— Что такое—согласенъ? Съ чѣмъ онъ согласенъ?— брезгливо поморщился предсѣдательствующій.

— Соусимъ согласенъ, вашъ прысхадыль. Соусимъ, какъ господынъ паркуроръ требовалъ.

Буринокъ обвелъ залъ и судъ побѣдоносными очами. Эпылэ, со скамьи подсудимыхъ, еще подлаялъ что-то, ткнулъ

пальцемъ въ воздухѣ по адресу предсѣдательствующаго и стукнулъ себя кулакомъ въ грудь.

— Исчо говорыль... мало-мало глупій человѣкъ, вашъ прысхадыль!—сконфузился переводчикъ.

— Переводчикъ! Напоминаю вамъ, что за неполную или неточную передачу...

— Глупій человѣкъ! простой человѣкъ! Соусимъ пустой слова говорилъ.

— ... вы подвергаетесь строжайшей отвѣтственности по закону...

— Говарыль: если вашъ прысхадыль по правдѣ судыль, буду дарыль ему два яманъ, гаспадынъ паркуроръ пять баранъ, двамъ старикамъ по бокамъ четыре баранъ...

Залъ грохнулъ смѣхомъ. Предсѣдательскій звонокъ залился злобно и обиженно.

Вопросы поставлены. Судъ удалился въ комнату совѣщаній—очень недолгихъ: они не взяли и пяти минутъ. Владиміръ Эпылэ Хуздызыдовъ былъ «сдѣланъ»! Объявленіе приговора онъ выслушалъ съ тѣмъ тупымъ, на все готовымъ, всему покорнымъ равнодушіемъ, которымъ судимые инородцы однихъ судей до слезъ трогаютъ, а другихъ до неистовства ожесточаютъ. А, выслушавъ,—ни съ того, ни съ сего и опять къ немалому изумленію Буринка,—послалъ ему, хотя грустную, но дружескую, и даже запанибратскую улыбку.

За дѣломъ Хуздызыдова послѣдовалъ перерывъ. Въ корридорѣ общественнаго собранія, временно обращеннаго въ зданіе судебныхъ установленій, Буринокъ былъ снова окруженъ «избраннымъ обществомъ»; его хвалили, ему пророчили блестящую карьеру, съ нимъ кокетничали, онъ видѣлъ себя выше толпы и плылъ въ эмпиреяхъ... Владиміра Эпылэ Хуздызыдова провели тѣмъ же корридоромъ мимо, отправляя въ тюрьму. Товарищъ прокурора едва скользнулъ взглядомъ по арестанту, болѣе для него не интересному; но арестантъ, едва завидѣлъ товарища про-

курора, такъ и расцвѣлъ, и весь затрепыхался. И, не успѣли конвойные глазами мигнуть, какъ Эпылэ, растолкавъ завизжавшихъ дамъ, шагнулъ къ Буринку, хлопнулъ его по плечу, заулыбался и залаялъ...

— Конвой! Куда глядите?!

— Сидоровъ! Матусенко! черти!

— Я те, дьявола косматаго, прикладомъ!

Эпылэ приняли въ толчки и мигомъ выперли на улицу... Озадаченный Буринокъ таращилъ глаза, ровно ничего не понимая.

— Не извольте безпокоиться,—ухаживалъ за нимъ бакалейщикъ Хомутовъ, другъ-пріятель и оберъ-грабитель всѣхъ инородческихъ управъ.—Онъ не съ дурнымъ къ вамъ... А дурачекъ, необразованный; по свинству своему, благодарить васъ вывернулся.

— Благодарить? Онъ? Меня? За что?

— Да, вѣдь,—какъ, въ невѣрной глупости своей, не знамши русскаго языка... Онъ, стало быть, извините, вообразилъ себѣ такое, будто вы его отъ суда защищали!

Буринку показалось, что у него оторвалась селезенка...

## IX.

# Жѣчто о законѣ и душѣ,

ИЛИ

# почтовый патріархъ.

Изъ сибирскихъ разсказовъ храповицкаго обывателя Олимпія Венедиктовича Безфамильныхъ.

> — Такъ вотъ, друзья любезные, какъ хотите, судить ли мнѣ васъ по законамъ, или по душѣ, какъ мнѣ Богъ на сердце положитъ?
> — Суди по душѣ, будь отецъ, Серапіонъ Мардарьичъ.
>
> *Островскій*: *„Горячее сердце“*.

## I.

— Законъ, душенька вы моя, Олимпій Венедиктовичъ,—ласково пѣлъ мнѣ сѣдовласый и симпатичнѣйшій Егоръ Онисимовичъ Жестяной, древній годами почтмейстеръ уединеннаго сибирскаго городка Храповицка,—законъ, душенька вы моя, долженъ неукоснительно господствовать тамъ, гдѣ людей живетъ по сту тысячъ человѣкъ въ одной кучѣ, потому что тамъ ихъ чрезвычайно какъ много, и дѣлъ у нихъ промежу себя—гора, а времени ни у кого нѣтъ; другъ друга они въ лицѣ и въ образѣ жизни не знаютъ и столковаться по душамъ нѣтъ имъ никакой профилактической возможности. Слѣдовательно, и нуженъ имъ,

во всемъ своемъ правилѣ, законъ, чтобы онъ за нихъ съ ними столковался. А въ Храповицкомъ, душенька, мы всѣ—наперечетъ, свои люди, и времени у насъ, душенька, столь много, что хоть за границу имъ торгуй, если бы покупали. Поэтому, если бы я вздумалъ безпричинно поступать съ вами по правилу и по закону, то, выходитъ, былъ бы я предъ вами, душенька, не начальникъ почтовой конторы, но пестрая свинья.

Произнося эти многозначительныя сентенціи, Егоръ Онисимовичъ взвѣшивалъ собственноручно поданное мною, заказное письмо. Оно-то и явилось предлогомъ къ разсужденію. Было уже за три часа дня. Храповицкій почтовый день давно кончился, почта была почти задѣлана, но Егоръ Онисимовичъ, случайно замѣшкавшійся въ конторѣ, изъявилъ любезную готовность принять письмо не по правилу, а за милую обывательскую душу, по-сосѣдски.

— Вы, душенька,—пѣлъ онъ,—слава Богу, никогда еще ничѣмъ меня не обидѣли: въ мирѣ живемъ. За что же я буду съ вами по закону? Господинъ вы самый любезный, обходительный. Я для васъ всегда... Письмо не въ указанные сроки принять, деньги по незасвидѣтельствованной довѣренности выдать,—сколько угодно, съ моимъ удовольствіемъ. А которые со мною фордыбачатъ, для тѣхъ—законъ, да. Потому что—не диспутируй со старикомъ! Старикъ свое знаетъ, да. Доѣзжаю многихъ закономъ, плачутъ отъ него.

— Злоупотреблять закономъ тоже какъ будто не годится, Егоръ Онисимовичъ?

Почтмейстеръ даже руки къ небесамъ поднялъ.

— Душенька, да когда же я злоупотребляю? Я службу знаю очень хорошо. Никогда не злоупотреблялъ. Нехорошо злоупотреблять службою, и даже нарушеніе присяги—грѣхъ предъ Богомъ, царемъ и отечествомъ. Нѣтъ никакой профилактической возможности.

— Такъ отчего же, вы говорите, плачутъ-то?

— Оттого, душенька, что, по нашимъ дикимъ мѣстамъ,—дабы человѣкъ заплакалъ,—совсѣмъ никакихъ злоупотребленій не требуется: довольно самого закона. Законъ—злодѣй, ежели его по нашимъ мѣстамъ въ полную точность гнать. Аспидъ законъ! Заѣмъ закономъ. Со всею профилактическою возможностью...

— Тебѣ, дядя, чего?—обратился Егоръ Онисимовичъ къ мужику-переселенцу, который, хлопнувъ дверью съ блокомъ, остановился, весь въ морозномъ парѣ, у порога и, сдернувъ шапку, успѣлъ уже разъ десять поклониться лохматою головою.

— Повѣстку получемши...—сипло пробасилъ переселенецъ.

— Опоздалъ, душенька. Завтра придешь. Почта закрыта.

— Вишь ты...

Мужикъ зачесалъ плечами подъ полушубкомъ.

— Изъ дальнихъ, что ли, будешь?

— То-то и оно... Хухринскіе...

— Давай повѣстку... Эхъ-хе-хе!.. И не засвидѣтельствована!...

— Явите Божескую милость, ваше высокоблагородіе. Писарь отлучемши, староста неграмотный, печати не даетъ: ты, гритъ, теля, не вѣсть куда ее хлопнешь, казенную персону нарушишь, за тебя мнѣ въ отвѣтъ не иттить... Ежели въ волость ѣхать, крюка тридцать верстъ...

— Паспортъ?

Переселенецъ полѣзъ за пазуху съ рѣшительнымъ видомъ.

— Не надо, стало быть, вѣрю: имѣешь,—остановилъ Егоръ Онисимовичъ.—Ѳедотъ Плинтусенковъ это ты самый и есть?

— Мы будемъ. Ѳедотъ—это мы, хухринскіе.

— Вавилу Молотковыхъ въ Хухриномъ знаешь?

— Кумовья,—обрадовался мужикъ.

— Ужо спрошу о тебѣ Вавилу. На его имя выдаю. Ступай, распишись въ книгѣ. Неграмотный? Турочкинъ, распишись за мужика.

Изъ-за огромной, обитой желѣзными листами печки, по сибирскому «контрамарки», вышелъ тщедушный, робкій на видъ, до-нельзя оборванный, лихорадочный «бывшій человѣкъ».

— Вотъ, душенька, полюбуйтесь, — сказалъ Егоръ Онисимовичъ, кивая на него, пока тотъ водилъ перомъ въ почтовой книгѣ.—Богатаго купца сынъ, крупные золотопромышленники были... А теперь въ конторѣ изъ милости зимуетъ, за тепло обязанъ расписываться въ книгахъ.

— Должность особая?

— Да вѣдь законъ воспрещаетъ почтовымъ служащимъ расписываться за неграмотныхъ, а между тѣмъ безграмотныхъ у насъ по Храповицкому округу изъ ста девяносто девять. Гдѣ имъ его, этого сотаго грамотника, искать? Нѣтъ профилактической возможности! Ну, я приспособилъ Турочкина... Что-жъ? Человѣкъ вольный, казнѣ ничего не стоитъ, а еще печки ей топитъ. А ты, другъ любезный, какъ же это?—вдругъ прикрикнулъ онъ на мужика, который, получивъ деньги, уже спряталъ ихъ и опускалъ было кошель за голенище,—брюхо сыто, такъ и ложку объ столъ? Ты Турочкина поблагодари, братецъ, онъ за тебя расписываться не обязанъ, онъ не виноватъ, что у тебя отецъ-мать дураки были, въ школу тебя не посылали .. Дай ему трехкопеечникъ, непремѣнно дай.

— Мы, ваше высокоблагородіе, за тѣмъ не стоимъ... хотя бы и пятачекъ...—бормоталъ сконфуженный мужикъ, роясь въ кошелѣ.

— Пятачекъ много, а трехкопеечникъ дай: грамотный человѣкъ, грамотному человѣку помочь слѣдуетъ... Не будь у меня при конторѣ Турочкина, ты куда бы пошелъ грамотнаго искать? а? Въ кабакъ бы пошелъ... Здѣсь,—обратился Егоръ Онисимовичъ ко мнѣ,—по ближнимъ каба-

камъ нарочные ярыжки сидятъ: за расписку по двугривенному и больше снимаютъ съ такихъ вотъ деревенскихъ обломовъ... Заплатилъ бы двугривенный-то, еловая голова?

Мужикъ жалобно шмыгнулъ носомъ въ знакъ согласія и тряхнулъ лохмами. Егоръ Онисимовичъ продолжалъ:

— А какъ, бывъ въ кабакѣ, нѣтъ профилактической возможности не выпить, то, пожалуй, оно пришлось бы тебѣ приложить и еще двугривенный... Вотъ оно, во что обходится расписка вашему брату! Денегъ получилъ три рубля, а сорокъ копѣекъ, еще въ рукахъ пакета не имѣвъ, долженъ пустить въ пропой. А съ Турочкинымъ—просто, мило, пріятно: трехкопеечникъ отдалъ,—и чистъ... со всею профилактическою возможностью.

## II.

— Вотъ-съ, вѣдь, ежели вамъ, душенька, угодно строго разсуждать, такъ и это все незаконно,—запѣлъ Егоръ Онисимовичъ, когда мужикъ ушелъ, а Турочкинъ скрылся обратно за контрамарку.—Все незаконно-съ: и почта закрыта, и мужика я знать не знаю, и документомъ его не поинтересовался, и деньги на чужое имя отмѣтилъ, и повѣстка у него не засвидѣтельствована, и постояннаго человѣка для расписокъ при почтѣ нельзя имѣть, а ужъ тѣмъ паче вымогать ему вознагражденіе за труды. Это даже и къ взяткѣ подведено быть можетъ, если найдется донести врагъ какой-нибудь или злой человѣкъ. А я все сказанное предъ вами совершилъ: деньги выдалъ, правила нарушилъ и ничуть о томъ не жалѣю-съ, и чувствую, что правъ-съ. Потому что—законъ запрещаетъ, а душа велитъ. Помилуйте! Какъ съ ихняго брата по закону требовать? Это окончательно значитъ его, душенька, обижать... Никакой профилактической возможности!

Егоръ Онисимовичъ взглянулъ на меня самодовольнымъ и побѣдоноснымъ соколомъ.

— Да. Тутъ въ Перинскѣ,—изволите знать?—почтмейстеромъ сидитъ Адольфъ Ивановичъ Гурмикъ,—чехъ онъ, что ли, какой-то, или испанецъ, Господь съ нимъ. Тотъ не въ меня, у того все законъ и правило, другихъ рѣчей нѣтъ. Однако, обыватели имъ, законникомъ, столь мало довольны, что уже раза три собирались брать его въ колья. Ей-Богу! Потому что, развѣ долго затиранить закономъ человѣка, когда который живетъ по сосѣдству, особенно, если неграмотный? Очень какъ просто. Если сосѣдъ съ сосѣдомъ станетъ по закону поступать, то въ скоромъ времени обоимъ сосѣдямъ и продохнуть въ свободѣ окажется некуда. Вотъ что. А я именно такъ понимаю, что мы всѣ здѣсь, сколько насъ ни есть, сосѣди и должны жить на сосѣдскомъ положеніи и обходиться другъ съ другомъ по кроткому сосѣдству, а не въ собачествѣ. Вотъ теперь взять хоть бы этого самаго мужика. Ужъ Гурмикъ бы денегъ не выдалъ, шалишь, онъ ихнихъ резоновъ не принимаетъ. У него, братъ душенька, ходи въ струнѣ, тонко.

Егоръ Онисимовичъ пересталъ ласково пѣть, нахмурился сычемъ и загудѣлъ толстымъ голосомъ:

— Кого надо?

— Къ вашей милости... деньги получить...—пропищалъ онъ почему-то бабьимъ голосомъ за мужика-просителя.

— Контора заперта. Завтра приходи, въ девять часовъ утра.

— Батюшка, хухринскіе мы. Тридцать восемь верстъ. Мнѣ къ ночи едва домой быть.

— Контора заперта. Завтра, въ девять часовъ утра.

— А ждать мужику до завтра,—объяснилъ Егоръ Онисимовичъ своимъ голосомъ,—это, помимо всего непріятнаго прочаго, значитъ: найти себѣ ночлегъ,—у кого пѣтъ въ городѣ земляковъ принять на ночевку даромъ, тотъ заплати за тепло, у кого корма взято съ собою только на одинъ день, прикупи коню овса, да самому тоже мало-мало сыту

быть надо... Посчитайте, во что лишку она, почта наша, влетаетъ мужику, ежели съ нимъ этакъ сурово? Хорошо-съ. Теперича, переночевалъ мужикъ. Приходитъ, какъ велѣно, поутру.

— Повѣстку!—забасилъ Егоръ Онисимовичъ за Гурмика.—Почему не засвидѣтельствована? Паспортъ!

— Паспорта не захватилъ, ваше высокоблагородіе.

Дальше и говорить не захочетъ, такъ и швырнетъ повѣстку обратно черезъ столъ.

— Привези паспортъ или засвидѣтельствованную повѣстку, тогда и получишь.

— Ваше высокоблагородіе...

— Сказано.

— И хоть ты вой, хоть плачь—упрется лбомъ въ стѣну: ни съ мѣста. Изъ-за рубля гонитъ человѣка за паспортомъ сорокъ верстъ туда, сорокъ верстъ назадъ. Спрашиваю васъ, душенька Олимпій Венедиктовичъ, какая же теперича есть профилактическая возможность соблюдать почтовыя правила въ этакой Палестинѣ, гдѣ отъ жила до жила по сорока, по пятидесяти верстъ, а до почты часто и за сотню? Вѣдь это, на одной лошаденкѣ, мало-мало сутки, а то и двое, трое сутокъ жизни человѣческой!.. Иные изъ нашего брата, охочіе ломаться, показывать власть, еще и не то по закону дѣлаютъ. Придетъ мужикъ получать деньги по довѣренности,—чиновникъ вдругъ озлится и придерется:

— Это какая загогулина?

— Писарь свидѣтельствовалъ.

— Загогулина зачѣмъ, я спрашиваю?

— Неизвѣстно намъ... Подпись его, надо быть... Прозвище...

— Онъ фамилію свою долженъ писать, а не загогулины разрисовывать. Скажи своему писарю, что я не обязанъ разбирать его дурацкіе знаки. Генералъ какой нашелся—расчеркиваться! Не принимаю свидѣтельства. Поѣзжай, откуда пришелъ, жди новой повѣстки и привози—засвидѣ-

тельствованную, въ порядкѣ... Да, Боже его сохрани расчеркнуться: опять ни съ чѣмъ домой поѣдешь... Скажи, чтобы расчеркиваться не смѣлъ...

Другой, душенька, всю ночь въ картишки дуется, проиграетъ жалованьишко за мѣсяцъ, поутру въ контору выйдетъ злой-презлой и давай на публикѣ сердце срывать:

— Это что за мазня? Почему печать слабо оттиснута?

Мужикъ, душенька, конечно, не знаетъ, почему,—хлопаетъ глазами.

— Ничего не понимаю! Пятно какое-то, лужа... Мнѣ лужи не надо, подай печать!

— Батюшка, за печатью ѣхать—большой убытокъ долженъ принять. Пора рабочая, что времени потеряю.

— Убытки имѣешь право взыскивать съ тѣхъ, кто тебя въ нихъ вводитъ. Да. А въ твои дѣла и разсужденія я не желаю входить, не обязанъ по закону. Если желаешь, могу выдать тебѣ удостовѣреніе, что деньги не могутъ быть выданы по небрежности писаря, приложившаго печать съ такою неясностью, что почтовая контора усумнилась въ подлинности оной. Судись.

— Гдѣ ужъ намъ, отецъ, судиться. Просудимся. Ты снизойди.

— Не могу. Не имѣю права. Не желаю брать на свою отвѣтственность. Почемъ я знаю? Можетъ быть, ты и въ самомъ дѣлѣ ее нарисовалъ. Сторона здѣсь невѣрная, каторжная.

— И оно, если хотите, душенька,—это такъ точно, истинная правдо,—задумчиво вставилъ новое а parte Егоръ Онисимовичъ,—сторона, дѣйствительно, каторжная, народъ живетъ такой—не похвали. Но по тому-то самому и говорю: ты съ нимъ законъ брось, не удивишь его закономъ... Душу въ лапки возьми, да душою и дѣйствуй...

— По тому самому?

— Именно дѣло, душенька. Ссыльныхъ у насъ множество. Крестьянъ изъ ссыльныхъ, которые отбыли сроки,

еще больше. Все народъ тертый, натруженный. Что ты съ нимъ по закону? Онъ отъ закона обиженъ, отъ закона добра не ждетъ, закономъ жить съ нимъ по хорошему — этого ты отъ него никогда не добьешься. А если ты къ нему покажешь себя по человѣчеству, это онъ понимаетъ, любитъ, довѣріе цѣнитъ и будетъ тебя за довѣріе уважать. Я вотъ съ ними все такъ-то, по душамъ, и, слава Тебѣ, Господи, служу въ Храповицкомъ двадцать второй годъ, а изъ-за ссыльныхъ и переселенцевъ не имѣлъ ни единой непріятности: ни разу они меня не обманули, не подвели, сала мнѣ за шкуру не залили. А законниковъ, — слышали? — въ колья берутъ. Нельзя въ степи по закону, нѣтъ профилактической возможности! Степь, душенька, сама себѣ законъ, такъ съ нашимъ-то закономъ ей ужъ очень надоѣдать, выходитъ, не въ подъемъ человѣкамъ. Еще кабы мы только съ чалдонами дѣло имѣли, съ сибирскимъ мужичьемъ, — ну, тѣ хоть въ сапогахъ — калошахъ ходятъ, по десятку коней во дворѣ держатъ, — ништо ему чайное брюхо протрясти и мерина промять: пусть городъ посмотритъ, аккуратности обучится. Но чалдоны писемъ много не пишутъ. Чалдонъ — гнѣздовой человѣкъ, въ кучѣ сидитъ, дальнихъ родныхъ и дальнихъ дѣловъ у него нѣтъ. Главная наша публика — ссыльные и переселенцы. Притомъ, изъ переселенцевъ, преимущественно, свѣженькіе новоселы, которые изъ Россіи первый, второй годъ. У него оторванное-то, гдѣ онъ былъ съ родиною сросшись, горитъ-болитъ, еще не зажило. У него по родному-то мѣсту не только что сердце, — все пузо изболѣло, а почта ломается, письма не даетъ: печать плохо оттиснута. Это лучше вовсе письма не получать, чѣмъ знать, что лежитъ на почтѣ изъ любимаго мѣста письмо, а прочитать его — въ руки не дается. И пошелъ онъ, стало быть, гонять лошаденку свою изъ деревни, либо съ заимки на почту, съ почты въ волость, изъ волости онять на почту, съ почты опять въ деревню, покуда лошаденка языка не высунетъ... Потому что у новоселовъ не кони-съ, а лоша-

денки, и кормятъ ихъ новоселы не по сибирскому-съ, а по россійскому-съ: лишь бы животикъ не подохъ... Да-съ. И человѣкъ слабосиленъ, и конь его слабосиленъ, а душа горитъ, за нуждою гонитъ,—ну, и ломай—во всѣ-то приказанные концы—сотню и болѣе верстъ... А между прочимъ, и работнику въ домѣ надлежало бы остаться, да и лошаденку безножить не слѣдуетъ: она, душенька, хотя денегъ только развѣ шкурою стоитъ, да работать ему нужна-съ...

## III.

Давно уже искушалъ долготерпѣніе Егора Онисимовича Жестяного злоехидный обыватель Кобылкинъ, козелъ отпущенія для всего Храповицка, по множеству самыхъ мрачныхъ подозрѣній, между прочимъ, и въ писаніи корреспонденцій во всѣ газеты земного шара, хотя Кобылкинъ неоднократно предлагалъ подвергнуть его всенародной присягѣ съ крестнымъ цѣлованіемъ, что онъ не имѣетъ сношеній ни съ одною. Косились на Кобылкина всѣ въ Храповицкѣ, косился и Егоръ Онисимовичъ, но, по природному добродушію, меньше, чѣмъ другіе. Иногда онъ снисходилъ даже до того, что бралъ на себя трудъ увѣщевать заблудшую храповицкую овцу.

— Много за вами блохъ, господинъ Кобылкинъ, — вздыхалъ онъ, принимая отъ козла отпущенія заказное письмо адресованное «Его Высокоблагородію Ильѣ Мартыновичу Севрюгину, въ городъ Стерляжій, Пропойской губерніи, улица Булыжная, не доходя трактира, въ дьяконовомъ домѣ, гдѣ теперь столяръ».—Очень много блохъ.

— А много, такъ и ловите,—угрюмо и вяло огрызался Кобылкинъ: атмосфера всеобщей безпричинной ненависти, окружавшая его въ Храповицкѣ, до того удручила и задушила бѣднягу, что онъ противъ нея даже почти уже и не возражалъ, но глоталъ ея зловоніе, какъ нѣчто должное и по роду ему написанное.

— Что мнѣ васъ ловить? Я почтою командую, не полиціей. Не мое дѣло васъ ловить. На то у насъ своя инстанція. Но вотъ, куда начальство смотритъ, что вы совсѣмъ всякую совѣсть потеряли и имѣете профилактическую возможность такъ совершенно неглиже упражнять свои фигли-мигли,—вотъ этому я, признаюсь, удивляюсь... да-съ. И не я одинъ, всѣ въ городѣ удивляются.

— Какія же фигли-мигли вы видѣли отъ меня, Егоръ Онисимовичъ?—уныло вопрошалъ Кобылкинъ

— Ахъ, батюшка, душенька, отецъ родной! Почемъ я знаю ваши художества и таланты, какія вы способны строить фигли-мигли? Не знатокъ я въ мерзостяхъ человѣческихъ... Старой службы офицеръ, душенька...

— Никогда я вамъ фиглей-миглей не строилъ, Егоръ Онисимовичъ.

— Не строили, такъ могли строить. И можете. И построите. Потому что сомнительный вы по всему городу человѣкъ, нельзя на васъ положиться, не оправдали себя предъ обывателями... да-съ! Вотъ бы теперь хотя письмо это. Почемъ я знаю, что у васъ тамъ въ конвертѣ? Небось, опять пасквиль на какое-нибудь достопочтенное лицо... противъ исправника тамъ, либо податного инспектора... можетъ быть, и на меня... Да! Вотъ только, что по закону отказать не имѣю профилактической возможности, а то и принимать бы отъ васъ корресподенціи не слѣдовало... Помилуйте,—что такое? Сегодня отъ васъ на почту письмо поступаетъ, а недѣли черезъ двѣ, глядишь, въ «Сибирякѣ» вотъ этакая аллилуія...

— Егоръ Онисимовичъ, да вѣдь адресъ-то передъ вами. Какой же въ Стерляжьемъ «Сибирякъ»?. «Сибирякъ» издается въ Пупскѣ, отъ Стерляжьяго двѣ тысячи верстъ. Въ Стерляжьемъ не только газеты нѣтъ, но и мало кто грамотѣ знаетъ.

— Адресомъ вы, душенька, не финтите, — лукаво поетъ непобѣдимый Егоръ Онисимовичъ.—Ничего адресъ

не доказываетъ. Адресъ—фигли-мигли. Что же въ томъ, что Ильѣ Мартыновичу Севрюгину въ Стерляжій? Илья Мартыновичъ въ Стерляжьемъ ваши подлости получитъ, переложитъ въ другой конвертъ, да въ Пупскъ «Сибиряку» ихъ и отошлетъ. Намъ ли, душенька, не знать? Не дѣти, голубушка, — что лѣтъ въ почтовомъ вѣдомствѣ службу несемъ.

— Спасибо, что научили. Мнѣ и въ голову не приходило,—язвитъ скорбящій Кобылкинъ.

Егоръ Онисимовичъ смотритъ на него строго, проницательно и грозитъ пальцемъ не безъ патріархальнаго величія.

— Не лгите. Лучше—какія хотите фигли-мигли, а не лгите. Грѣхъ лгать. Боженька не велитъ.

— А!—восклицаетъ онъ, сбрасывая въ ящикъ взвѣшенное письмо—прошу покорно: шесть лотовъ! Сорокъ девять копеекъ! И онъ хочетъ меня увѣрить, что не пасквиль! Въ Стерляжій Ильѣ Севрюгину въ шесть лотовъ письмо!... Грамотѣ, говоритъ, въ Стерляжьемъ не знаютъ, а шесть лотовъ написалъ!... Ну, врите ужъ, врите: кто онъ таковъ, Севрюгинъ-то вашъ?

— Братъ мой троюродный, мѣщанинъ тамошній...

— Зачѣмъ же вы его «высоблагородіемъ» пишете, если мѣщанинъ?

— Для учтивости, такъ принято, Егоръ Онисимовичъ... Онъ — человѣкъ богатый, образованіе имѣетъ... предприниматель...

— Пред-при-ни-ма-тель... Слушаю-съ. Врите дальше, врите...

— Ей Богу же, Егоръ Онисимовичъ. У меня съ нимъ дѣла по изысканіямъ азбеста.

— Врите, врите... Мѣщанину шесть лотовъ!.. Вѣрнѣе—не изъ политическихъ ли ссыльныхъ-съ онъ будетъ, мѣщанинъ-то вашъ?

— Егоръ Онисимовичъ, прошу васъ, наконецъ: рас-

печатайте письмо, убѣдитесь своими глазами, что въ конвертѣ нѣтъ ничего, кромѣ отчета по азбестовому предпріятію.

— Что мнѣ ваши письма распечатывать? Не мое занятіе... Иные изъ нашего брата, точно, охочи до этого чтенія, любопытствуютъ. А мнѣ не забавно. Вотъ почерки обывательскіе—это я, на всякій случай, обязанъ знать и знаю съ. А распечатывать письма почитаю внѣ моей компетенціи-съ. На то, ежели кто въ подозрѣніи, своя инстанція есть. А я не интересуюсь. Я—офицеръ старой службы, душенька.

## IV.

Въ одинъ плачевный день Жестяной, войдя въ почтовую контору, замѣтилъ, что служащіе смотрятъ на него съ тревожнымъ ожиданіемъ, а на столѣ почтмейстерскомъ положенъ чьею-то услужливою рукою свѣженькій номеръ «Сибирской Тризны», съ яркою помѣткой синимъ карандашемъ.

— Прохватили!!!

Молніей пронеслось въ умѣ Жестяного, и кровь горячимъ столбомъ поднялась къ его апоплексическому затылку.

Овладѣвъ собою, не глядя ни на кого, сѣлъ къ столу, взялъ роковую газету, началъ читать.

«Намъ пишутъ изъ-цка: «Индифферентизмъ бюрократическихъ владыкъ провинціи къ своимъ должностнымъ функціямъ проникъ во всѣ сферы захолустнаго режима, давно уже вызывая справедливые протесты немногочисленной интеллигенціи нашего богоспасаемаго—цка, по крайней мѣрѣ, той лучшей части ея, для которой еще не вовсе «засохла нива жизни». Такъ, на-дняхъ, имѣя надобность отправить въ городъ (nomina sunt odiosa!) денежный переводъ въ размѣрѣ 2 р. 18 к., мы посѣтили съ этою цѣлью мѣстную почтовую контору. Каково же было наше

удивленіе, когда, не взирая на будни и на пріемные, по закону и почтовымъ правиламъ, часы,—было около полудня,—мы не нашли въ конторѣ ни самого г. начальника ея, ни его достойнаго помощника. Гдѣ же ваши принципалы?—задали мы вполнѣ естественный вопросъ индивидууму въ подозрительно заношенной формѣ, одиноко суетившемуся около столовъ. Субъектъ этотъ соблаговолилъ освѣдомить насъ, что г. помощникъ боленъ, а «самъ» пошелъ обѣдать и еще не возвращался, надо быть, започивалъ. Обогативъ насъ этимъ драгоцѣннымъ свѣдѣніемъ, субъектъ рекомендовалъ намъ «посидѣть»: теперь-де они, навѣрное, уже скоро будутъ. И, дѣйствительно, минутъ черезъ десять непріятнаго ожиданія, сатрапъ почтовой конторы удостоилъ выйти къ публикѣ, еще храня на пухломъ лицѣ своемъ слѣды поцѣлуевъ Морфея. Даже не потрудившись извиниться предъ людьми, у которыхъ онъ безсовѣстно похитилъ драгоцѣнное время (Time is money,— говорятъ американцы... Когда-то доживетъ до пониманія столь азбучныхъ истинъ нашъ неподвижный—цкъ?), г-нъ почтмейстеръ, молча, принялъ нашу посылку и, страшно зѣвая, выдалъ намъ узаконенную расписку... «А владѣлецъ роскошныхъ палатъ еще сномъ былъ глубокимъ объятъ», невольно вспоминалось намъ въ то время, какъ мы возвращались изъ почтовой конторы домой, ежеминутно рискуя оставить галоши въ невылазной грязи Соборной площади».

— М-м-мерзавцы!— съ аппетитомъ произнесъ Егоръ Онисимовичъ придушеннымъ голосомъ, покраснѣлъ до лиловыхъ тѣней въ лицѣ и отложилъ газету въ сторону.

— Можетъ быть, не про насъ?—робко предположилъ помощникъ.

— Нѣтъ-съ, про насъ...—сухо отрѣзалъ Егоръ Онисимовичъ и, все еще удрученный впечатлѣніемъ, прибавилъ укоризненно, остерегаясь смотрѣть на помощника, котора-

го въ эту минуту почиталъ во всемъ виновнымъ и искренно ненавидилъ:

— Вотъ-съ... Болѣете, вотъ-съ... Вы болѣете, а мерзавцы пишутъ-съ... Да-съ! Нехорошо-съ! Либо болѣть-съ, либо служить-съ... Болѣзнь службѣ-съ... она того-съ... противопоказаніе! Нѣтъ никакой профилактической возможности!

Сконфуженный помощникъ тоже расцвѣлъ алымъ піономъ и уткнулся въ почтовую книгу.

— А, ей-Богу, напрасно, Егоръ Онисимовичъ, ей-Богу, не про насъ... — отозвался изъ-за своего окошечка долговязый, вихрастый телеграфистъ. — Что-жъ такого? Помощникъ боленъ, самъ обѣдать ушелъ... Это во всякой конторѣ можетъ случиться. Мало-ли—цковъ въ Сибири? Вѣдь не сказано, что про Храповицкъ.

— Д-да... Иванъ Никодимовичъ совершенно правъ. Не мы одни!—просіялъ ободренный помощникъ.—Ей-Богу, это не про насъ. Помилуйте! Я даже не помню такого перевода, чтобы на два рубля восемнадцать копѣекъ.

Тѣни на лицѣ Егора Онисимовича тоже значительно просвѣтлѣли, но онъ все еще сомнѣвался:

— Тутъ, господа, примѣта положена,—сказалъ онъ, вновь вооружаясь газетою:—Соборная площадь, невылазная грязь, галоши боится оставить... Нѣтъ, господа, про насъ. Это Храповицкъ, душеньки: я самъ въ прошлую весну потерялъ галошу на Соборной площади.

— Соборная площадь и въ Верхне-Ослецкѣ есть,— возразилъ изъ окошечка оптимистическій телеграфистъ. —Я служилъ въ Верхне-Ослецкѣ, знаю. А вотъ Матвѣевъ сортировщикъ, — онъ родомъ нижне-ослецкій, онъ намъ скажетъ... Матвѣевъ! Имѣется въ Нижне-Ослецкѣ Соборная площадь?

— Такъ точно, ваше благородіе. Есть. Гдѣ, стало быть, однако, въ городу соборъ, тамотка, однако, слыветъ Соборная площадь...

— Грязная?

— Такъ точно, ваше благородіе. Сильно грязная. Однако, супруга письмо прислала, домой звала, пишетъ: у отца благочиннаго мало-мало свинья пропала. Гадали на бѣглыхъ, а нашли на скверу,—однако, увязилась... утопла, слыветъ...

— У насъ такъ-то прошлую осень воинскаго начальника теленокъ...—задумчиво вспомнилъ помощникъ.

Егоръ Онисимовичъ, все болѣе и болѣе оживляясь, жевалъ губами...

— Ну,—разразился онъ, наконецъ,—давай Богъ, чтобы не про насъ!.. Но только, про насъ ли, не про насъ ли, а я теперь этого дѣла такъ оставить не могу. Помилуйте! Опосля всего—есть ли профилактическая возможность? У меня вся печенка всколыхнулась. Я офицеръ старой службы... Меня безпокоить, душенька, грѣшно-съ!..

— Не слѣдуетъ оставлять... вы имъ докажите!—одобрительно поддакнулъ помощникъ.

— Коль скоро я никого не трогаю и всѣмъ желаю угодить, могу я или нѣтъ имѣть покой въ своей профессіи?

— Это ваше абсолютное право,—авторитетно подтвердилъ телеграфистъ и во все окошечко тряхнулъ вихрами.

— Да-съ, право! И теперича этого... господина Кобылкина я... въ порошокъ-съ! Жаловаться не буду, опроверженіевъ писать не намѣренъ, но своими средствами-съ. Въ порошокъ-съ!

И Егоръ Онисимовичъ даже рукою показалъ, какъ онъ, будто антекарь какой, растираетъ Кобылкина въ порошокъ на чашкѣ почтовыхъ вѣсовъ.

— И по дѣломъ,—сказалъ помощникъ.

— И стоитъ,—сказалъ телеграфистъ.

— Можетъ быть, это и не онъ писалъ?—заикнулась было молоденькая телеграфистка въ мундирной кофтѣ, очень некрасивое, кроткое, Богомъ убитое созданіе.

— Не онъ? Кому же еще? Одинъ у насъ въ Храповицкомъ... пи-са-тель-то!...—даже завизжалъ какъ-то, свирѣпо уставляя на нее круглые глаза, товарищъ-телеграфистъ.

А Егоръ Онисимовичъ даже зубами ляскнулъ:

— А мнѣ плевать-съ! Онъ ли, не онъ ли, про меня ли, про другого-ли,—мнѣ теперь, душенька, со-вер-шеннѣй-ше наплевать-съ... Потому, что «они» мнѣ кровь испортили. Во мнѣ кровь кричитъ... да-съ. «Они» мнѣ кровь испортили, а я ему пропишу-съ!..

И прописалъ.

## V.

Довольно обширную дѣловую и родственную корреспонденцію Кобылкина отрѣзало, какъ ножемъ. То-есть, она стала однобокою: самъ-то онъ, по-прежнему, писалъ и отправлялъ много писемъ, но отвѣтовъ не получалъ ни отъ кого. А ждалъ нѣкоторыхъ извѣстій важныхъ, дорого стоющихъ для него матеріально по его асбестовому дѣлу.

— Съ ума они, что ли, сошли? Умерли? Запили всѣ сразу затяжнымъ запоемъ? — волновался онъ о своихъ контрагентахъ.—Я безъ отвѣтовъ, какъ безъ рукъ, не могу ничѣмъ распорядиться. Время идетъ, каждый день стоитъ мнѣ денегъ, а они молчатъ, какъ мертвые.

Точно влюбленный, сторожилъ онъ, въ три почтовые дня Храповицка, телѣжку почтальона, не завернетъ ли она, наконецъ, къ нему на дворъ, но коварная телѣжка, съ злораднымъ грохотомъ, катила мимо, да мимо.

— Нѣтъ ли мнѣ писемъ хоть до востребованія?—наконецъ возопилъ однажды ожесточенный и отчаянный Кобылкинъ въ почтовой конторѣ.

Егоръ Онисимовичъ холодно взглянулъ на него, не замѣтилъ протянутой руки и спросилъ:

— Ваша фамилія?

— Что съ вами, Егоръ Онисимовичъ? Не узнали?... Кобылкинъ я...

— Имя и отчество?

— Андрей Ѳедоровичъ... Что такое? Егоръ Онисимовичъ!.. Я не понимаю...

Жестяной скомандовалъ, не отвѣчая:

— Матвѣевъ, посмотри въ письмахъ до востребованія, нѣтъ ли чего Андрею Ѳедорову Кобылкину.

А затѣмъ обратился къ «Андрею Ѳедорову»:

— Я, сударь, вамъ не Егоръ Онисимовичъ, а начальникъ храповицкой почтовой конторы, да-съ!... А если вамъ это не нравится, то не угодно ли: штабсъ-капитанъ въ отставкѣ, его благородіе, да-съ... Егоръ Онисимовичъ я для людей хорошихъ и добрыхъ-съ, да-съ!... А съ такими, какъ вы-съ, кромѣ оффиціальныхъ отношеній, неизбѣжныхъ по роду моей государственной службы-съ, сохранять не желаю... да-съ! Со всѣми по душамъ-съ, а съ вами по закону... да-съ!

— Нѣту почты Кобылкину!—весело и ухарски безнадежно крикнулъ Матвѣевъ.

— Нѣту-съ вамъ почты до востребованія,—сухимъ эхомъ повторилъ почтмейстеръ.

Какъ ни былъ привыченъ бѣдняга Кобылкинъ къ храповицкимъ репримандамъ до швырянія въ него изъ-за заборовъ полѣньями включительно, но Егоръ Онисимовичъ достигъ полнаго эффекта: злосчастный асбестоискатель удалился изъ конторы, совсѣмъ обезкураженный и ровно ничего не понимая:

— За что?!

Контора ликовала:

— Важно отбрили. Волоска не оставили.

А Жестяной самодовольно отдувался:

— То-то «владѣлецъ роскошныхъ палатъ»... Ты у меня узнаешь роскошныя палаты... Пухлое лицо... Врешь, у самого рожа отъ безсонницы вспухнетъ. Посиди безъ корреспонденціи, Морфей этакій, потоскуй!.. Научись не обижать честныхъ людей постарше тебя!..

Ссора между Жестянымъ и Кобылкинымъ, конечно, не замедлила огласиться въ Храповицкѣ, но истинной причины ея никто не зналъ: почтовая контора хранила свою корпоративную обиду въ тайнѣ, обыватели корреспонденцію «Сибирской Тризны» какъ-то проглядѣли. Впрочемъ, никого не удивило бы, если бы Егоръ Онисимовичъ вызвѣрился на Кобылкина даже и безъ всякаго предлога: презирать и, по возможности, чаще оскорблять злополучнаго козла отпущенія было въ Храповицкѣ такъ обыкновенно, что скорѣе удивлялись, если кто-нибудь обращался съ Кобылкинымъ по-человѣчески, а я, Олимпій Безфамильныхъ, пишущій эти строки, получалъ неоднократно прямые выговоры и упреки, зачѣмъ я принимаю Кобылкина, какъ равнаго.

— Его надо въ шею гнать!.. Гоните его въ шею!..

— За что?

— За вѣроятности!

— Да за какія же?

— По совокупности!

Совершенно сбитый съ толку глупымъ недоумѣніемъ, которымъ теперь вновь такъ внезапно и злобно наполнилась его незавидная жизнь, Кобылкинъ пришелъ ко мнѣ «поговорить». Я посовѣтовалъ ему снестись со своими обычными корреспондентами срочными телеграммами и, такъ какъ онъ былъ уже увѣренъ, что почта его переписку скрываетъ, не уходить изъ конторы, пока не получатся отвѣты. Онъ такъ и сдѣлалъ. Телеграммъ получилъ множество, и всѣ—одного содержанія:

— Писали подробно, удивляемся, что не получаемъ отвѣтовъ.

Съ этими телеграммами Кобылкинъ предсталъ предъ Егоромъ Онисимовичемъ, какъ нѣкій грозный ангелъ. Тотъ весьма хладнокровно выслушалъ его патетическое обличеніе, неспѣшно высморкался, неспѣшно, — будто актеръ,

*

играющій благородныхъ отцовъ на сценѣ, — сложилъ и спряталъ платокъ и учтиво переспросилъ:

— Вы изволите заявлять претензію?

— Да-съ! Изволю! Заявляю! У васъ не контора, а чортъ знаетъ что! У васъ письма пропадаютъ!.. Вы отвѣчать будете!.. Это позоръ, а не почта!.. Безстыдство какое!.. Корреспонденціи скрывать стали?..

Контора, отнюдь не ожидавшая отъ козла отпущенія подобной прыти, разинула всѣ, имѣвшіеся въ ея распоряженіи, рты и окаменѣла отъ ужаса. Но Егору Онисимовичу вдругъ какъ бы нѣчто въ этомъ воплѣ и понравилось:

— Позвольте, позвольте, — холодно остановилъ онъ Кобылкина. — Вы наговорили совершенно достаточно... да-съ... достаточно... Свидѣтелей тоже довольно-съ... очень хорошо... да-съ... Я прошу присутствующихъ прислушаться и запомнить, что этотъ господинъ, ворвавшись къ намъ въ контору, производитъ буйство, позволилъ себѣ выражаться, будто учрежденіе государственной почты — чортъ знаетъ что, и нанесъ мнѣ оскорбленіе при исполненіи служебныхъ обязанностей, взводя на меня, кромѣ того, клевету, будто я скрываю его письма... Не говоря уже о непристойномъ тонѣ его крика...

— И очень радъ!—взревѣлъ въ конецъ взбѣшенный Кобылкинъ.—Судъ, такъ судъ. По крайней мѣрѣ, какая-нибудь гласность...

Жестяного, при этомъ зловѣщемъ словѣ, сильно покоробило.

— О всемъ дальнѣйшемъ мы съ вами на судѣ и объясняться будемъ-съ,—холодно сказалъ онъ слегка перекошеннымъ ртомъ,—теперь же не вижу надобности и не имѣю профилактической возможности. А что касается вашего заявленія о недоставкѣ вамъ корреспонденціи, потрудитесь подать его письменно.

Кобылкинъ подалъ.

— Будьте любезны засвидѣтельствовать вашу подпись

у нотаріуса или въ участкѣ,—очень вѣжливо попросилъ Жестяной.

— Зачѣмъ?

— Для удостовѣренія личности. Чтобы я зналъ, что вы именно то лицо, которое обозначено въ заявленіи.

— Это издѣвательство, наконецъ!—закипѣлъ Кобылкинъ.

Жестяной пожалъ плечами:

— Я не имѣю чести васъ знать.

— Десять лѣтъ знали, а теперь вдругъ и не знаете?

— Кого я знаю-съ, кого не знаю-съ, это мое дѣло-съ. А засвидѣтельствованія отъ лицъ, мнѣ неизвѣстныхъ, я имѣю обязанность требовать по закону-съ. И требую-съ. Почему мнѣ должно быть извѣстно: Кобылкинъ вы или нѣкто, называющій себя Кобылкинымъ, съ цѣлью присвоить себѣ его, настоящаго Кобылкина, переписку? Да и что же? развѣ вамъ ужъ такъ трудно или неудобно получить законное засвидѣтельствованіе? Паспортъ-то, вѣроятно, все-таки у васъ есть.

— Ну, припомню я ему это его «все-таки»!.. припомню!..—неистовствовалъ Кобылкинъ, бурнымъ смерчомъ крутясь по моему кабинету.—Все припомню. Запищишь ты у меня, старая крыса!

Получивъ роковое заявленіе съ засвидѣтельствованіемъ подписи, Жестяной заговорилъ еще любезнѣе:

— Прекрасно-съ. Съ ближайшею почтою я препровожу его въ губернію.

— Какъ въ губернію? Это что за штуки?

— Никакихъ штукъ. Какъ же иначе, милостивый государь? Вѣдь это—что-съ? Жалоба за безпорядки въ моей конторѣ и лично противъ меня съ. Слѣдовательно, по долгу службы, обязанъ я представить ее моему непосредственному начальству; начальство, ознакомившись съ вашею жалобою, пришлетъ мнѣ о ней запросъ, я по сему случаю дамъ ему должный отвѣтъ, а за симъ въ скоромъ

времени вы получите изъ губерніи извѣщеніе о результатѣ...

Кобылкинъ, слушая съ разинутымъ ртомъ, мысленно прикидывалъ разстоянія: недѣля — на путешествіе до Пупска его заявленія, другая недѣля—на странствіе изъ Пупска запроса, еще недѣля — на отвѣтъ почтмейстера, еще недѣля—на резолюцію... Итого, мѣсяцъ на одни разъѣзды «дѣла» туда и обратно, не считая обязательныхъ и возможныхъ задержекъ.

— И все это время я не буду получать писемъ...— уныло резюмировалъ онъ смыслъ дѣла въ умѣ своемъ.

И палъ духомъ. И рѣшилъ сдаться на капитуляцію.

## VI.

Тѣмъ же вечеромъ пришлось отправиться къ Жестяному съ объясненіями за Кобылкина уже мнѣ, разсказчику. Сговориться съ почтмейстеромъ оказалось нелегко. Уперся на своемъ:

— Кобылкинъ-съ? Это какой? Не знаю-съ... Незнакомъ... Не помню такого въ городѣ-съ и не желаю вспоминать-съ... А что тутъ какой-то господинъ Кобылкинъ у меня въ конторѣ буйство произвелъ-съ, о томъ я уже рѣшилъ возбудить дѣло-съ въ судебномъ порядкѣ-съ. А что этотъ же Кобылкинъ заявленіе о письмахъ сдѣлалъ, тоже не моя теперича забота-съ, но моего непосредственнаго начальства въ округу-съ, къ которому заявленіе господина Кобылкина съ завтрашнею почтою и отправляется-съ...

— Ну, полно вамъ, Егоръ Онисимовичъ,—уговаривалъ я старика,—ну, съ какой стати вамъ такъ воевать? Ну, упечете вы Кобылкина подъ непріятности; да вѣдь и сами рискуете, и вамъ можетъ быть нехорошо. Кобылкинъ тоже ужасъ какъ взвинтился, рветъ и мечетъ. Хочетъ въ Петербургъ телеграфировать.

Ужъ лучше бы я не пугалъ! Жестяной, съ воздѣтыми къ небесамъ дланями, такъ и взвился предо мною:

— Хоть самому министру-съ! Пожалуйста! Съ моимъ удовольствіемъ-съ! Готовъ-съ! Душенька, Олимпій Вене диктовичъ! Я въ этомъ дѣлѣ чистъ, правъ, безъ зацѣпочекъ, на каждый наималѣйшій пустячекъ свой отвѣтъ имѣю-съ. Неужели вы, душенька, зная мою аккуратность, могли повѣрить, чтобы я противъ господина Кобылкина совершилъ что-либо, несогласное съ закономъ-съ? Все по закону, душенька. По закону и правиламъ. А коль скоро я законъ и правило соблюлъ въ совершенной строгости, то кого же на свѣтѣ я могу страшиться и трепетать? Никакой профилактической возможности!

— Гдѣ же все по закону, Егоръ Онисимовичъ? Вѣдь письма-то, недоставленныя Кобылкину, дѣйствительно, лежатъ у васъ въ конторѣ. Ему кто-то изъ письмоносцевъ проговорился...

Егоръ Онисимовичъ, ничуть не смутясь, кивнулъ головою:

— Я и не отпираюсь, что есть... Семнадцать штукъ.

— Какъ же такъ? Вѣдь это...

Должно быть, я посмотрѣлъ на Жестяного довольно дико, потому что онъ самодовольно улыбнулся и прошелся предо мною козыремъ.

— Ага, то-то... Молода, въ Саксоніи не была...

Вижу: въ самомъ дѣлѣ, плотно утвердился на какой-то сваѣ этотъ Соловей-разбойникъ, если съ такимъ яснымъ челомъ и такъ открыто признается въ прямомъ преступленіи по должности. Попробуемъ, стало быть, перемѣнить тактику и зайти съ другого фронта.

— Егоръ Онисимовичъ, батюшка!—взмолился я,—ну, довольно, ей-Богу, довольно! Ну, что, въ самомъ дѣлѣ? Полютовали,—и будетъ, пора пожалѣть человѣка. Да не зайдетъ день въ гнѣвѣ вашемъ! Что тамъ—все законъ, да законъ? Сами же говорите, что въ степи однимъ закономъ

нельзя жить, а надо по душамъ. Такъ, Богъ съ нимъ, съ закономъ, вы уже лучше по душевному-то... Такъ, просто для меня, развяжите вы Кобылкина.

Нахмуренныя брови почтмейстера выпрямились.

— Ага, поняли-съ? Законъ и душу-то какъ я обожаю,—говорю,—поняли-съ? Вотъ-съ, желалъ я, чтобы и господинъ Кобылкинъ попялъ... Вамъ угодно, чтобы я его простилъ? Извольте-съ, прощаю... Эй, Матвѣевъ, принеси сюда письма господина Кобылкина!.. Вотъ-съ, Олимпій Венедиктовичъ, получите-съ, на вашу совѣсть-съ... Всѣ семнадцать штукъ, и впередъ будетъ получать корреспонденцію безъ задержки... Такъ и скажите, что для васъ я его простилъ.

Мнѣ, конечно, слѣдовало бы возразить, что, если ужъ кто прощаетъ въ этомъ случаѣ, то Кобылкинъ почтмейстера, а никакъ не почтмейстеръ Кобылкина. Но, зная Жестяного, я промолчалъ, чтобы не начинать снова исторіи, которою бѣдняга Кобылкинъ былъ утомленъ до истерики. А въ то же время ужъ очень было мнѣ любопытно, на какой таинственный фортель такъ твердо уповалъ почтмейстеръ, когда осмѣлился на противозаконную задержку писемъ. Къ счастію, ему, въ упоеніи побѣды, самому захотѣлось похвастаться.

— Да-съ, вотъ вамъ, душенька,—каковы законъ-то и правила, если ихъ въ полнотѣ соблюдать... Да-съ! сколько огорченія господинъ Кобылкинъ получилъ, а сдѣлать со мною въ отместку рѣшительно ничего не можетъ... Никакой профилактической возможности... Письма недоставлены, а я очень спокоенъ.. И хоть сто ревизоровъ-съ!.. И никакой вины моей нѣтъ!..

— Вотъ этого-то я и не понимаю, Егоръ Онисимовичъ, почему вины нѣтъ?

— Потому, душенька, что я сдѣлалъ съ его письмами только то, что, если бы мы жили въ большомъ городѣ, я былъ бы обязанъ сдѣлать со всякимъ-съ.

— То-есть?

— Очень просто, душенька: если они ему не доставлены, то это не значитъ еще, что они ему не доставлялись.

— Куда же они ему доставлялись, Егоръ Онисимовичъ, если Кобылкинъ ихъ не получалъ?

Жестяной лукаво скривился:

— А куда слѣдовало, туда и доставлялись, душенька, по обозначеннымъ на нихъ адресамъ. У меня всѣ оправдательныя отмѣтки на лицо, какъ слѣдуетъ... Вотъ-съ, не угодно ли взглянуть?

Я пересмотрѣлъ письма: адреса были направлены на разныя квартиры, въ которыхъ жилъ Кобылкинъ въ послѣдніе годы, но ни на одномъ не было его настоящаго адреса. Очевидно, онъ еще не успѣлъ извѣстить своихъ корреспондентовъ о новой квартирѣ. Да и кто у насъ въ Храповицкѣ заботится о точности своего адреса? Храповицкъ, такому-то—совершенно достаточное назначеніе въ городѣ, гдѣ всѣ другъ друга знаютъ въ лицо и встрѣчаются по десяти разъ на день.

— Всѣ письма аккуратнѣйше доставлялись, душенька,—ласково пѣлъ старикъ.—Благоволите взглянуть отмѣточки. Билетики приклеены... справочки... Не доставлено за ненахожденіемъ адресата... Справка объ адресѣ не получена за неимѣніемъ дворника и домовой книги... Адресата на новомъ мѣстожительствѣ не оказалось... Адресатъ полиціи не извѣстенъ.

— Это-то какимъ образомъ можетъ быть?—изумился я.

— Очень обыкновенно, душенька. Полная профилактическая возможность! Полицейская отмѣтка выдается на основаніи прописаннаго паспорта и отмѣтки о переѣздѣ изъ одной квартиры въ другую, а—когда же въ Храповицкомъ прописываются паспорта и отмѣчаются перемѣны мѣстожительства? Въ заводѣ нѣтъ такого, да и не дай Богъ, чтобы завелось. Храповицкъ—не Россія. Живемъ просто, по-сосѣдски, по душамъ.

— Такъ. Ну,* а почему вы не отдали Кобылкину писемъ, когда онъ приходилъ за ними лично?

— Онъ, душенька, не спрашивалъ ихъ. Онъ спрашивалъ, нѣтъ ли ему писемъ до востребованія. Писемъ до востребованія ему не было, мы и отвѣтили, что нѣтъ.

— Развѣ письма съ неполнымъ или неточнымъ адресомъ не считаются письмами до востребованія?

Егоръ Онисимовичъ даже развеселился.

— Такъ—съ неточнымъ же или неполнымъ!.. А у него какой же неточный или неполный?

Онъ взялъ одно изъ писемъ Кобылкина и прочелъ:

— Пупской губерніи, городъ Храповицкъ, Собачья улица, домъ Забулдыжкиной. Очень даже полно и точно. Но только по этому полному и точному адресу господина Кобылкина въ городѣ не оказалось, и законною справкою дальнѣйшее мѣстопребываніе его не обнаружено... А посему должны его письма поступить въ разрядъ не до востребованія, но недоставленныхъ. Если бы назначеніе было просто въ Храповицкъ, Кобылкину, это—до востребованія. А такъ, съ полнымъ адресомъ, который невѣрный, это—недоставленное письмо. Кабы онъ тогда меня о недоставленныхъ письмахъ спросилъ, я бы ему такъ и отвѣтилъ: есть, подайте заявленіе. А онъ—до востребованія...

— Тьфу,—даже плюнулъ я,—изъ пустяковъ такую казуистику развели! Да не все ли равно? Вѣдь онъ живетъ отъ почты черезъ четыре дома...

— Конечно, душенька, все равно,— согласился почтмейстеръ,—въ столицѣ не все равно, гдѣ писемъ десятки тысячъ, а у насъ такое дѣленіе никогда не практикуется. Но, въ правилѣ, оно можетъ практиковаться и даже должно... Поняли-съ?.. Когда вы со мною по-хорошему, я такъ и понимаю, что все равно... Ну, а ежели ты со мною собачишься, да вздумалъ мнѣ правилами въ глаза тыкать, то— вотъ тебѣ, на, твои правила! Кушай ихъ во всей полной препорціи, получай! Въ законахъ ли, ду-

шенька, въ правилахъ ли,—ни пустяковъ, ни мелочей нѣтъ. Каждою буквою, каждою запятою можно, душенька, отравить жизнь человѣку, если принять оныя къ дѣлу послѣдовательно и до остатняго конца. Да-съ. Я человѣкъ смирный, должность моя маленькая, чинъ небольшой, содержаніе получаю незначительное... Но коль скоро требуется, чтобы укусить,— зубки себѣ найду съ и напакостить каждому сумѣю въ лучшемъ видѣ-съ. А ужъ такому, какъ господинъ Кобылкинъ, наипаче-съ, потому что теперь весь городъ очень меня одобряетъ, какъ умственно я эпитимью эту на него наложилъ. Весьма не обожаютъ его у насъ въ городѣ... Вы ему скажите, чтобы онъ глупости эти бросилъ, корреспонденціи писать... Хуже будетъ, со всею профилактическою возможностью.

— Да онъ клянется, что и не думалъ писать...

Жестяной хитро прищурился:

— Ладно-съ!

## VII.

Мѣсяцъ спустя я читалъ въ «Сибирской Тризнѣ» оповѣщеніе отъ редакціи: «Обыватель города Храповицка, Андрей Ѳедоровичъ Кобылкинъ обратился къ намъ (увы, уже не въ первый разъ!) съ просьбою засвидѣтельствовать, что не онъ—авторъ корреспонденціи о почтовыхъ порядкахъ въ городѣ—цкѣ, помѣщенной въ № 666 нашего изданія. Съ удовольствіемъ исполняя просьбу г. Кобылкина, считаемъ нужнымъ прибавить, что указанная корреспонденція къ городу Храповицку и не относилась. Вообще, невинной корреспонденціи этой суждено было вызвать большой переполохъ въ мѣстномъ почтовомъ міркѣ. Въ редакцію нашей газеты единовременно поступили опроверженія фактовъ корреспонденціи отъ почтовыхъ конторъ: верхне-ослецкой, нижне-ослецкой, многодурацкой и другихъ. Такъ какъ ни одной изъ сказанныхъ почтовыхъ конторъ корреспонденція не имѣла въ виду, то мы и не печа-

таемъ ихъ опроверженій. Той же почтовой конторѣ, которая въ ней дѣйствительно описана, предлагаемъ воспользоваться статьею 138 цензурнаго устава».

Я принесъ газету Жестяному. Онъ смутился.

— Гм... Выходитъ, я даромъ кровь себѣ портилъ...

— И не одному себѣ, Егоръ Онисимовичъ... Вы Кобылкину очень повредили.

— Кобылкину что... Ему и Богъ велѣлъ... Въ этомъ не виноватъ, такъ за что-нибудь другое зачтется. А вотъ я-то страдалъ... Да!.. Жаль, жаль... Совсѣмъ занапрасно...

Подумалъ, покачалъ головою, потомъ повеселѣлъ и, щелкая перстомъ по газетѣ, вскочилъ:

— Душенька! А всѣ городочки, всѣ— цки-то наши любезные, выходитъ, всѣ однимъ мѵромъ мазаны! Въ одно зеркало посмотрѣли, и всѣ себя узнали... Да, еще бы: всѣ люди, всѣ человѣки... Законъ-то—сила, а мы-то слабы! Какъ тутъ по закону служить? Не осилишь: ты къ обывателю снисходи, а обыватель къ тебѣ... Чтобы по душѣ было! А иначе—никакой профилактической возможности!

Возвращаясь отъ Жестяного домой, я, не безъ нѣкотораго ужаса, думалъ:

— Это самый добрый служака въ Храповицкѣ... Что же сдѣлалъ бы на его мѣстѣ съ Кобылкинымъ другой?!.. Злой?!..

# Чалдоніада.

# I.

Имя покойнаго Н. М. Ядринцева довольно громко и у насъ, въ Европейской Россіи. Сибирь же предъ нимъ благоговѣетъ. Въ Барнаулѣ Ядринцеву поставленъ памятникъ, и,—хотя, по слухамъ, онъ нескладенъ, а надпись на немъ безграмотна,—все-таки, сибиряки—молодцы, что поспѣшили отблагодарить своего энергичнаго и талантливаго бытописателя, не выжидая дальнихъ сроковъ и крупныхъ годовщинъ. Сибирь имѣла множество Колумбовъ, но Ядринцевъ—ея Америго Веспуччи. Въ этомъ, уже трехсотлѣтнемъ, но до сихъ поръ почти новомъ свѣтѣ постоянныхъ открытій и піонерскаго движенія впередъ, Ядринцевъ самъ, лично, ничего не открывалъ, зато привелъ въ систему и извѣстность открытое до него. Благодаря Ядринцеву,—и едва ли не исключительно ему,—Сибирь, начиная съ семидесятыхъ годовъ истекшаго столѣтія перестала слыть, въ мнѣніи русскихъ образованныхъ людей, легендарною страною хаотическихъ случайностей, запутанныхъ въ неразрѣшимые узлы, капризовъ быта, исторіи, закона, даже природы... Ядринцевъ, что называется, разобрался въ Сибири и помогъ разобраться другимъ: помогъ подчинить ея безконечную, чудовищную пестроту твердой, логической теоріи, обоснованной на массѣ фактическихъ доказательствъ, живыхъ свидѣтельствъ, провѣренныхъ наблюденій.

Подступаться къ сѣдымъ тайнамъ Сибири, не получивъ ключа къ нимъ отъ Ядринцева,—на мой взглядъ,—столь же неблагоразумно, какъ, напр., читать рѣчи Цицерона, не изучивъ предварительно латинскаго синтаксиса. Въ послѣднемъ случаѣ, передъ вами, вмѣсто стройныхъ и изящныхъ періодовъ, очутится груда безсвязныхъ словъ и фразъ, понятныхъ, каждое и каждая, въ отдѣльности, но темныхъ и непереводимыхъ въ сцѣпленіи общей конструкціи. Въ первомъ—еще вящшій хаосъ наглядныхъ явленій, легко усвояемыхъ сами по себѣ, но, по мѣрѣ накопленія, слагающихся въ противорѣчивую, безтолковую, почти фантастическую кашу, которую куда легче заварить, чѣмъ расхлебывать. Современная Сибирь—эпическій образъ-великанъ, вродѣ Правды въ извѣстной былинѣ-притчѣ А. К. Толстого. Поѣхали семеро братьевъ искать Правду на землѣ, и всѣ нашли. Но, такъ какъ подъѣхали они къ Правдѣ съ семи разныхъ концовъ, то—кто увидалъ Правду темнымъ лѣсомъ, кто—широкою степью, кто—высокою горою, кто—душечкою красною дѣвицею. И каждый, наглядѣвшись на Правду, какъ она ему показалась, отъѣзжалъ восвояси, унося свою особую правду въ душѣ, чтобы жить ею, стоять за нее и, во имя ея, биться-рубиться съ остальными шестью братьями хоть до смерти. А, умирая, завѣщалъ сыновьямъ и внукамъ, чтобы хранили его правду, не опуская стяга,—«стояли бы за правду до послѣдняго».

Такова, за весьма немногими исключеніями, литература о Сибири до Ядринцева. Имѣла Сибирь восторженныхъ хвалителей, были у нея суровые враги. И тѣ и другіе, равно какъ и третьи—примирители, пытавшіеся ихъ согласить,—писали о Сибири правду. И не ихъ вина, что правда на правду возставала, правда отрицала правду! Просто—къ одному Сибирь повернулась грознымъ урманомъ, лѣсомъ темнымъ, другого охватила унылою степью, третьяго прельстила могучею рудоносною горою, четвертому жалостно скинулась вымирающею, инородческою

душою—красною дѣвицею. Правы всѣ. Правы Екатерина II и Козодавлевъ, рекомендовавшій Сперанскому видѣть въ Сибири «наши Мехико и Перу». Правъ и Герсевановъ съ суровымъ приговоромъ, что «Сибирь, питаясь соками Россіи, сама мало отъ того тучнѣетъ, а отнимаетъ силы у своей кормилицы»...

Послѣ безчисленнаго множества разнорѣчивыхъ правдъ, мнѣ кажется, что очень трудно, даже невозможно написать о Сибири неправду. Край этотъ, самъ по себѣ, столь невѣроятенъ и въ хорошую, и въ дурную сторону, что ни превознести его выше достоинства, ни оклеветать не хватитъ фантазіи даже у барона Мюнхгаузена. Къ неправдоподобіямъ сибирской дѣйствительности, ежедневно, ежечасно наблюдаемымъ, такъ скоро привыкаешь, что и самъ не замѣтишь, какъ уже пересталъ имъ удивляться. Къ слову записать: этой способности—удивляться—почти вовсе нѣту въ характерѣ сибиряковъ; ихъ легко заинтересовать, они любопытны и любознательны, но изумить ихъ чѣмъ-либо, озадачить—весьма мудрено. Суровая природа и бурная исторія переработали русскихъ колонизаторовъ Сибири въ расу, закаленную холодною, практическою разсудочностью на случаи рѣшительно всѣхъ неожиданностей жизни. Всякой внезапности сибирякъ удивительно скоро, легко и здравомысленно находитъ надлежащее мѣсто въ общемъ укладѣ своей мысли, въ общемъ строѣ своего быта. Кажется, Горасъ Вальполь говорилъ, что первое свойство истиннаго джентльмэна—никогда не выказывать удивленія. Если такъ, то сибирякъ-мужикъ, сибирякъ-купецъ—первые джентльмэны въ мірѣ. Ни нечаянная радость, ни нечаянное горе не застаютъ ихъ неподготовленными. Это, конечно, очень хорошо, но, въ то же время, едва-ли не именно поэтому сибирскія радости выходятъ какъ-то вялы и неразительны, а сибирскія печали вызываютъ къ себѣ меньше сострадательнаго сочувствія, чѣмъ, напр., горе россійскаго крестьянина, который подъ недородомъ, пожа-

ромъ, падежомъ скота, всегда бѣдуетъ безпомощно и растерянно, какъ подъ громомъ съ яснаго неба.

Прикладная сообразительность, трезвая сухость ума подавляюще господствуетъ въ сибирякѣ надъ фантазіей. Ко мнѣ ходитъ за работою мужикъ-скорнякъ, сибирскій уроженецъ въ третьемъ поколѣніи, малый неграмотный, но умный, любознательный. Если застаетъ меня за книгою,— непремѣнно спроситъ, о чемъ я читаю, и, если не пойметъ, о чемъ, то слѣдуетъ второй вопросъ: зачѣмъ это нужно? Намедни онъ пришелъ, когда я просматривалъ красивое изданіе извѣстнаго красноярскаго книгосбирателя Юдина— титовскій сборникъ старинныхъ русскихъ статей о Сибири, титулованный: «Сибирь въ XVII вѣкѣ». Мнѣ пришло на умъ прочитать моему гостю древнѣйшее русское описаніе Сибири, еще до Ермака, въ XV вѣкѣ,—именуемое: «О человѣцѣхъ незнаемыхъ на восточной странѣ и о языцѣхъ разныхъ». Скорнякъ выслушалъ сумбурную фантастику курьезной повѣсти очень серьезно и внимательно. Потомъ сказалъ:

— Все это надо понимать въ другомъ смыслѣ.

— То-есть?

— Оно—не сказки, что здѣсь говорится, только невразумительно написано, безъ знанія, по молвѣ людской...

— Неужели вы повѣрили, что была самоядь, у которой ротъ помѣщался на темени, а пищу жевать ей приходилось плечами?

— Нѣтъ, такихъ людей не могло быть.

— Такъ какъ же?

— Такъ, что одежда у тамошней татарвы безобразная. Зашьется, косматый идолъ, въ шкуры,—смотрѣть дивно. И впрямь свѣжему человѣку,—особенно, съ первой-то страсти,—не разобрать: есть у него, мохнатаго, голова или одно брюхо на двухъ лапахъ.

Онъ подумалъ, помолчалъ и добавилъ:

— А, можетъ быть, то и не люди вовсе были?

— Кто же? черти?

Скорнякъ презрительно усмѣхнулся:

— Зачѣмъ черти? Просто звѣрье.

— Ну,—возразилъ я,—трудно это, что вы говорите: какъ звѣрей за людей принять?

Скорнякъ упорствовалъ:

— Ничего нѣтъ мудренаго. Вотъ вы сейчасъ читали тоже про другихъ самоѣдовъ, будто они все лѣто лежали въ морѣ, а безъ того, вишь, на нихъ кожа отъ солнца лопалась...

— Линная самоядь,—сказалъ я, заглянувъ въ книгу.

— А, по моему разуму,—тюлени.

— Да что вы?!—невольно разсмѣялся я, пораженный неожиданно оригинальною догадкою.

— Право, тюлени. Вся ихняя морская повадка.

Изъ десяти грамотныхъ великороссовъ, слушающихъ сказку, трое вѣрятъ фантастическому вымыслу на слово; трое понимаютъ, что имъ читаютъ небылицу не въ поученіе, но ради художественнаго удовольствія; трое, скептики по инстинкту, прямолинейно скажутъ: чепуха! —но развѣ одинъ задумается: не поискать ли въ чепухѣ реальной основы, задняго смысла? А безграмотный сибирякъ сразу пускаетъ въ ходъ анализъ, сразу беретъ быка за рога и, смотря въ корень вещей, ищетъ ихъ практической возможности.

Въ полную противоположность эпику-великороссу и лирику-малороссу, сибирякъ совершенно лишенъ дара и склонности къ поэтическому творчеству. За триста лѣтъ существованія, сибирячество не создало ни мѣстной былины, ни пѣсни, ни сказки. За то оно—хорошій хранитель стараго русскаго слова и обряда, которые проникли за Уралъ изъ московскаго царства еще съ Ермакомъ и съ Воейковымъ. «Кирша Даниловъ»—памятникъ сибирскаго происхожденія.

Ритуалъ сибирской свадьбы въ любой семьѣ,—крестьян-

*

ской ли, купеческой ли,—до сихъ поръ сохраняетъ укладъ и этикетъ удѣльнаго княжого двора: тысяцкаго, большого и малаго боярина, дружку-вѣжливца съ полудружьемъ, постельника и т. д. Богатый сибирскій мужикъ пируетъ свой брачный союзъ, какъ пировали Владиміръ Красное Солнышко съ княгинею Евпраксіею, Потокъ-богатырь съ Авдотьею-Лебедью. На людной почестной свадьбѣ курганскаго, кузнецкаго, минусинскаго, енисейскаго края можно бы чувствовать себя совсѣмъ, какъ во второй картинѣ пушкинской «Русалки», если бы... дружко, полудружье, тысяцкій, большой и малый бояре не щеголяли въ пиджакахъ вѣнскаго привоза готоваго платья, не носили лакированныхъ ботинокъ, не сѣдлали носовъ пенснэ съ синими стеклами.

Послѣдняя мода—отраженіе политической ссылки, поставляющей въ Сибирь, по преимуществу, людей книжныхъ, а потому близорукихъ и слабыхъ глазами. Что ссыльнымъ сказанной категоріи подражаютъ здѣсь, что они, такъ сказать, руководятъ хорошимъ тономъ, неудивительно. Насколько сибирякъ ненавидѣлъ и гналъ уголовнаго посельщика, навязаннаго ему на шею русскимъ судомъ, настолько же хорошо уживался онъ съ ссыльными политическими, начиная еще съ декабристовъ, выгодными ему своимъ образованіемъ, техническими и иными знаніями, трудами по изслѣдованію края. Ссыльный, долго жившій въ Якутской области, разсказывалъ мнѣ, что тамъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, произошла престранная эволюція въ русскомъ языкѣ, свидѣтельствующая о весьма замѣчательномъ извращеніи понятій. «Русскій» въ этомъ полуинородческомъ, объякученномъ краю значитъ уголовный ссыльный посельщикъ; «преступникъ»—ссыльный политическій. Такъ какъ первыми тяготятся, а вторые, наоборотъ,—народъ нужный: и письмо написать, и бумагу казенную, куда должно, направить, и законъ растолковать, и газетою подѣлиться,—то оказывается, что быть

«русскимъ» въ городахъ. «Якутки» гораздо непріятнѣе, чѣмъ быть «преступникомъ».

— Намъ писали письма,—увѣрялъ мой собесѣдникъ, —начинавшіяся обращеніемъ: «Многоуважаемый господинъ преступникъ»!.. И затѣмъ—приглашеніе въ гости или какая-нибудь просьба. Новичкамъ, только-что изъ Россіи, конечно, было дико слышать: первоначально обижались, сердились. Потомъ привыкали...

Но возвращаюсь къ свадьбѣ, пиджакамъ, лакированнымъ ботинкамъ, синимъ пенснэ. Петербургскій читатель! Я вижу изъ моего далека, что ты насмѣшливо улыбнулся, махнулъ на меня рукою и отложилъ въ сторону мой разсказъ:

— Ну, молъ, это тоже въ родѣ самояди со ртомъ на темени! Откуда онъ выкопалъ такихъ невѣроятныхъ мужиковъ?

Но запомнимъ, какъ общее правило, разъ навсегда то, что я сказалъ въ началѣ статьи: нѣтъ ничего невѣроятнѣе Сибири! А потому я сейчасъ же оправдаю себя и посрамлю тебя, скептикъ читатель! Мои слова подтвердятъ тебѣ не только сибирскіе бытописатели, въ родѣ Щапова и Ядринцева, но даже оффиціальный документъ. Киренскій исправникъ, ротмистръ Паули, глядя на деревенское франтовство во ввѣренномъ ему уѣздѣ, пришелъ въ такое негодованіе, что умолялъ начальство формальною жалобою «прекратить этотъ развратъ», воспретивъ пріисковымъ бабамъ носить вѣнскія кофточки въ 35—40 р., а парнямъ—соперничать съ чиновными джентльмэнами шикомъ бобровыхъ шапокъ и лакированныхъ калошъ.

Образованный молодой чиновникъ зоветъ меня «на граммофонъ».

— Единственный въ городѣ!

— Да, я думаю, и въ цѣломъ округѣ?

— Нѣтъ, въ уѣздѣ, у богатыхъ мужиковъ, можно встрѣтить.

— Откуда?

— Выписываютъ по рекламамъ. Вѣдь, у нашихъ сибирячковъ прямо алчное пристрастіе ко всякимъ фокусамъ-новинкамъ. Однѣхъ электрическихъ машинокъ что̀ разсыпано по деревнямъ! Даже на китайской границѣ... Кто только ихъ сюда завозитъ!.. А сколько у насъ самоучекъ-механиковъ! Получитъ сибирякъ въ руки этакую штуку, въ родѣ хотя бы граммофона: первое удовольствіе—разобрать машину, понять, чѣмъ дѣйствуетъ, въ чемъ сила... Разбирая, конечно, испортитъ что-нибудь, сломаетъ. Тогда наступаетъ очередь наслажденія № 2: дойти своимъ умомъ, какъ починить инструментъ. Чинитъ, чинитъ,—глядь и дошелъ: починилъ. Огромныя у нихъ на этотъ счетъ способности и смѣтка. Одинъ недавно мембрану слюдовую потерялъ,—и ничего: вставилъ въ граммофонъ новую, собственнаго изобрѣтенія. И, при томъ, самаго нехитраго: просто догадался приспособить къ аппарату целлулоидную пластинку съ папиросной коробки...

— И работаетъ граммофонъ?

— Ништо! хрипитъ, но играетъ...

А въ то же самое время, деревни и села, гдѣ въ нарядныхъ расписныхъ домахъ обитаютъ эти граммофонщики и тысяцкіе въ пенснэ, должны время отъ времени переноситься со старыхъ пепелищъ на новыя по сосѣдству, потому что «больно заназмились», т. е. по уши утонули въ навозѣ и нечистотахъ. И, въ то же время, изъ ставцій, которыя мнѣ случилось сдѣлать на лошадяхъ, ни на одной—сельскій староста не зналъ грамотѣ, а про содержателей земскихъ квартиръ, про ямщиковъ,—нечего и говорить! И въ то же время нарядную модницу, въ вѣнской кофточкѣ, танцующую подъ граммофонъ,—послѣ ея свадебной ночи, свекоръ и свекровь водятъ передъ гостями въ одной рубашкѣ, дабы, по мѣстному выраженію Курганскаго округа, «опубликовать» хорошее поведеніе молодицы. Дѣйствительно.. публикація.

Грамотный мужикъ изъ коренныхъ сибиряковъ – рѣдкая птица. «Я самъ знаю деревни,—говоритъ пылкій сибирскій патріотъ, д-ръ Прохоровъ,—гдѣ одинъ извозъ даетъ нѣсколько десятковъ тысячъ, и гдѣ этимъ промысломъ занимается вся деревня, гдѣ, слѣдовательно, всѣ крестьяне богаты и всѣ поголовно безграмотны: зато 10 «вольныхъ» продажъ питей замѣняютъ школы»... При всемъ томъ,—странное дѣло! неграмотность не принижаетъ сибирскаго мужика съ такою мертвящею силою, какъ нашихъ россійскихъ крестьянъ. Въ русской деревнѣ грамотнаго отъ неграмотнаго привычный наблюдатель легко отличитъ по глазамъ, по выраженію лица,—почти всегда не къ выгодѣ «темнаго». Здѣсь и грамотные, и неграмотные какъ-то поверстались въ одну стать, все равно нахватавшись поверхностнаго лоска, показной бойкости, смѣлаго, смышленаго, полуинтеллигентнаго тона. Откуда въ разговоръ сибирскаго мужика, мѣщанина, мелкаго купца проникло такое множество иностранныхъ словъ? Вы слышите: «масса», «натурально», «эффектъ»...

— Гдѣ вы научились такъ говорить?

— Обращаясь съ образованными людьми...

— Книги читаете?

— Нѣтъ, не приходится.

— Отчего же?

— Да я—неграмотный.

Попадаются, однако, въ этой смышленной массѣ и хвастуны, которые, сознавая свою внѣшнюю интеллигентность и уповая на плутоватость, имъ отъ Бога данную, хитро играютъ роль грамотныхъ предъ темными, сѣрыми людьми. Весьма курьезный типъ этой категоріи попался мнѣ навстрѣчу на одной станціи. Моему спутнику надо было получить со старосты расписку объ уплатѣ прогоновъ.

— Э, братъ служивый, — весело возразилъ староста,—придется за писаремъ послать: я писать не мастеръ.

Я очень удивился его безграмотству: мы только-что

поговорили подробно о бурахъ и англичанахъ, при чемъ староста обнаружилъ огромный запасъ свѣдѣній и замѣчательно острую память...

— Какъ же ты, братецъ мой,—шутливо упрекнулъ мой спутникъ:—этакой деревнѣ начальство, а писать не могишь?

— А такъ и не могу,—возразилъ неунывающій староста,—учился, да не доучился. Что мнѣ писать? Пусть писарь пишетъ. Моя печаль—печатью хлопнуть. Вотъ она, печать-то: при мнѣ. Это я могу въ лучшемъ видѣ.

Я вмѣшался.

— Читать, значитъ, вы, все-таки, умѣете?

Староста храбро отозвался:

— По печатному? Сколько угодно!

— А не врешь?—вдругъ почему-то усомнился мой спутникъ.

Староста обидѣлся.

— Зачѣмъ врать? Писать я не умѣю,—такъ вамъ и сказалъ, что не умѣю. А читать обученъ. Какъ можно не читать?

— А ну-те-ка, прочтите!—предложилъ я ему мамоновскій «Путеводитель».

Староста сперва принялъ-было видъ оскорбленный.

— Зачѣмъ же мнѣ вамъ читать? Вы сами можете прочитать: грамотные.

Но мой спутникъ подзадоривалъ:

— Нѣтъ, ты прочти, прочти,—а то не повѣримъ. Чтобы была видимость, что не хвастаешь.

Ямщики—прежній и новый—и стряпка земской квартиры съ любопытствомъ глядѣли на эту сцену: очевидно, экзаменъ старосты на грамотнаго человѣка былъ для нихъ не лишенъ значенія.

Староста взялъ «Путеводитель» въ руки, уставился на страницу и... вдругъ, разсмѣявшись, положилъ книгу на столъ.

— Ловокъ ты, баринъ!—сказалъ онъ:—ишь, затѣялъ шутить съ мужикомъ...

Я смутился.

— Что ты? Богъ съ тобою! какъ шутить?

Онъ язвительно щелкнулъ по книгѣ пальцемъ и съ глумливою разстановкою произнесъ:

— А зачѣмъ ты мнѣ французскую книжку далъ? Самъ читай! Я тебѣ не студентъ—французскія книжки разбирать...

И съ эффектомъ вышелъ, оставивъ меня въ остолбенѣніи, какъ жену Лотову... Видалъ я неуязвимыхъ и мѣднолобыхъ людей, но,—чтобы такъ великолѣпно и нагло лгали въ глаза,—никогда!!!

Мой спутникъ, который отлично зналъ и въ дорогѣ читалъ мой «Путеводитель», тоже опѣшилъ... Потомъ сообразилъ, въ чемъ фортель, да такъ и залился хохотомъ:

— Ну, не каторжный ли? ну, не варнакъ ли? Ахъ, ты, желѣзный посъ, каменное рыло! То есть, какая эта Сибирь есть продувная,—въ семи книгахъ не описать!

При всѣхъ этихъ негодующихъ восклицаніяхъ, онъ, самъ сибирякъ, былъ, кажется, весьма доволенъ находчивостью земляка.

А тотъ,—я видѣлъ въ окно,—расхаживалъ по двору павлиномъ, объясняя что-то съ большимъ жаромъ досужимъ ямщикамъ,—должно быть, мое коварство: какъ я его, старосту, хотѣлъ надуть и заставить читать по-французски.

## II.

Многіе интеллигентные сибиряки, одержимые «патріотизмомъ своего отечества», очень не любятъ памяти одного русскаго писателя-народника, которому суждено было провести между ними долгое время и который изучилъ ихъ,—

и мѣстный бытъ, и мѣстную психологію,—въ совершенствѣ. Я говорю о покойномъ Николаѣ Михайловичѣ Астыревѣ. Какъ извѣстно, приговоръ, произнесенный Астыревымъ надъ характеромъ и нравами сибирскаго крестьянина-старожила,—по мѣстной шуточной кличкѣ «чалдона»,—былъ не изъ ласковыхъ. Народолюбіе и правдивая искренность Николая Михайловича такъ общеизвѣстны и авторитетны, что противъ его мнѣнія нельзя протестовать ни обвиненіемъ въ тенденціозной выдумкѣ, ни въ предвзятой антипатіи. Поэтому сибирскіе интеллигенты, обыкновенно, стараются доказать новому въ ихъ краяхъ человѣку, что Астыреву фатально не везло въ его крестьянскихъ знакомствахъ, почему онъ сибирскаго мужика и не понялъ. Покойный писатель—мой товарищъ по гимназіи, бывшій старше меня двумя или тремя классами. Встрѣчалъ я его и впослѣдствіи, уже послѣ его служенія въ волостныхъ писаряхъ и сибирскихъ очерковъ. Всѣ его статьи, если не ошибаюсь, безъ исключенія,—печатались въ «Вѣстникѣ Европы» и «Русской Мысли»,—достаточное указаніе, къ какой группѣ народниковъ-прогрессистовъ онъ долженъ быть причисленъ. Человѣкъ онъ былъ честнѣйшій; умъ его былъ сильнѣе таланта: писать объ явленіи, не понявъ его и не обдумавъ до корня, было рѣшительно не въ характерѣ Астырева. Народъ онъ любилъ до самозабвенія, не на громкихъ словахъ, а на живомъ дѣлѣ, искалъ въ немъ правды житейской, зналъ глубины его и тайны, какъ рѣдко кто даже изъ народниковъ. Но былъ онъ изслѣдователь, испытатель и описатель, а не льстецъ, и любящую руку почиталъ обязанною не все и не за все по головкѣ гладить: дурныя стороны народнаго уклада обличалъ безъ всякаго сентиментализма, съ безбоязненною рѣзкостью и суровостью. Приглядываясь къ сибирякамъ старожиламъ, я все болѣе и болѣе убѣждаюсь, что, наградивъ ихъ неласковымъ прозвищемъ «каменныхъ сердецъ», Николай Михайловичъ не удалился отъ истины,—и не предубѣжденіе вызвало его

на это горькое слово,—конечно, не дешево, не мало душевной борьбы стоившее ему, мужиколюбу, прежде чѣмъ оно сказалось, — но наблюденіе опытное, внимательное, безпристрастное. Историческія силы, которыми сложилось сибирское обывательство: ермачество, авантюризмъ бѣглаго изъ крѣпостной Россіи, или силою переселеннаго люда, казацкое положеніе, свирѣпое истребленіе инородцевъ, ссылка, пріиски выработали сибирское крестьянство въ массу, необычайно способную умственно, дѣловитую, самостоятельную, сильную, всегда и всюду практически находчивую, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, столь пицшеански сверхчеловѣческую, что въ сношеніяхъ съ ней иной разъ оторопь беретъ даже самыхъ пылкихъ и самоотверженныхъ энтузіастовъ «мужикофильства». Сибирскій крестьянинъ, хотя почти совершенно лишенный грамоты, поражаетъ наблюдателя своимъ высокимъ умственнымъ развитіемъ, своею природною интеллигентностью. Естественнымъ умомъ, свободою мысли и обращенія онъ, никогда не знавшій крѣпостного права, положительно давитъ переселенца, даже грамотнаго, изъ внутреннихъ губерній русскихъ, въ которомъ рабской приниженности и суженнаго, фаталистическаго міросозерцанія не могли еще истребить исполнившіяся сорокъ лѣтъ крестьянской свободы. Сразу видать между ними разницу: то ли пришлый жалкій мякинникъ, то ли надменный вольница-старожилъ, выкормленный на многодесятинныхъ запашкахъ тучныхъ хлѣбовъ. Но, съ другой стороны, Сибирь—поучительнѣйшая страна для проповѣди на текстъ: «Не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ», огромнѣйшая обличительная лекція въ укоръ всѣмъ врагамъ широкаго народнаго образованія. Поживъ среди сибирскаго крестьянства и имѣя съ нимъ дѣловыя сношенія, эти господа постигли бы горькимъ опытомъ, что ни острый природный умъ населенія, ни крупная его матеріальная зажиточность не благоустрояютъ страны, если умъ не просвѣщенъ завѣтами сознательной человѣчности, если богат-

ствомъ не управляютъ начала цивилизаціи, обучающей человѣка видѣть въ другомъ человѣкѣ друга и брата, а не волка себѣ. Все, отчего зависитъ матеріальное благополучіе крестьянина, въ хлѣбной Сибири радуетъ взоръ и душу; все, что соприкасается съ духовнымъ міромъ, все, что опредѣляетъ взаимоотношенія человѣческія, тяжело, мрачно, жестоко,—сплошная власть тьмы, къ тому же еще и непокаянная, безъ Никиты и Акима, все больше съ Матренами да Анисьями и соотвѣтствующими имъ характерами мужского пола. И захватываетъ эта власть тьмы человѣка въ когти свои еще въ колыбели и воспитываетъ его злобою своею отъ младыхъ ногтей...

Подъ окнами моей квартиры играютъ дѣти.

— Молчи, Стенька Разинъ,—слышу я, привѣтствуетъ младенецъ младенца.

— Язви те,—возражаетъ обруганный милымъ мѣстнымъ пожеланіемъ,—самъ с... с..., жиганъ, горбачъ разнесчастный.

Заинтересовало меня недавно, во что они изо дня въ день и съ одинаковымъ всегда увлеченіемъ играютъ.

— Какая будетъ его вина?—съ важностью вопрошаетъ мальчуганъ лѣтъ девяти, возсѣдающій на завалинкѣ, въ величественной позѣ. Предъ нимъ другіе мальчуги держатъ, кто за воротъ, кто за плечи, мальчугу лѣтъ одиннадцати, съ закрученными за спину руками. Плѣнный мальчуга дико озирается, плюется, говоритъ скверныя слова,—вообще, пытается изобразить лѣсного живорѣза, полнаго звѣрства и самой лютой отчаянности.

— Что же ты ругаешься?—восклицаетъ мальчикъ на завалинкѣ.—Городовой, дай ему въ морду, чтобы не ругался.

Разъ!.. Бѣднягѣ, что называется, вкочено по первое число. Онъ воетъ благимъ матомъ, выкликая въ самомъ угрожающемъ тонѣ:

— Это что же будетъ за порядокъ, чтобы въ морду?

Однако, не дозволено! Нонѣ не тѣ времена. Коли я убивецъ, ты изволь меня судить, а въ морду бить не смѣешь.

— Городовой, дай ему еще!

Опять вкóчено. Малый, постигнувъ разницу между теоретическою утопіей права и живою онаго практикою, сопровождаемою столь вѣскими аргументами, смиряется и умолкаетъ въ покорной позѣ, впрочемъ, шипя à parte:

— Ты, Сенька, чортъ, варнакъ россійскій, для чего всамдѣлѣ въ морду бьешь? Ты долженъ примѣръ дѣлать, а не всамдѣлѣ драться. Коли такъ, я вѣдь и изъ игры вонъ.

Мальчикъ на завалинкѣ начальнически продолжаетъ допросъ:

— На какой винѣ пойманъ?

— На слободкѣ, однако, цѣлу семью вырѣзалъ,—заявляетъ одинъ изъ держащихъ «городовыхъ».

— Какъ такъ? Ахъ, ты...—разсыпая свое негодованіе въ трехъэтажныхъ словахъ, восклицаетъ начальникъ.

— Чего вырѣзалъ?—огрызается подсудимый.—Вырѣзалъ!.. Ты докажи, что вырѣзалъ. Кто видѣлъ, какъ я рѣзалъ? Гдѣ свидѣтели? Можетъ, это ты ихъ рѣзалъ, али вотъ его высокородіе, а на меня валите...

— Городовой, дай ему въ морду, чтобы не грубилъ.

Слѣдствіе было окончено. Раздался властный приговоръ:

— Сорокъ плетей и наложить ему клейма на рожу.

«Городовые» и публика суда скораго, хотя и не милостиваго, привѣтствовали рѣшеніе радостными воплями и окружили преступника съ такимъ воинственнымъ азартомъ, что я не выдержалъ, вступился: вѣдь, того гляди, тоже не станутъ «дѣлать примѣра», а изуродуютъ парня, сдуру, самымъ настоящимъ образомъ,—высунулся изъ окна, кричу:

— Что вы? съ ума сошли? Отпустите его сейчасъ же.

Но проходящій, очень солидный, сѣдобородый мѣщанинъ, съ улыбкою, безмятежно и ласково отозвался мнѣ съ улицы:

— Не извольте, милостивый государь, безпокоиться. Это они не дурное что: въ бѣглаго играютъ. Вамъ, какъ изъ Петербурга, однако, не въ привычку, а у насъ она— старинная игра, отецкая: дѣдушки наши игрывали и дѣтки играютъ.

Преступникъ, тѣмъ временемъ, вырвался отъ своихъ истязателей и убѣжалъ.

— Лови, лови!—неистовствовалъ начальникъ.

— Лови, лови!—вопила и мчалась ребячья толпа.

А бѣглецъ дикимъ звѣремъ рявкалъ издали:

— Что? Много взяли, чалдоны проклятые? Чтобъ вамъ...—грянулъ цѣлый градъ самой каторжной ругани.— Теперича я съ вами, дружки, посчитаюсь. Однако, всіехъ сожгу. А толстопузому Сенькѣ кишки выпущу.

Потомъ я къ этимъ милымъ забавамъ прислушался. Главными дѣйствующими лицами въ нихъ являются: начальникъ, преступникъ, городовые и палачъ,—на послѣднюю роль всегда много охотниковъ, потому что отъ палача принято откупаться, чтобы не больно наказывалъ. Кары всегда свирѣпыя: плети десятками, клейма. Сколько лѣтъ уже отмѣненъ этотъ ужасъ, и вымерли клейменыя поколѣнія, а въ народной памяти клейма все еще живы, и о нихъ лепечутъ невинныя дѣтскія уста. Преступленія, въ которыхъ обвиняются бѣглые, все самыя тяжкія: убійства семьями, поджогъ, конокрадство, «бабу обидѣлъ» и т. п. Судили какъ-то разъ и политическое преступленіе.

На Троицынъ день приходитъ ко мнѣ въ гости незнакомый молодой человѣкъ, прилично одѣтый, солидности необыкновенной, возрастомъ лѣтъ этакъ десяти.

— Пожалуйте на чай.

— За что?

— Я здѣшній.

— Такъ что же?

— Я выучилъ двѣнадцать праздниковъ.

— Молодецъ.

— Я каждый праздникъ хожу поздравлять.

— Какъ же ты поздравляешь?

— А такъ: прихожу и говорю — «пожалуйте на чай».

— И даютъ?

— Однако, да. Я по россійскимъ хожу.

— За что же все-таки даютъ-то?

Молодой человѣкъ выразилъ на веснушчатомъ лицѣ своемъ нѣсколько нетерпѣливое недоумѣніе и возразилъ:

— Да за двѣнадцать же праздниковъ.

— Даромъ что ли онъ ихъ училъ?—язвительно вставилъ въ нашъ разговоръ свое слово мой кучеръ,—курскій переселенецъ, ненавистникъ чалдоновъ, какой только можетъ зародиться въ гонимой и презираемой сибиряками-старожилами, переселенческой средѣ.—Даромъ что ли онъ ихъ училъ? Ихъ братъ, чалдонъ, въ церкву придетъ, кресты кладетъ, а самъ съ Богомъ торгуется: по скольку гривенъ, Господи, заплатишь за богомольице?

Молодой человѣкъ на эту ехидную реплику и ухомъ не повелъ.

— Есть у тебя отецъ и мать?

— Однако.

— Бѣдные?

— Нѣтъ? Зачѣмъ? Домъ здѣсь имѣемъ.

— Такъ что же они посылаютъ тебя попрошайничать по дворамъ? Скажи имъ, что такъ, братъ, неладно.

— Они меня не посылали. Это я самъ.

— Самъ догадался?

— Ну!—подивился я:—ловкій же изъ тебя растетъ «сихъ дѣлъ мастеръ».

— Сказано: чалдоны,—проворчалъ кучеръ.—Ну, виданное ли у насъ въ Россіи дѣло: хорошей семьи отецкій сынъ въ кусочки ходитъ. У нищихъ хлѣбъ отбиваешь. Отъ земли тебя не видать, а совѣсти уже нѣтъ.

Молодой человѣкъ и тутъ остался невозмутимымъ, словно не человѣкъ съ нимъ говорилъ, а жужжала гдѣ-то

презрѣнная, ненужная муха: пропасть у нихъ выдержки, родовой, наслѣдственной! Стоитъ и смотритъ мнѣ въ лицо своими ясными, какъ снѣгъ, сибирскими глазами,—этими удивительными глазами, которые всегда въ твои глаза прямо въ упоръ уставляются, но ничего въ нихъ не прочтешь: глубина—какъ занавѣшена. Сверху ясно, открыто, благодушно и благолѣпно, а пониже—словно заслонка задвинута, стальная, блестящая, лоснистая. И «постороннимъ входъ въ сію душу воспрещается». «Глаза хрусталь, а сердце сталь»,—говоритъ о сибирякахъ арестантская пословица.

Далъ я молодому человѣку двугривенный. Онъ выразилъ на лицѣ своемъ довольство, повернулся и ушелъ, не сказавъ ни «спасибо», ни «прощай».

— Учи еще,—говорю ему въ догонку.

Оглянулся съ видомъ, ясно возражающимъ:—Нашелъ дурака!

И исчезъ за воротами. А кучеръ резюмировалъ сцену:

— Выучитъ онъ: дожидайтесь. Онъ теперича свое ухватилъ. Стало быть, натуру свою оправдалъ, а на прочемъ,—съ тѣмъ насъ и возьмите.

Кучеръ былъ правъ и въ отношеніи не одного только наивно-грубаго мальчугана-поздравителя. Въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ столицы сибиряки—изъ лучшихъ и передовыхъ студентовъ; курсистки-сибирячки—работницы, какихъ давай Богъ побольше всякому храму науки. Но, во-первыхъ, это—соль земли, отборный цвѣтъ сибирскаго юношества. Во-вторыхъ, и въ нихъ практическій засолъ сказывается часто и сильно. Покуда сибирякъ въ столицѣ, подъ вліяніемъ лекцій профессорскихъ и товарищескаго кружка, эгоистическая сухость натуры его, конечно, значительно умягчается,—у иныхъ на всю жизнь, у другихъ—до возвращенія въ родныя палестины, «къ своему дѣлу». Выходятъ изъ сибиряковъ Ядринцевы, но выходятъ и кабатчики съ университетскимъ значкомъ въ петлицѣ, спаивающіе ино-

родцевъ и переселенцевъ сквернѣйшею въ мірѣ водкою. Выходятъ и «бестужевки»—золотопромышленницы, доводящія своихъ рабочихъ до открытыхъ бунтовъ съ усмиреніемъ военною силою. Всякое знаніе здѣсь должно быть практично; практичнымъ же признаются постольку, поскольку оно способно превращаться въ немедленную звонкую монету.

Сибирякъ, вообще, весьма равнодушенъ къ ученію для ученія. Но, подобно моему мальчугану-поздравителю, сибирякъ учится очень охотно,—что, кстати, при его огромныхъ усвоительныхъ способностяхъ, и очень ему легко,—когда за двѣнадцать праздниковъ «россійскіе» даютъ двугривенные. Въ то же время сибирякъ смѣтливъ: онъ понимаетъ, что двугривенные даются россійскими собственно не за то, что праздниковъ двѣнадцать, но въ поощреніе жажды знанія, чрезъ изученіе двѣнадцати праздниковъ обнаруженной. Будучи отъ природы глубокимъ сердцевѣдомъ по коммерческой психологіи, онъ знаетъ также, что чужую жажду знанія рѣдко кто оцѣниваетъ суммою выше двугривеннаго, и, слѣдовательно, если сумма эта завоевывается безъ труда знаніемъ въ размѣрахъ двѣнадцати праздниковъ, то рѣшительно безполезно развивать размѣры знанія дальше: больше двугривеннаго ничего изъ нихъ не выростетъ, и всякій праздникъ, сверхъ первыхъ двѣнадцати, останется въ головѣ какъ бы мертвымъ капиталомъ, не приносящимъ процентовъ.

Дѣти жадны, дѣти жестоки. Я нигдѣ не встрѣчалъ дѣтей, болѣе ненужно и тупо безжалостныхъ. Выхожу, однажды, на берегъ Енисейской протоки. Мальчикъ знакомый подходитъ. Смотритъ на мою собаку, потомъ на плетку-свору, которую я держу въ рукѣ:

— Ахъ, хорошій у васъ бичикъ!

— Недуренъ.

— Ременчатый,—констатируетъ мальчуганъ съ уваженіемъ,—вы имъ часто собаку сѣчете?

— Никогда. Она у меня смирная, послушная.

— Кабы стебнули,—продолжаетъ юнецъ, мечтательно примѣриваясь очами и къ плеткѣ, и къ собакѣ,—такъ шкуру насквозь и просадитъ! Кровь пойдетъ. Хорошій бичикъ!

Жестокіе дѣтскіе нравы извѣстны теоретически, не только практически, даже животнымъ. Завелъ я гусей. И никакъ не могъ понять, отчего они упорно не хотятъ плавать у городского берега: чуть выпустишь ихъ на воду, глядь, они уже по ту сторону рѣки.

— Они, баринъ, ребятишекъ боятся,— говоритъ стряпка.—Потому знаютъ: ребята того не пропустятъ, чтобы надъ чужою птицею не озоровать.

Я не повѣрилъ въ гусиную предусмотрительность, но впослѣдствіи долженъ былъ убѣдиться, что, дѣйствительно, умная птица только до тѣхъ поръ спокойна на водѣ, покуда не завидитъ на берегу какую-нибудь розовую, либо оранжевую рубаху на полроста человѣческаго. Появленія рубахи достаточно, чтобы птица, не ожидая дальнѣйшихъ враждебныхъ возможностей, съ шумомъ и гоготаніемъ снялась съ мѣста и спѣшила уплыть на разстояніе, гдѣ не достанутъ ее ни камень, ни чурка. Къ слову сказать, гусь, много оклеветанный на счетъ своей сообразительности, наоборотъ, кажется мнѣ, уменъ необычайно, и напрасно Иванъ Ивановичъ оскорбился когда-то на Ивана Никифоровича за сравненіе съ гусакомъ. Взять ту же гусиную войну съ дѣтьми. Быть можетъ, то была случайность, но нѣсколько разъ приходилось мнѣ замѣчать, что если на берегу, кромѣ дѣтей, есть и взрослые, то гуси не обращаются въ бѣгство, какъ бы понимая, что, въ случаѣ нападенія, есть кому за нихъ заступиться. Отъ ребятишекъ же безпризорныхъ они удираютъ, куда глаза глядятъ. «Сей возрастъ жалости не знаетъ».

Обидѣть животное ни за что, ни про что прямо спортъ какой-то у юнаго чалдона. Спрашиваю знакомаго ямщика:

— Отчего пересталъ посылать сынишку съ лошадьми?

— Кормà дороги. Боюсь.

— Да, вѣдь, самъ-то продолжаешь ѣздить, гоняешь коней?

— Я коня понимаю, а парню, по нонѣшнимъ дорогимъ кормамъ, довѣрить его никакъ невозможно. Потому что парнишки эти, надо прямо говорить,—что черти. Посулитъ проѣзжающій цѣлковый на чай за станокъ, — онъ тебѣ коня не пожалѣетъ, зарѣжетъ въ лучшемъ видѣ: хоть полѣномъ по ребрамъ, а заставитъ скакать пятнадцать верстъ въ часъ. Съ убѣжки конь пропадетъ. Когда кормà дешевые, ништо—зачѣмъ не баловать? Ну, а какъ овесъ то семь гривенокъ пудъ, тутъ ужъ надъ скотиною разбойничать надо оставить: пожалуй, обочтешься.

— Такъ ты бы просто запретилъ ему озорничать, а то что же: лишаешься работника...

— Запретишь ихнему брату! Говорю тебѣ: черти. Они, какъ возжи въ рукахъ, сами надъ собою не властны: истинно дурѣютъ... Никакого разумѣнія: только бы летѣть, какъ ошалѣлымъ. Оно, точно, что̀ и говорить: сласть—ѣзда, утѣха молодецкая. Да, кабы кормы дешевые! А то, вѣдь, милый ты человѣкъ, сталъ мнѣ каждый конь въ прошлую зиму двугривенникъ въ день. Какъ же, опосля того, мнѣ его за рубль серебра на убой посылать? Никакого разсчету.

Затѣялъ я познакомиться съ мѣстною фауною, объявилъ на базарѣ, что буду покупать дикихъ звѣрушекъ и ничужекъ. Понесли ихъ ко мнѣ во множествѣ, но въ какомъ видѣ! Вмѣсто маленькаго звѣринца, я собралъ ветеринарную лѣчебницу. Все измученное, искалѣченное, и видно, что каждымъ пойманнымъ звѣремъ, до продажи, забавлялись долго и жестоко,—не добили только потому, что надо сдать его живьемъ: за дохлыхъ баринъ не платитъ.

У насъ въ округѣ—великое множество волковъ. По веснѣ мужички ходятъ, выслѣживаютъ волчьи «гнѣзда» съ маленькими волчатами. Выслѣдивъ, они не убиваютъ буду-

щихъ хищниковъ; много ли прока съ волченка? Шкурка не стоитъ выдѣлки, поэтому волчатъ оставляютъ «до шкуры» на выкормку старымъ волкамъ. А чтобы, подростая, выводокъ не разбѣжался, привязываютъ его къ гнѣзду слѣдующимъ животнолюбивымъ способомъ. Выслѣдивъ, когда старые волки уходятъ на добычу, забираются въ гнѣзда и выжигаютъ или выкалываютъ всѣмъ волчатамъ глаза. Старые волки ни за что не оставятъ дѣтей своихъ на погибель и скорѣе будутъ сами голодать, а ужъ слѣпыхъ волчатъ выкормятъ и выпоятъ. Когда волчата выростутъ въ молодыхъ волчковъ, промышленникъ снова выбираетъ удобное время, чтобы придти и пришибить слѣпыхъ звѣрей, безъ всякаго отъ нихъ сопротивленія. Если попадетъ въ руки промышленнику молодая лиска, онъ ее тоже сразу не убьетъ, а переломаетъ ей ноги и оставитъ расти, пока шкура не войдетъ въ красоту и цѣну. Наивно жестокій способъ выкормки молодыхъ волковъ чрезъ родителей ихъ, слѣпыми, на свободѣ, падаетъ тяжелымъ живымъ налогомъ на стада. Чтобы выкормить пятерыхъ ненасытно прожорливыхъ волчатъ, не мало ягнятокъ и жеребятокъ должна унести волчиха. Правда, что и выкрасть молочныхъ щенятъ отъ старыхъ волковъ—для мужицкаго хозяйства не подарокъ. Лишенная щенятъ, волчья пара свирѣпствуетъ и жестоко мститъ. Мужикъ привезъ мнѣ волчій выводокъ. Я взялъ пэру щенятъ. Они ухитрились ночью убѣжать, притомъ, самымъ романическимъ образомъ: изъ мезонина со второго этажа, по наклону дождевой трубы; какъ имъ въ этакой гимнастикѣ помогла нелегкая, рѣшительно ума не приложу; затѣмъ, умные звѣри переплыли широкій рукавъ Енисея въ половодье и исчезли на острову такъ чисто и безслѣдно, что ни одной собакѣ ихъ не разыскать. Пришлось купить другую пару, ихъ брата и сестру. Обошлось мнѣ все это удовольствіе, по совокупности, въ три рубля. Пріѣзжаетъ какъ-то вскорѣ другой мужикъ изъ той же деревни, откуда мой охотникъ.

— Баринъ, много ли далъ Пахому за волчатъ?

— Три цѣлковыхъ.

— Ну, намъ они, небось, ужъ рублей во сто вскочили.

— Какъ такъ?

— Матка больно озлилась. Что ни ночь, то двухъ-трехъ жеребятъ рѣжетъ. И не уноситъ: такъ только—зарѣжетъ и броситъ. Со зла.

— Какъ же вы, ребята, такъ неосторожно? Если знали, что мать жива, такъ либо ее убить надо, либо дѣтей не трогать.

— Да мы уже ругали его, крѣпко ругали.

— Кого?

— Пахомку.

— Ну, а онъ?

— Смѣется: у меня, говоритъ, жеребятъ нѣту, сталобыть, съ меня ей, чертицѣ, взятки гладки, а три рубля—деньги. Опо, конечно, деньги. Хоть кому доведись взять, возьметъ.

Я замѣтилъ:

— Особливо, коли чужакъ, притомъ своей скотины не держитъ, тому мірская бѣда въ полбѣды.

— Кто у насъ не чужакъ-то?—спокойно возразилъ мужикъ.—Какой ужъ у насъ міръ? Всякъ на свой коштъ своякъ: чужая нужда никого за мошну не тянетъ.

Россійскій мужикъ непремѣнно подумалъ бы въ такой оказіи, не отзовется ли его добыча вредно на общественномъ стадѣ; россійскаго мужика, доведи онъ дѣло съ волками до крестьянской бѣды, засрамили бы всѣмъ міромъ. Чалдонское крестьянство,—во всемъ своемъ быту, отдѣльно, домъ отъ дома, одиночкою живетъ, всякъ самъ на себя промышляетъ, самъ о себѣ думаетъ, самъ предъ собой отвѣтствуетъ. Не разсчитываетъ чалдонъ много на сосѣдскую помощь, не считается много съ сосѣдями въ выгодахъ и невыгодахъ.

Зимою по многимъ деревнямъ безснѣжной степи тре-

щатъ ночные выстрѣлы. Это наѣзжіе удалые добрые молодцы держатъ въ осадѣ усадьбу какого-нибудь богатѣя-мужика или попа съ тугимъ карманомъ. Осажденный съ семьею отстрѣливается изъ-за ставень — опять-таки своею семьею. Сосѣди — не помощники; ихъ хата съ краю, они ничего не знаютъ. Заступись за сосѣда, — значитъ, разбойникамъ врагъ, значитъ, и въ твою избу стрѣлять будутъ. Въ 1902 году Верхне-Енисейскій край пережилъ недородъ. По сравненію съ бѣдствіями недородовъ россійскихъ, здѣшнее несчастіе было совсѣмъ невинно, но непривычка житницы Сибири къ безхлѣбью и къ безкормицѣ, неподготовленность и безпечность населенія обострили бѣду до серьезныхъ размѣровъ. Отсутствіе порядочныхъ путей сообщенія ставитъ хлѣбное дѣло на верхнемъ Енисеѣ въ такое странное положеніе, что — когда тутъ урожай, хлѣбъ, по высокимъ пароходнымъ и желѣзнодорожнымъ тарифамъ, некуда везти, съ мѣста трогать не стоитъ; а когда тутъ голодъ, — то не откуда сюда дешеваго хлѣба привезти. Здѣшній край еще надолго обреченъ жить своимъ хлѣбомъ въ самого себя: что родилъ, то и съѣлъ. Недаромъ, именно отсюда вышла проповѣдь Тимоѳея (въ іудействѣ Давида) Бондарева, сектанта-соціалиста, требовавшаго, чтобы все общество обратилось къ земледѣльческому труду и непремѣнно питалось бы хлѣбомъ собственныхъ рукъ своихъ въ буквальномъ смыслѣ, безъ всякихъ метафорическихъ замѣнъ. Интеллигенціи Бондаревъ предлагалъ что-то въ родѣ лагернаго сбора для отбытія не воинской, а земледѣльческой повинности на два или на три мѣсяца въ году. Этотъ Бондаревъ имѣлъ большое вліяніе на ученіе о трудѣ Льва Николаевича Толстого. Книга его, подъ названіемъ «Трудъ», была напечатана въ Парижѣ во французскомъ переводѣ. Но о Бондаревѣ не надо начинать рѣчь мелькомъ: стоитъ поговорить особо. Вернемся къ предмету. Такъ какъ недороды и слабые урожаи на здѣшней дѣвственной почвѣ — величайшая рѣдкость, и,

обычно, земля родитъ великолѣпно, то, конечно, въ крупныхъ здѣшнихъ хозяйствахъ хлѣбъ никогда не съѣдается цѣликомъ, и въ любой деревнѣ вамъ покажутъ не обмолоченные скирды трехлѣтней, пятилѣтней и болѣе давности. Сухость климата уберегаетъ ихъ отъ гніенія, а постановка на высокіе деревянные козлы—отъ мышей. Весною 1902 г., изыскивая мѣры противъ ожидаемаго голода, крестьянскіе начальники провѣрили наличность хлѣбнаго запаса у богатаго крестьянства. Оказались склады по пятнадцати, двадцати, двадцативосьми, одинъ даже въ тридцать восемь тысячъ пудовъ. Словомъ, если бы можно было расчитывать на отзывчивость мѣстныхъ тысячниковъ, то было бы весьма легко устранить возможность нужды непостыдно и мирно, безъ дорогого привознаго хлѣба. Но тысячники пришипились, выжидая цѣнъ. Въ концѣ-концовъ хлѣбъ свой они продавали для казенныхъ ссудъ, точно милость дѣлали, по рублю за пудъ, наживая на цѣну прошлыхъ лѣтъ по 300%. Да и на эту «жертву» вызвали ихъ только слухи о большихъ залежахъ хлѣба въ Челябинскѣ, а также чаемая возможность, о которой прошла молва, будто правительство объявитъ отчужденіе излишняго хлѣба, по оффиціально нормированной цѣнѣ, обязательнымъ. Объ одномъ складѣ въ двадцать три тысячи пудовъ извѣстно, что весь этотъ хлѣбъ снятъ крестьяниномъ со своего поля, и ни пуда въ складѣ не было покупного. Стало быть, мужичекъ положилъ въ карманъ чистоганомъ тысячъ двадцать, а кругомъ отъ безкормицы, отъ дорогого овса и хлѣба разорились тысячи семействъ,—обезлошадѣли, потеряли до девяноста процентовъ рогатаго и мелкаго скота. Наши русскіе чиновники,—все больше молодежь,—взрощенные въ русскихъ же народническихъ идеалахъ крестьянства, были очень огорчены. И, въ самомъ дѣлѣ, исторія хлѣбнаго продовольствія въ южной Сибири показала имъ совсѣмъ новаго, особаго и неожиданнаго мужичка, не имѣющаго ничего общаго ни съ героями Глѣба Успенскаго, ни съ патріархами Злато-

вратскаго. Предъ организаторами помощи все время стояли два неизмѣнные типа: съ одной стороны, мужикъ-бѣднякъ, совершенно безпомощный въ своей голодовкѣ, потому что онъ—безъ міра, одиночка, не связанный привычнымъ общимъ интересомъ со своимъ «отчествомъ». А съ другой стороны—безжалостный и невозмутимый, встрѣчалъ ихъ, сидя на горахъ запасеннаго хлѣба, тотъ самый легендарный богачъ-мужикъ, который Бога во щахъ слопалъ, такъ ужъ ближнимъ-то своимъ не подавится.

Разобщенность сосѣдскихъ и собирательно-обывательскихъ интересовъ зло сказывается между сибиряками-старожилами не только въ деревенскомъ быту, но и въ городахъ чалдонской глуши, гдѣ, впрочемъ, и мѣщанинъ, и купецъ—тѣ же самые мужики, только званіе имъ другое. Рядомъ съ моимъ домомъ случился пожаръ,—сильный, жуткій, быстро истребительный, какъ всякій пожаръ въ деревянномъ городѣ. Горѣвшій домъ нечего и думать было спасти,—отстаивали сосѣдніе. Одинъ домъ, подъ вѣтромъ, требовалъ отъ пожарныхъ-добровольцевъ прямо нечеловѣческихъ усилій,—люди работали въ пеклѣ; не знаю, какъ и чѣмъ они дышали, однако, сдѣлали свое дѣло вопреки всѣмъ ожиданіямъ, домъ устоялъ. Принадлежитъ онъ богатому купцу. На завтра всѣ горожане, близко живущіе къ пожарищу, въ огромномъ большинствѣ «россійскіе», сочли своимъ долгомъ вознаградить, кто сколько могъ, храбрыхъ работниковъ, выручившихъ насъ отъ неминучей бѣды. Купецъ-домохозяинъ не далъ ни копѣйки.

Говорятъ ему:

— Они спасли вашъ домъ.

— Вольно же.

— Вы могли потерпѣть огромные убытки.

— Это мое дѣло. Мало ли, что могъ. Однако, не потерпѣлъ.

— Да, потому что васъ выручили противъ ожиданія.

— Не просилъ выручать. Ихъ была добрая воля.

Справедливость требуетъ замѣтить, что, дѣйствительно, не просилъ. Его даже и въ городѣ не было во время пожара...

Узналъ я про эту исторію, сталъ купцу, по знакомству, выговаривать А онъ мнѣ весьма хладнокровно въ отвѣтъ:

— Вы нашихъ порядковъ не знаете. Я не отъ скупости; а не дѣло это—за пожарное погашеніе деньги давать. Мало дать,—меня люди, все равно, осудятъ. И ничего не дать,—зубы скалятъ. Такъ лучше ужъ ничего не дать. Чтобы чужой смѣхъ дешевле достался.

— А вы дайте не мало. Вы человѣкъ съ состояніемъ.

— Много нельзя дать. Подожгутъ.

— Какъ подожгутъ? Кто? Зачѣмъ?

— Очень просто: чтобы опять пожаръ тушить и деньги получить.

— Богъ знаетъ, что вы разсказываете. Изъ-за десяти рублей—станутъ люди рисковать такимъ страшнымъ преступленіемъ?

— А что имъ страшнаго? Горѣть не ихнее будетъ, мое, а десять цѣлковыхъ имъ сумма. Притомъ, будь я самъ, лично, на вчерашнемъ пожарѣ,—развѣ бы онъ для меня десятью рублями обошелся? Слупили бы что захотѣли, по торгу бы дѣло пошло. Это теперь они Лазаря поютъ, какъ на даровщинку отстояли. А то овчинку мою вотъ бы какъ вычесали.

— У васъ торгуются съ хозяевами горящихъ домовъ?

— Отчего же не торговаться? Торгъ дѣло спокойное, ряда порядку мать.

— Но, позвольте: вы сами же признаете, что васъ отстояли безъ всякаго торга, на даровщинку. Если они такъ корыстны, какъ увѣряете,—какой же былъ имъ разсчетъ?

Купецъ хитро ухмыльнулся.

— Тягу сообразили подлецы. Домъ мой на цѣлую

улицу дорогу огню давалъ. Кабы не отстояли меня, такъ полымемъ до самого бора городъ вычистило бъ. Тоже вѣдь и у ихняго брата, пролетарія, домишки живутъ. Хозяева.

Въ скоромъ времени купецъ получилъ анонимное письмо: его приглашали положить въ назначенномъ мѣстѣ нѣсколько десятковъ рублей, угрожая въ противномъ случаѣ поджогомъ. Къ сожалѣнію, подобныя письма—весьма частый и нельзя сказать, чтобы пріятный спортъ, услаждающій подонки сибирскаго городского обывательства.

— Вы, конечно, представите эту шантажную записку властямъ?

— Нѣтъ, надо платить.

— Съ какой стати?

— Сожгутъ. Сурьезно пишутъ. Безпремѣнно сожгутъ.

— Не понимаю васъ: мужики, которые отстояли вамъ ваше добро, спасиба отъ васъ не получили, а теперь, по первому анонимному требованію какихъ-то червонныхъ валетовъ, вы готовы жертвовать порядочною суммою.

— Что мужики отстояли, дѣло прошлое: оно заднимъ числомъ пошло. Нечего о немъ и толковать. А мошенники впередъ торгуются. Они съ умомъ. Знаютъ, что мнѣ сейчасъ горѣть больно не разсчетъ.

— Что вы хотите сказать? Горѣть, кажется, никогда не разсчетъ. Почему вамъ сейчасъ не разсчетъ горѣть?

— Потому, что у меня въ подвалѣ стоитъ четырнадцать бочекъ съ керосиномъ. Домъ и имущество застрахованы, а керосинъ нѣтъ. А то—эка невидаль? Мнѣ что? Пожалуй, гори себѣ.

— Четырнадцать бочекъ съ керосиномъ въ самомъ центрѣ деревяннаго города?! Послушайте! да какъ же вамъ позволяютъ?

— Я и позволенія ни у кого не спрашивалъ. Извѣстно: спросись,—такъ не позволятъ. А я просто, умненько: принялъ съ дороги, привезъ вечеромъ, почью вка-

тилъ.— Что у тебя тамъ въ бочкахъ?—Конопляное масло, ваше высокоблагородіе.

— Но какъ же вы сами-то на керосинѣ жить не боитесь?

— Да вѣдь я больше въ деревнѣ,— послѣдовалъ восхитительный отвѣтъ.—Тутъ лѣтуютъ только жильцы да работники.

— Которымъ, въ случаѣ пожара, горѣть и Богъ велѣлъ? Хорошо! Ну, а какъ же на счетъ города то? Онъ у васъ и такъ костеръ-костромъ, а вы ему еще керосину на подтопку?

— Ну ужъ, по-вашему я и за городомъ смотри? Не больно ли жирно будетъ? За городомъ блюсти полиція должна, управа... Тоже обложеніе платимъ.

Недѣли двѣ спустя, какой-то случай навелъ полицію на секретъ керосиннаго склада.

Купца судили, оштрафовали. Недоумѣваетъ: за что такъ крѣпко?

— Великая важность — керосинъ. Своякъ Базаровъ динамиту два пуда держалъ въ сараѣ подъ рогожами: рвать ему на промыслѣ породу надо было, такъ онъ до отправленія и держалъ. И то ничего: помиловалъ Богъ, сошло съ рукъ, никому и въ мысли не вскочило. Такъ— динамитъ вѣдь! нѣшто это керосину чета? Это, точно, аспидомъ надо быть, чтобы динамитъ подъ рогожи прятать. А керосинъ дѣло спокойное, торговое.

Пріѣзжій изъ Россіи, «навозный», какъ здѣсь выражаются, плыветъ въ лодкѣ по «протокѣ»—рукаву Енисея. Какіе то босяки, не босяки,—не то, чтобы вовсе бывшіе люди, но уже и не вовсе сущіе,—удятъ рыбу. Вступаютъ въ разговоръ.

— Вы, господинъ, у Храпоткина квартируете?

— Да, у него.

— Скоро выѣзжать думаете?

— Зачѣмъ? Не собираюсь.

Хлысть!—леса взвивается въ воздухѣ,—на крючкѣ пусто, только болтается объѣдокъ сорваннаго червяка.

— Ишь, подлый! ершишко, надо быть...—негодуетъ рыболовъ. Затѣмъ, налаживая свѣжаго червяка, равнодушнѣйшимъ тономъ какъ бы бросаетъ въ лодку къ россійскому:

— Горѣть онъ скоро будетъ, Храпоткинъ вашъ. Какъ вы выѣдете, такъ ему и горѣть.

— Откуда вы знаете?

— Вона! Кто же этого не знаетъ? Развѣ малыя дѣти.

— Рабочихъ онъ обсчиталъ, или нѣтъ? какое ваше будетъ мнѣніе?—вмѣшивается другой удильщикъ.

— Говорятъ.

— Съ сосѣдомъ у него тяжба?

— Имѣется.

— Вотъ видите. Какъ же ему не горѣть? Обязательно долженъ горѣть. Онъ вамъ для того и домъ отдалъ, чтобы себя уберечь. Потому васъ жечь—никому нѣтъ разсчету. Человѣкъ вы наѣзжій, чужой, капиталъ вашъ не объявленъ, у начальства вы на глазу, стало быть, въ случаѣ чего, оно за васъ взыщетъ, опять же семья у васъ, ребенокъ... Тоже люди соображеніе имѣютъ: зря грѣхъ на душу взять—кому лимонадъ сахаръ? А вотъ, какъ выѣдете вы, тутъ онъ, подлецъ, и запылаетъ.

Енисей рѣка быстрая, могучая, полноводная. Когда на Саянахъ и въ тайгѣ подъ ними таютъ снѣга, разливъ Енисея страшенъ не только въ материкѣ рѣки, но и въ протокахъ. Богатый купецъ, понадѣясь на недавній бродъ, въѣхалъ въ одну изъ такихъ протокъ въ грузной кибиткѣ, запряженной тройкою лихихъ коней, попалъ въ сильную струю и опомниться не успѣлъ, какъ очутился уже за полверсты ниже мѣста катастрофы, въ страшной стремнинѣ полой воды. Какой-то парень бросился спасать купца съ берега вплавь: подвигъ почти отчаянный, не-

многимъ безопаснѣе, чѣмъ, напримѣръ, прыгнуть въ Иматру. Однако, и парню, и купцу везло счастье: выбрались. Купецъ былъ уже въ обморокѣ, часа два приводили его въ чувство, — лежитъ безъ движенія, синій, страшный, какъ доктора говорятъ, in articulo mortis. Кучеръ его погибъ, лошади тоже, тарантасъ со всѣми вещами тоже. Парень-избавитель, отъ ледяной воды, схватилъ страшную лихорадку, слегъ въ постель и потерялъ мѣсто, на которомъ работалъ. Городъ въ волненіи. Всѣ ждутъ, чѣмъ-то отблагодаритъ спасенный купецъ своего благодѣтеля. Такъ какъ купецъ не простой чалдонъ, но хватилъ образованія, то большинство думаетъ: озолотитъ. Скептики говорятъ:

— Озолотить не озолотитъ, а десятку, пожалуй, пожертвуетъ.

Скептики ошиблись. Купецъ, когда парень явился за благодарностью, очень много цѣловалъ его, но не далъ ничего.

Не вытерпѣлъ бѣдный избавитель: сталъ ходить за купцомъ по базару,—куда купецъ, туда и онъ,—и срамитъ скареда срамомъ. Хохотъ и глумъ стоятъ на площади. Одинъ срамимый купецъ—какъ каменный, бровью не шевелитъ, словно рѣчь не о немъ, а о прошлогоднемъ снѣгѣ. Пріятели увѣщеваютъ его:

— Слушай: нехорошо, срамно. Заплати ему хоть за работу, которую онъ потерялъ по твоей милости.

Отвѣчаетъ съ кротостью:

— Однако, за что? Вѣдь не я ему отъ мѣста отказалъ, не у меня онъ работалъ. Кабы у меня, ни за что бы я его не разсчиталъ. Потому, при моемъ образованіи, я могу понимать, что это довольно даже подло своего избавителя разсчитывать. Но, какъ не я его съ мѣста прогналъ, какъ могу я ему за потерю мѣста платить? Не по справедливости, друзья мои, разсуждаете.

— Ну, такъ дай ему мѣсто у себя, въ прикащики его возьми.

— Мѣстовъ-то порожнихъ, други, у меня не припасено.

Избавитель, тоже паренекъ не безъ каторжной наивности, мечется по городу, выкликая голосомъ вопіющаго въ пустынѣ:

— Добрые люди, посмотрите на этого Ирода. За что я тебя, облизьяна невѣрнаго, изъ воды волокъ? Кабы знать, что ты мнѣ въ отвѣтъ рублемъ не плюнешь, развѣ бы я тебя, толстопузаго, тащилъ? Я бы лучше своего брата-мужика, кучера твоего, вытащилъ. Утопъ кучеръ-то, братцы. А я безъ мѣста хожу. Какъ это теперича разсудить?

Публика гогочетъ:

— Это выходитъ ужъ—спустя лѣто, по ягоды.

— Ты бы съ нимъ рядился, покуль онъ въ водѣ былъ.

— Бери съ купца мокраго, сухой самъ съ тебя возьметъ.

— А и жулики же эти береговые мужиченки, шалашники: — вишь, богатаго полѣзъ спасать, а бѣдный тони.

— Вотъ богачъ ему и благодарствуетъ.

— Такъ и надо.

— Не льстись.

— Много васъ, такихъ-то спасителей.

Смѣялись и острили равно надъ купцомъ и парнемъ, но—надо прямо сказать: надъ одураченнымъ избавителемъ больше и рѣзче; его презирали; къ жульничеству спасеннаго утопленника относились даже какъ бы съ скрытою симпатіей; чувствовалось, что купецъ – плоть отъ плоти и кость отъ кости толпы-насмѣшницы, и, какъ онъ выучилъ «дурака», такъ точно и каждый въ ней не прочь своего «случайнаго дурака» тоже выучить:

Чтобъ те солнце не пекло,
Чтобъ съ тя сало не текло,—

какъ поетъ про облапошенныхъ «дураковъ» насмѣшливая арестантская пѣсня...

И купецъ чувствовалъ, что толпа за него. И, чѣмъ больше ярился парень, тѣмъ спокойнѣе и величественнѣе, наоборотъ, становился онъ, купецъ. Каждый жестъ его, каждый шагъ исполнились самаго великолѣпнаго «незамѣчанія». Онъ всею фигурою своею какъ бы говорилъ:

— Глупый человѣкъ, что ты можешь мнѣ противодѣйствовать? Всѣ твои слова — одно нестоющее козлогласіе, а что касающе наградъ, такъ ужъ скорѣе, однако, поди попроси у каменнаго попа желѣзной просвиры...

Увидавъ меня на базарѣ, осклабился, подошелъ, протянулъ руку и сталъ зазывать въ гости—«по случаю полученія наилучшихъ цвѣточныхъ чаевъ».

— И «позвонимъ» за самоваромъ, о чемъ случится. При моемъ образованіи, люблю позвонить съ знающимъ человѣкомъ. Опять же — изволите видѣть: пятнадцатое число, журналы пришли,—быть можетъ, захотите полюбопытствовать. «Русское Богатство» мы нынѣ получаемъ. Прекраснѣйшій журналъ, скажу вамъ, и мыслей благороднѣйшихъ; о меньшомъ братѣ такъ пишутъ,—безъ состраданія читать невозможно. Супруга моя даже плачетъ,—ей-Богу, вотъ такъ слезами и плачетъ. Что съ нихъ взять? Женщина.

---

## III.

— Что съ чалдоновъ взять? Скваттеры, — говорилъ мнѣ, пожимая плечами, мѣстный старожилъ-поселенецъ, давній наблюдатель Сибири, авторъ многихъ книгъ объ ея фаунѣ, ботаникѣ и археологіи...

Скваттеры сами или, по крайней мѣрѣ, отъ крови скваттерской! Потому и одиночки, потому и разобщены, потому такъ удивительно и не вѣрятъ другъ другу, боятся одинъ другого... Предки зачинали ихъ въ лѣсу, между заряженнымъ ружьемъ—противъ звѣря и врага, и топоромъ —для рубки просѣкъ въ чащѣ дѣвственной тайги. Вѣдь едва-ли четверть вѣка отдѣляетъ насъ,—да и то далеко не вездѣ,—отъ тѣхъ романическихъ, эмаровыхъ временъ, когда, лѣсуя, южный сибирякъ, если слышалъ за собою на таежной тропѣ конскій топотъ, спѣшивался, устроялъ засаду и, видя изъ нея, что ѣдетъ вооруженный и незнакомый, не задумываясь, палилъ по немъ, чтобы самому не быть застрѣленнымъ; когда онъ, на одинокомъ лѣсномъ ночлегѣ, не дерзалъ ложиться спать къ костру, а укладывалъ у огня свое чучѣло изъ старой шапки и свернутаго тулупа, самъ же залѣзалъ въ ближніе кусты, съ ружьемъ въ рукахъ, и дремалъ до зари въ полъ-глаза, чутко сторожась противъ ночного нападенія. Живы еще люди, которые сами охотились на «горбачей», предпочитая ихъ бѣлкѣ: «съ бѣлки только шкурку возьмешь, а у горбача и деньжонки есть»,— либо наѣздничали открытою силою противъ инородцевъ. Скваттерская привычка жить за свой страхъ и рискъ, на поруку собственныхъ удачи и молодечества, сказываются въ нынѣ дѣйствующемъ чалдонскомъ поколѣніи атавизмомъ особнячества. Въ Сибири «всѣ за одного, одинъ за всѣхъ»— девизъ, живой только между переселенцами, ссыльно-поселенцами одной партіи, инородцами; въ средѣ чалдоновъ онъ—мертвое слово, иногда повторяемое для красоты слога, но не согрѣтое внутреннею силою. Право перваго захвата, искусство быть щукою въ морѣ, чтобы караси не дремали, вотъ истинныя опоры чалдонскаго быта. Облапошенный старается скрыть позоръ, что его обманули. Облапошившій громко хвалится искусствомъ надуванія. Обманулъ—совершилъ подвигъ. Обманутъ—не можетъ быть горшаго стыда: ужъ затаись лучше съ своею неудачею;

молчи о ней, спрячь ее въ темный уголъ, чтобы люди не дознались. Отношеніе общественное къ обманутому истинно варравинское, изъ «Дѣла» Сухово-Кобылина: «Дуракъ, молъ, ты, искони бѣ чучело и по гробъ полишинель». Жутко слышать, когда сойдутся сибирскіе торговые люди на пиръпированье и въ подпитіи начнутъ излагать бывальщины, которыя покойный Лѣсковъ звалъ «удалецкими сказками». Иногда, право, начинаешь думать, что не можетъ быть такъ, что нельзя спать спокойно, имѣя на совѣсти подвиги, вызывающіе столь краснорѣчивыя признанія; что клеплетъ самъ на себя сибирскій коммерческій герой ради похвальбы молодецкой, по странному пристрастію многихъ русскихъ людей казаться и слыть худшими, чѣмъ на самомъ дѣлѣ. Но—провѣришь потомъ разсказанные факты,—нѣтъ, все правда и даже многое еще умолчано; разсказчики въ эпопеяхъ своихъ благоразумно остановились на границѣ, опредѣляющей разницу между ненаказуемымъ ермачествомъ и преслѣдуемою уголовщиною, а въ дѣйствительности-то, оказывается, было ухъ какъ далеко шагнуто и за эту зыбкую границу. Не знаю, каково сибирское купечество по большимъ городамъ, милліонное, высокообразованное: близъ Красноярска, въ Таракановкѣ—лучшая и богатѣйшая изъ частныхъ библіотекъ въ Россіи водочника Юдина; роль Сибиряковыхъ въ развитіи и изученіи русскаго сѣвера слишкомъ общеизвѣстна, чтобы надо было о ней распространяться; можно подобрать и еще много интересныхъ, симпатичныхъ примѣровъ. Но въ глуши, полукрестьянское, чалдонское, оно—темная, жестокая, коварная сила, и, при этомъ, все равно: въ зипунѣ или съ университетскимъ значкомъ въ петлицѣ сюртука. Для своихъ кулакъ-ростовщикъ, для рабочаго—безжалостный утѣснитель, для инородца—принципіальный обманщикъ и губитель, спирто и развратоносецъ, создатель злѣйшихъ враговъ русскаго имени и вліянія, эксплоататоръ нищихъ: таковъ чалдонъ-коммерсантъ, орудующій подъ Саянами. Онъ до сихъ поръ и

ѣдетъ-то на торгъ въ Сойотію, какъ Ермакъ на Кучума, въ твердомъ рѣшеніи: «пришибутъ меня на промыслѣ, такъ тому быть; надо будетъ мнѣ кого пришибить, рука не дрогнетъ, не помилую». Представитель пограничной администраціи высказываетъ проѣзжему чиновнику свое безпокойство на счетъ одной экспедиціи крупнаго инородческаго купца, ушедшей на китайскую территорію, въ горы.

— Что вы тревожитесь?—удивился чиновникъ,— сойоты такой милый, мягкій народъ.

Администраторъ возразилъ:

— Ахъ, батюшка, и телята бѣсятся... Я не за нашихъ тревожусь: кто этихъ чертей обидитъ?—а боюсь, чтобы наши тамъ бѣды не надѣлали. Имъ барышъ и удовольствіе, а намъ потомъ не расхлебать ихней каши въ три года...

Знаменитаго въ своемъ родѣ чалдона коммерсанта, царька торговаго обмѣна съ сойотами, встрѣчаютъ въ родномъ городѣ, по возвращеніи изъ экспедиціи:

— Иванъ Ивановичъ, да неужели живъ?

— Какъ видите.

— Ну, другъ, велико долготерпѣніе Божіе, а у сойотовъ, кажись, еще больше.

Пресловутый алтайскій и саянскій промыселъ,—добыча пантовъ, молодыхъ роговъ благороднаго оленя, марала. Взятые съ убитаго дикаго оленя, они цѣнятся особенно дорого: это—одинъ изъ главныхъ предметовъ нашей скудной торговли съ Китаемъ. Самая низкая цѣна маральихъ роговъ—по восьми рублей за фунтъ, а взвинчиваются цѣны и до двадцати пяти рублей и выше. Въ 1902 г.,—по свѣдѣніямъ газеты «Енисей»,—они стояли даже въ 50—60 рубляхъ. Маральи рога—семейный подарокъ китайской новобрачной, напутственный ей изъ дома родительскаго, а она, въ свою очередь, подноситъ ихъ молодому супругу. Чрезъ выварку мякоти и обращеніе рогового вещества въ черный порошокъ, вродѣ китайской туши, изъ нихъ добываютъ какое-то необычайно сильное возбуждающее сред-

ство. Курьезно то, что, хотя маралій промыселъ—одинъ изъ серьезнѣйшихъ и доходнѣйшихъ въ краю, никто изъ торговцевъ маральимъ рогомъ не умѣетъ объяснить толкомъ, зачѣмъ,собственно, нужны китайцамъ маральи рога, такъ что и вышесказанное медицинско-эротическое назначеніе ихъ —скорѣе догадка по вѣроятности, чѣмъ достовѣрное знаніе. На мой взглядъ, это невѣдѣніе о товарѣ, которымъ торгуешь, тоже весьма характерная черта для сибирской коммерческой психологіи: вещь важна исключительно тѣмъ, что ее можно продать, а затѣмъ, что она за товаръ, можно ли ее, какъ товаръ, сдѣлать лучше или хуже, что, вообще, можно изъ нея сдѣлать, не годится ли она въ какомъ-нибудь качествѣ для собственнаго хозяйства и обихода,—всѣ эти вопросы не возбуждаютъ въ промышленникѣ ни малѣйшаго интереса. На русской территоріи маральему рогу нѣтъ оборота. Стоимость онъ пріобрѣтаетъ,—и, какъ показано, огромную,—только при сбытѣ китайцу. Поэтому русско-китайская война сильно подорвала маралій промыселъ. Но нѣтъ худа безъ добра. Застой торговли убавилъ число охотниковъ за маралами, и благородный звѣрь, уже сильно истребленный алчнымъ хищничествомъ, отдохнулъ, началъ возрождаться. Убыль марала въ горной тайгѣ давно навела промышленниковъ на мысль, что, чѣмъ убивать животное, обогащаясь отъ него единожды, гораздо лучше обратить его въ живую серію, съ которой можно стричь ежегодно весьма пріятные и цѣнные купоны. Маралъ приручается удивительно легко; превращеніе его въ домашнее животное почти не требуетъ труда. Рога онъ мѣняетъ ежегодно. И вотъ, устроились въ тайгѣ цѣлыя маральи хозяйства, въ которыхъ съ оленя снимается, если и не семь шкуръ, то семь паръ роговъ. Производится это такимъ способомъ. Маралы пасутся въ огромномъ загонѣ, подъ открытымъ небомъ, но за высокимъ частоколомъ. Одинъ изъ угловъ загона суженъ острымъ клиномъ, который на высотѣ роста марала имѣетъ отверстіе съ грядкою для роговъ. Въ извѣст-

*

ное время года, когда молодые роговые отростки, мягкіе и упругіе, полны студенистою жидкостью, придающею имъ цѣну, пастухи гонятъ мараловъ въ этотъ клинъ—до тѣхъ поръ, пока передній олень не высунетъ морду въ отверстіе. Тутъ промышленникъ ловитъ его за рога и, упомѣстивъ на грядку, спиливаетъ ихъ въ уровень черепа. Увѣряютъ, будто операція эта безболѣзненна или, по крайней мѣрѣ, не очень болѣзненна. Я не вѣрю: во-первыхъ, потому, что она производится грубо, съ пилкою не осторожничаютъ, и животныя обливаются кровью; во-вторыхъ, потому что весьма часто случается, что—кончитъ промышленникъ операцію, и въ рукахъ у него остаются драгоцѣнные рога, а животное падаетъ по ту сторону забора мертвымъ, отъ разрыва сердца: такъ, стало быть, ему страшно или больно, а вѣрнѣе, что и страшно и больно. Рога ручныхъ мараловъ цѣнятся дешевле, чѣмъ дикихъ, и спиленные дешевле, чѣмъ рога убитыхъ, съ лобною костью, а въ особенности, снятые съ животнаго въ самый моментъ его смерти. Но, все-таки, и на спиленные рога цѣны всегда стоятъ очень хорошія. Старые рога, сброшенные маралами, въ дѣло не годятся и до послѣднихъ лѣтъ ничего не стоили. Въ настоящее время ихъ стали вывозить въ Германію для мебельнаго и декоративнаго дѣла, потому что красивы они необычайно, и нѣсколько паръ ихъ, повѣшенные по стѣнамъ, въ состояніи придать изящный и внушительный видъ даже самому уродливому залу. Цѣна на старые рога сейчасъ поднялась уже до 6—8 руб. за пару. Ихъ не очень легко находить въ тайгѣ: маралъ, сбросивъ рога, непремѣнно зарываетъ ихъ глубоко въ землю. Работа эта стоитъ ему немалаго труда, такъ какъ хорошіе рога требуютъ себѣ на могилу яму мало-мало двухъ-аршинной глубины и ширины. Что заставляетъ марала устраивать эти трудныя погребенія, не умѣли мнѣ объяснить ни охотники, ни мѣстные свѣдущіе люди.

Торгуютъ съ Китаемъ мараловоды и сами, и черезъ скупщиковъ. Народецъ этотъ тоже не безъ эпопей живетъ

и многія «сказки» про свою удаль имѣетъ. Вотъ одиная изъ таковыхъ: беру наиболѣе будничную, безъ приключеній, смертоубійствъ, наѣздничества и прочихъ скваттерскихъ прелестей, чтобы показать, какъ ведется торговля при обыденныхъ, постоянныхъ условіяхъ ея, внѣ соблазновъ какой-либо исключительной, случайной выгоды, ради которой здѣшній промышленникъ полѣзетъ хоть на ножъ, хоть на рога Вельзевула.

— Пріѣзжаю я въ Маймачинъ,—ухмыляясь, разсказываетъ, — по-здѣшнему, «звонитъ»,—за стаканомъ чая старый маклакъ-мѣховщикъ, по лицу и фигурѣ такой патріархъ, что прямо рисуй съ него Авраама или Моисея, зрящаго съ горы Оръ на землю Ханаанскую.—Пріѣзжаю я въ Маймачинъ съ партіей рога. Справляюсь, какъ цѣны. А такъ, говорятъ мнѣ, милостивый государь, что никакихъ цѣнъ нѣтъ. Спросъ малый, а навезли рога видимо-невидимо. Китайцы пронюхали, жмутся, ждутъ, когда нашъ братъ изубытчится, приметъ ихнюю цѣну.—А что даютъ?—Да что? Пусто и говорить: семь съ полтинкою... Ахъ, олень те забодай! Этакъ мнѣ и рубль на рубль не очистится! Не стоило и везти, трогаться съ мѣста, себя безпокоить. Однако, думаю, врешь; не бывать тому, чтобы мы въ дуракахъ остались. Дураки-то, сказываютъ, живутъ по ту сторону рѣки, а по нашу—все умники. Есть тамъ въ Маймачинѣ отдѣленіе конторы нѣмецкой, большущее на всю Сибирь дѣло, имѣетъ сношенія съ Лейпцигомъ, Берлиномъ, Парижемъ. Маральимъ рогомъ оно никогда не занималось. Управляющій — знакомый мнѣ человѣкъ. Вотъ-съ, иду я къ нему и кланяюсь:

— Карла Ивановичъ, будь другъ, выручи, а ужъ я тебѣ эту службу отслужу.

— Чудакъ,—говоритъ,—какъ я могу тебя выручить? Самъ знаешь, что мы мараломъ не займуемся. Да и съ какой стати ты хнычешь, не понимаю. Вѣдь даютъ тебѣ рубль на рубль. У промышленниковъ-то, небось, по три,

али по три съ полтиною купилъ? По-нашему, нѣмецкому это барышъ баснословный.

— Мало ли что по-вашему, коли вы нѣмцы; а по-нашему, оно называется отдать себѣ въ убытокъ.

— Не могу купить. Не входитъ въ операціи фирмы.

— Да мнѣ и не надобно, чтобы ты покупалъ для своей фирмы. А сдѣлай ты мнѣ такое великое одолженіе: пришли ко мнѣ завтра, часовъ въ восемь утра, своего приказчика, и пусть онъ всѣ мои рога перепишетъ къ себѣ въ записную книжку.

— Зачѣмъ?

— А ужъ это мой коммерческій секретъ.

— Хорошо. Изволь. Но помни: если ты въ этомъ дѣлѣ расчитываешь на насъ, что мы все-таки плѣнимся твоими рогами и за себя ихъ возьмемъ, предупреждаю: обсчитаешься.

— Ничего мнѣ отъ васъ не требуется, только пусть твой приказчикъ придетъ и перепишетъ рога въ книжку.

Ладно-съ. Цѣны наши слабыя, у китайскихъ купцовъ деньги есть, рады идолы скупить товаръ за безцѣнокъ. А что я отдамъ партію, за что ни предложатъ,—на то вполнѣ надѣются: не назадъ же ему, молъ, товаръ везти,—рогъ-то вѣдь отъ времени, вылеживаясь, тоже портится, стоимость роняетъ. На завтра, съ ранняго свѣта набралось ко мнѣ въ номеръ китайца — полная орда. Предлагаютъ цѣну. Я молчу. И, какъ они въ торгу между собою народъ азартный, то, по маломъ времени, даютъ мнѣ, вмѣсто семи съ полтиною, уже по десяти рублей, на два съ полтиною цѣну взбодрили. Я молчу. Говорятъ:

— Отдавай, русскій! дороже никто не дастъ. И такъ уже насъ пороть мало, что мы тебѣ такую цѣну надавали, да китайское купеческое слово твердо стоитъ: бери, твое счастье; сказали по десяти, такъ назадъ не спятимся.

Я отвѣчаю:

— Скажу вамъ, господа, по всей правдѣ, что я и самъ

не знаю, о чемъ съ вами торгуюсь,—можетъ быть, еще у меня и продать вамъ нечего. Потому что вчера у меня сторговалъ рогъ заглазно Карла Ивановичъ. Остатокъ послѣ него, чего онъ не возьметъ, могу уступить вамъ за хорошую цѣну, а до его рѣшенія не о чемъ и торгъ начинать.

Очень удивились китайцы:

— Зачѣмъ Карла Ивановичъ рогъ покупалъ? Врешь ты, русскій. Никогда ихъ фирма мараломъ не интересовалась.

— А нынѣ заинтересовалась.

— Почемъ даетъ? Говори, пожалуйста.

— По восьмнадцати рублей.

Китайцы, естественное дѣло, не вѣрятъ:

— Такихъ цѣнъ уже который годъ нѣту.

— Не было, такъ будутъ. Карла Ивановичъ говоритъ: когда привезешь слѣдующую партію, пожалуй, придется заплатить тебѣ и всѣ двадцать пять.

Очень задумались китайцы. Съ одной стороны и сомнительно имъ, не вру ли я; а съ другой—соображаютъ то, что, если такая огромная фирма вздумала вдругъ ни съ того, ни съ сего заняться маральимъ дѣломъ, да еще такъ поднимаетъ цѣну,—значитъ, есть у нея какія-нибудь стоящія извѣстія, и скоро маралъ пойдетъ въ бѣшеныя деньги. Карла Ивановичъ по пустякамъ не балуется, своей копѣйки не просчитаетъ. Пока они такимъ манеромъ освѣдомлялись промежъ себя, пріѣзжаетъ обѣщанный приказчикъ отъ Карлы Ивановича. Ну, я ему, конечно, сдѣлалъ встрѣчу честь-честью: закусочку, все, какъ быть надлежитъ. Видятъ китайцы: слова мои на правду похожи. Послѣ закуски приказчикъ вынимаетъ записную книжку:

— Дозвольте переписать партію.

— Сдѣлайте ваше одолженіе. И, какъ я знаю, что всякій приказчикъ—бахвалъ и хозяина изъ себя ломать любитъ, то самъ потрафляю ему въ этомъ духѣ:

— Радъ, молъ, вамъ служить,—однако, жаль: партія-то моя—мала, не по вашей нуждѣ.

— Да, говоритъ, это точно фирмѣ нашей по пустякамъ рукъ марать не стоитъ. Вы привозите товаръ, сколько есть, больше давайте,—все возьмемъ и спасибо скажемъ. Сколько привезете, все и возьмемъ.

Кланяюсь, благодарю:

— Радъ стараться, тѣмъ паче, что цѣну даете настоящую.

— Ужъ извѣстно, что лучше нашей цѣны никто не дастъ; не хватитъ у здѣшнихъ негоціантовъ потроховъ съ Карлою Ивановичемъ состязаться...

Напоилъ я его пьянаго, отпустилъ съ наказомъ, чтобы Карла Ивановичъ скоро-наскоро присылалъ задатокъ и присылалъ за товаромъ. Уѣхалъ приказчикъ. Китайцы мои словно взбѣленились: продай имъ товаръ,—съ руками рвутъ.

— Что вы, говорю, купцы почтенные? какъ можно? Сами видѣли: на вашихъ глазахъ рога запродалъ.

— Ничего, что запродалъ. Задатка еще не получилъ.

— Мое купецкое слово то же, какъ и ваше, безъ задатка твердо стоитъ.

— Бери рубль на Карлы Ивановича цѣну.

— Стану я изъ-за вашего рубля мараться, съ такою фирмою ссориться.

— Полтора.

— И не подумаю.

— Два.

И пошло тутъ промежъ нихъ страженіе на перебой, и кончилось, сударики, тѣмъ, что одинъ, самый азартный, заплатилъ мнѣ за фунтъ по двадцати пяти цѣлковиковъ, да туть же, не сходя съ мѣста, разсчитался чистоганомъ: такъ опасался, чтобы я не измѣнилъ своего намѣренія и не перепродалъ партію другому. Ловко-съ?

Разсказчикъ оглядываетъ компанію съ побѣдоноснымъ видомъ.

— Ну, а потомъ, когда фокусы твои открылись, — ничего къ тебѣ китайцы? Не били?—спрашиваетъ кто-то изъ завистниковъ «таежнаго Наполеона».

Наполеонъ пожимаетъ плечами.

— Гдѣ имъ, мышамъ длиннохвостымъ! Оно точно: къ вечеру въ тотъ же день плетется ко мнѣ покупатель мой злосчастный. Вошелъ, дверь на задвижку запираетъ, молчитъ. Думаю: — плохо! бить пришелъ. Ахъ, язви те пятнистая! Револьверъ далеко, а китаецъ здоровеннѣйшій. Хорошо еще, что деньги уже сплавлены; при себѣ ста рублей не осталось. Но что же вы думаете? Какой эти китайцы — глупый народъ? Чѣмъ бы ему меня теперича, какъ слѣдуетъ по правилу, изутюжить, онъ ложится на диванъ, животомъ внизъ, и давай стонать:

— Ай, машинка русскій купецъ, ай, какой подлецъ-машинка русскій!

— Что же это обозначало? — интересуется заѣзжій гость, чудакъ.

— Да, оказывается, ругать онъ меня пришелъ, по своему китайскому обычаю.

— Такъ про машинку-то зачѣмъ?

— А это,—съ кротостью объясняетъ Наполеонъ, — какъ онъ, по необразованію своему, нашего русскаго «мошенника» выговорить не умѣетъ, то и ругался машинкою.

И лежалъ онъ, братцы мои, такимъ манеромъ, на брюхѣ своемъ, до позднѣйшаго вечера, и никуда изъ номера меня не выпускалъ. Лежитъ, воетъ и ругается машинкою.

— Позволь, — говорю—хоть самоваръ спросить, чаю напьемся, а то что же такъ, въ сухомятку-то?

— Нѣтъ, ты сиди, а я буду усмирять свое горячее сердце. Ай, машинка русскій, ай, какой худой машинка!

А потомъ, облегчивъ душу, всталъ и по-пріятельски со мною распростился. Ничего, зла на меня не держитъ. Только дѣловъ больше не имѣемъ.

— А какъ отнесся къ вашей продѣлкѣ Карлъ Ивановичъ, именемъ котораго вы такъ смѣло распорядились?

— Ничего, смѣялся, что я ему хорошій процентъ куртажу долженъ.

— То-то ты ему въ Томскѣ и показалъ куртажъ,— замѣчаетъ завистникъ.

Наполеонъ искренно и самодовольно гогочетъ.

— Это уже совсѣмъ другая исторія пойдетъ,—любезно обращается онъ къ заѣзжему гостю.—Надо вамъ сказать, поднадули меня бараномъ: что ни овчинка, то лысь да гниль, въ руки взять совѣстно. Думаю, швахъ—мое дѣло: попался. Надо поправляться. Довезъ эту рухлядь въ Томскъ. Навелъ справку о цѣнахъ: рубль десять. Слышу въ то же время: Карла Ивановичъ тутъ, въ Томскомъ. Номеръ я въ «Россіи» взялъ самый лучшій, на богатѣйшаго купца, овчинку въ номерѣ разложилъ, да такъ красиво, что, которую снаружи ни потяни, все вытянетъ изъ кучи самую хорошую, отборную, а нутро дрянное останется подъ спудомъ. Ночь не спалъ, все декорацію устраивалъ. Съ мѣховщиками которыми встрѣчаюсь, веду себя гордо:

— Съ чѣмъ,—спрашиваютъ,—пріѣхали къ намъ?

— Ни съ чѣмъ, отвѣчаю. Везъ было къ вамъ партію барана, да Богъ помогъ по дорогѣ продать. Съ покупателемъ въ вагонѣ столковался. Теперь отъ него пріемщика жду—товаръ сдать, да уѣхать.

— Почемъ сдѣлались?

— По рублю двадцати.

— Что вы? Такихъ цѣнъ у насъ не стоитъ.

— Товарецъ ужъ очень особенный выдался. Зайдите взглянуть: посмотръ денегъ не проситъ. Этакой овчины я, сколько ни торгую, а прямо говорю: первую партію въ рукахъ имѣю.

Заходятъ ко мнѣ торговцы. Дѣйствительно, что ни дернутъ изъ кучи овчинку,—то роскошь, чудо, что такое.

— Да, говорятъ, очень хороша: не жаль дать по рублю

двадцати. Прискорбно, что ты уже запродалъ ее: мы бы съ удовольствіемъ взяли за эту цѣну. А, можетъ быть, еще и продашь?

— Что вы, господа? Какъ можно? У меня задатокъ полученъ.

Потужили, разошлись. Пошелъ о моемъ баранѣ слухъ по Томску. А я хожу, притворяюсь, будто золъ очень, что покупатель мой замѣшкался, не шлетъ пріемщика, держитъ меня въ городѣ безъ нужды, когда мнѣ смерть—домой спѣшить время. И вотъ тутъ-то я, словно бы не нарочно, встрѣчаю на улицѣ Карлу Ивановича.

— А, другъ любезный!

— Карлѣ Ивановичу наше почтеніе.

— Что? слышалъ, что ты хорошій баранъ привезъ?

— Да, былъ ничего себѣ. Слава Богу, уже развязался съ нимъ. Завтра сдаю. Сейчасъ получилъ отъ покупателя телеграмму, что пріемщикъ въ дорогѣ.

— Жаль. Мнѣ баранъ былъ бы кстати.

— И мнѣ жаль. Радъ бы вамъ угодить, да нечѣмъ.

Слово за словомъ,— набился онъ ко мнѣ въ гостиницу чай пить. Поглядѣлъ декорацію мою, пощупалъ, подергалъ, что не вытянетъ, сахаръ, а не товаръ: въ этакой овчинѣ только великимъ князьямъ ходить.

— Да,—говоритъ,—очень хорошъ товаръ. Такъ хорошъ, что, по-моему, ты даже продешевилъ. По рублю съ четвертакомъ я бы заплатилъ тебѣ сію минуту.

— Прискорбно, что не зналъ я такого вашего расположенія. Но, снявъ голову, по волосамъ не плачутъ.

— Вотъ что,—говоритъ,—Вавиловъ! Ты не валяй дурака: я отъ своего отступаться не люблю. Хочешь по рублю съ четвертакомъ? Плачу деньги.

— Никакъ нельзя: запродано, задатокъ полученъ.

— Авось не тысячная сумма? И задатокъ возьму на себя.

— Невозможно, Карла Ивановичъ, въ первой съ этимъ

покупателемъ дѣло имѣю. Какъ мнѣ его подвести? Довѣрія лишусь.

— Эй, отдавай, а то — поссоримся: разладить со мною тебѣ тоже прибыли нѣтъ.

— Карла Ивановичъ, вы сами посудите: случись вамъ запродать кому-нибудь товаръ, неужто бы вы его перепродали?

А онъ, пучеглазый демонъ,—какъ бы вы, компанія, думали,—что мнѣ на это отвѣтилъ?

— Сравнялъ ты себя со мною. Я—германскій своему дѣлу художникъ, а ты—сибирская свинья.

— Скажите, какъ о себѣ высоко понимаетъ, — съ сердцемъ замѣчаетъ кто-то.

Взяло меня зло за свинью. Конечно, и свинья—тварь Божья, однако, за что же свиньею торговаго человѣка обзывать?

— Нѣтъ,—говорю,—Карла Ивановичъ, хотя я, по-вашему, выхожу свинья, но имѣю свою совѣсть и за пятачокъ ее не продаю.

— Хорошо: восемь копѣекъ.

Посмотрѣлъ я на него съ гордостью.

— Гривенникъ, говорю. И задатокъ вашъ. Меньше ни полушки.

— Чортъ съ тобою. Грабь. Твоя взяла.

— Нѣтъ, ваша. Потому что другому я и за полтора бы рубля не отдалъ. Но, какъ вами много облагодѣтельствованъ, то вамъ отказать въ капризѣ вашемъ не могу. Только ужъ одно условьице мнѣ помирвольте: пришлите принять товаръ сейчасъ же, чтобы я могъ уѣхать со скорымъ поѣздомъ. Потому что, когда пріѣдетъ пріемщикъ перваго покупателя и станетъ мнѣ морду бить,—того ожидать я не согласенъ.

— Хорошо. Но мнѣ сейчасъ некогда, а приказчикъ со мной новый, худо дѣло знаетъ.

— Карла Ивановичъ, да чего тутъ знать-то? Вы сами видите товаръ: вся овчина наскрозь такая.

— Да, я щупалъ.

— Стало быть, всего дѣла—только шкурки сосчитать. Это, небось, всякій сумѣетъ.

— Положимъ, что оно такъ...

— Пожалуйста, — умоляю. Чтобы, главное, мнѣ съ покупателемъ не встрѣтиться.

— Гутъ,—говоритъ,—не бойся, не подведу.

Ну-съ, прислалъ онъ приказчика. Я, по своему обычаю, выставилъ угощеніе. Пошелъ мой пріемщикъ къ товару таково веселъ, что ему каждая овчинка за бархатъ кажетъ. Барана я сдалъ, деньги получилъ, довѣренную расписку на возвращеніе задатка тобольскому купцу Вонифатову вручилъ...

— А есть въ Тобольскѣ такой купецъ?

— А кто-жъ его знаетъ?

— Чисто.

— Комаръ носа не подточитъ. Покончивъ дѣльце, расцѣловался я съ пріемщикомъ моимъ любезнымъ,—и драла изъ Томска. Я, молъ, кашу сварилъ, а вамъ ее расхлебывать.

— По девяти гривенъ потомъ Карла Ивановичъ партію отдалъ,—слышатся голоса.

— Да и то накланялся, чтобы взяли.

— Страсть серчалъ.

— Встрѣчаю его, друзья мои, въ Ирбити,—съ аппетитомъ продолжаетъ Наполеонъ.—Завидѣлъ меня издали, затрясъ кулакомъ:—Совѣсти у тебя нѣтъ. А я будто не понимаю:—Что вы, Карла Ивановичъ? За какую мою вину такой вашъ гнѣвъ?—За то,—говоритъ,—что ты даже меня, стараго воробья, на мякинѣ провелъ,—вмѣсто товара грязи всучилъ.—Какъ?—восклицаю,—неужто овчинкою не угодилъ вамъ? Такъ вы бы, Карла Ивановичъ, телеграмму мнѣ подали: я бы перемѣнилъ, какъ Богъ святъ, перемѣ-

нилъ.—Телеграфировалъ,—отвѣчаетъ,—да все такія слова тебѣ прибиралъ, что телеграфъ не принимаетъ ни за какія деньги.—А вы бы полегче.—Не могу: кровь кипитъ, душа твоего имени не пріемлетъ.—То-то-съ,—говорю. А вы намедни выражались, будто я—свинья. Анъ, свинья-то все ваше свободное германское художество и скушала.

Хохотъ, грохотъ, всеобщій, неподдѣльный восторгъ. Одинъ здоровенный, сухощавый мужчина хохочетъ громче всѣхъ и такъ долго, что его, наконецъ, унимаютъ:

— Экъ те разобрало!

— Я... я... я... вспомнилъ...

— Чего ты вспомнилъ?

— Ка-акъ я татарвѣ господскую во-одку продавалъ...

— Ну?

— У меня для этихъ шельмовъ татаровъ такое обыкновеніе, чтобы, какъ пріѣдетъ онъ за водкою, непремѣнно съ нимъ учтиво разговаривать. Чаемъ ихъ пою. Онъ пьетъ, я балясы точу, а малецъ тѣмъ часомъ ему водку цѣдитъ—изъ боченка въ баклажку. И еще у меня такое обыкновеніе, чтобы около водочнаго боченка стояло ведро воды. Въ боченкѣ водка—полноградусная, акцизу радость. Ну, а, какъ малецъ цѣдитъ татарину водку въ баклажку, то, покуда мы пріятно разговариваемъ, онъ, такимъ манеромъ, ковшикъ, другой водицы и вольетъ въ баклажку, къ водкѣ-то... Потому что имъ, татарамъ, крѣпкая водка совсѣмъ ни къ чему: ихняя арака слабая, но и отъ той они пьяные бываютъ. Совсѣмъ не годится и очень вредно имъ крѣпкую водку пить. Вотъ пріѣзжаетъ ко мнѣ одинъ,—Шакирка, изъ-за Абакана, богатый человѣкъ. Дѣло зимнее, морозъ градусовъ на тридцать, если не болѣе. Нацѣдилъ малецъ Шакиру баклагу. Уѣхалъ Шакиръ. Однако, бѣсъ его, мальца, знаетъ, перестарался онъ что ли, — въ скоромъ времени, пріѣзжаетъ мой татаринъ обратно.—Семенъ Ивановичъ, — говоритъ — мѣняй, пожалуйста, водку, очень водка нехорошъ. — Какъ нехорошъ? Что ты, Шакиръ?

Водка—товаръ извѣстный, одинаковая на всю имперію, акцизъ имѣемъ.—Нѣтъ, мѣняй, пожалуйста, мѣняй: больно водка нехорошъ, изъ баклажки идти не хочетъ... Что за притча? Взглянулъ я въ баклажку... Ахъ, язви те! А тамъ, братаны, вмѣсто водки-то ледъ, и во льду только бѣлое пятнышко видать, гдѣ спиртъ шарикомъ собрался.

Разсказчикъ вновь захохоталъ оглушительно.

— Дуракъ твой Шакирка,—замѣтилъ Наполеонъ,—ему бы съ этакою штукою прямо къ акцизному.

Разсказчикъ посмотрѣлъ презрительно:

— Ты бы еще домовымъ пугалъ,—сказалъ онъ.—Что съ меня акцизный возьметъ? Въ лавкѣ у меня вино, спиртъ, градусы надлежащіе. А развѣ я могу отвѣчать, что станетъ дѣлать покупатель изъ моего вина на волѣ? Онъ спьяну выльетъ водку въ Енисей, такъ я, по-твоему, и за Енисей отвѣчать долженъ, что не полные градусы?... Съ татариномъ этимъ ссориться мнѣ не хотѣлось: нужный человѣкъ. Думаю, однако, и то: перемѣнить ему товаръ,—дурную повадку дать; всякій потомъ полѣзетъ: это нехорошо, — перемѣни; то не нравится,—перемѣни. Какъ бы, думаю, и капризъ его татарскій исполнить, и чтобы безъ убытка остаться?

— Придумалъ?

— Однако, да,—самодовольно ликуетъ удалой добрый молодецъ.—Слава Богу, не котелъ на плечахъ имѣемъ, а голову,—здѣшніе обыватели. Состроилъ я, братцы мои, постную рожу, руками развожу, плечми трясу.—Ну, Шакиръ, удивилъ ты меня! Да неужели тебѣ эта водка не по вкусу? — Качаетъ головою: — Совсѣмъ яманъ водка.—Скажи, пожалуйста... А, вѣдь, я думалъ угодить тебѣ: велѣлъ мальцу, по дружбѣ, отлить тебѣ не простой водки, какъ ваша братья, татары, берутъ, а господской, которую пьютъ господа,—ну, а господская водка, всѣмъ извѣстное дѣло, завсегда отъ мороза стынетъ... Коли вышелъ не въ коня кормъ, изволь, перемѣню. Эй, малецъ, возьми-ка у

Шакира баклагу, налей ему дешевой татарской водки, чтобы отъ мороза не стыла... Уѣхалъ мой Шакирка страхъ въ какомъ конфузѣ: срамно ему, что богачъ такой, первый по управѣ, до сорока годовъ дожилъ, а не зналъ, что господа стылую водку пьютъ... Недѣли двѣ потомъ ѣздили ко мнѣ его родня и дружки: — Сдѣлай милость, Семенъ Ивановичъ, вели и намъ продать такой водки, какъ господа пьютъ—чтобы замерзала отъ мороза...

— Торговалъ?

— А то нѣтъ? Вдвое бралъ. Потому что они, татарва, которые богатые, тоже бахвалы, обожаютъ подражать на господскій примѣръ. Большую деньгу могъ я зашибить чрезъ эту операцію, да впрямь до акцизнаго слухи дошли... Пришлось прекратить...

Въ исторіи европейской рекламы записанъ, какъ одинъ изъ наиболѣе блестящихъ примѣровъ коммерческой находчивости, слѣдующій случай. У извѣстнаго фабриканта шоколада Менье огромная партія шоколада, по какому-то химическому процессу въ фабрикатѣ, выцвѣла до почти совершенной бѣлизны, не потерявъ, однако, обычныхъ вкусовыхъ достоинствъ. Пустить бѣлую партію въ продажу было невозможно, а убытокъ грозилъ милліонный. Тогда одинъ изъ младшихъ приказчиковъ фирмы явился къ Менье и предложилъ ему выручить торговый домъ изъ затрудненія за довольно крупный гонораръ, который пожелалъ получить авансомъ. Сумма была уплачена. Тогда приказчикъ сказалъ:

— Немедленно слайте во всѣ газеты объявленіе: «Требуйте шоколадъ Менье: единственный изъ всѣхъ шоколадовъ, бѣлѣющій отъ времени»...

Объявленіе было сдано, — и на другой день публика покупала въ магазинахъ испорченный шоколадъ на расхватъ и не хотѣла брать съ фирмою Менье другого шоколада, кромѣ бѣлаго. Домъ нажилъ громадныя деньги, а на-

ходчивый приказчикъ получилъ огромную награду и пай въ прибыляхъ.

Французскій «единственный, бѣлѣющій отъ времени» шоколадъ очень хорошъ. Но, согласитесь, что и чалдонская «господская водка, единственно мерзнущая отъ холода», имѣетъ свою пикантность и изобрѣтательность чалдонскаго коммерческаго ума опережена изобрѣтательностью французской коммерческой рекламы только въ масштабѣ примѣненія, но никакъ не въ нагломъ остроуміи.

---

# Удалыя головы.

# Конокрады.

Домовладѣлецъ, у котораго я квартирую, — старый сибирякъ, полуинтеллигентъ,—поздравлялъ меня съ покупкою лошадей.

— Отличное сдѣлали пріобрѣтеньице. Дешево, мило и во благо. По нашему мѣсту безъ этой полезной скотинки жить нельзя. Вотъ только насчетъ конокрадовъ,— держите теперь ухо востро. А, впрочемъ, и они у насъ удручительны больше для крестьянскаго званія, городскимъ же господамъ не слишкомъ опасны. Ежели и сведутъ коня, то не на зарѣзъ, а на выкупъ...

— То есть, какъ это, Михайло Ивановичъ?..

— Пришлютъ письмо, въ какое мѣсто надо дать выкупъ за уведеннаго коня, и сколько.

— И помногу запрашиваютъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Совѣсть имѣютъ, Бога помнятъ. Рублей десять, пятнадцать, много, если двадцать пять. Разбираютъ, кто сколько въ состояніи.

— Ну, а если конь дорогой?

— Въ нашемъ краѣ дорогихъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ? Я, не выходя изъ города, насчитаю вамъ съ дюжину коней по двѣсти—триста рублей и выше.

— То-то и есть, что вы «сосчитаете»,—всѣ они наперечетъ, и всякій ихъ знаетъ. Поэтому для владѣльца и покупателя за честныя деньги они—цѣнный товаръ; для

конокрада же, если не послѣдуетъ выкупа, стоятъ не больше любой мужицкой клячи. Нашъ конокрадъ—воръ огульный: онъ не разбираетъ, который конь дорогой, который дешевый, который добрый, который худой. У него всякая животина въ одной цѣнѣ, потому что сибирскій конокрадъ—не какъ россійскій. Тотъ коня въ прокъ крадетъ, чтобы барышнику или любителю перепродать, а нашъ—на убой, для шкуры. У васъ, чѣмъ конь дороже, рѣдкостнѣе, породистѣе, замѣчательнѣе, чѣмъ больше на него зарится охотниковъ, конэсеровъ, тѣмъ больше опасности, что его сведутъ. Въ Россіи краденаго коня гонятъ продавать иной разъ черезъ три губерніи въ четвертую. А наше конокрадство, ежели не на выкупъ, то—до перваго степного оврага. Загналъ коней въ укромное мѣсто, гдѣ безопасно отъ погони, — всѣхъ ножемъ по горлу, кожу облупилъ, тушу волкамъ и орламъ бросилъ, и айда по степи, куда глаза глядятъ, до знакомаго скупщика. Въ томъ и вся коммерція, ради кожи весь разбой. А кожѣ рыночная цѣна—три цѣлковыхъ,—одинаковая, что ее снять съ клячи, что съ тысячнаго рысака. Изволите знать Веселяшкина?

— Судебнаго слѣдователя?

— Такъ точно. Это онъ—нашъ благодѣтель, именно, съ него пошла мода у конокрадовъ воровать на выкупъ. Покуда онъ имъ этой коммерціи не открылъ, сплошь рѣзали... Большой мы тогда убытокъ терпѣли.

— Судебный слѣдователь открылъ конокрадамъ новый видъ «коммерціи»? Странно.

— Ничего нѣтъ страннаго,— напротивъ, очень хорошо. Онъ, господинъ Веселяшкинъ,—нашъ сибирскій уроженецъ, мѣстные нравы, обычаи знаетъ въ совершенствѣ. Вы, господа россійскіе, воровъ, разбойниковъ и всякій бродячій народъ какъ-то особо, не по-людски понимаете. Вамъ, какъ вчужѣ живущимъ, все какъ-то чудно и невѣроятно: почему, молъ, другіе люди—какъ люди, а этотъ

вотъ вдругъ воръ и разбойникъ? Вы все разсматриваете: какъ онъ сталъ воръ? Да отчего разбойникъ? А мы, какъ прожили,—война войною,—съ ссыльными сто лѣтъ, разсуждаемъ объ этомъ дѣлѣ много проще. Такъ разсуждаемъ: всякій человѣкъ, прежде всего, долженъ себя питать, и притомъ, чтобы, питая, была ему выгода. Ежели человѣкъ воруетъ, то, стало быть, ему выгодно воровать, а не промышлять инымъ дѣломъ. И тутъ—либо тебѣ надо его поймать, либо такъ поступить, чтобы онъ потерялъ въ воровствѣ свою выгоду. Вонъ, въ старину, когда бѣглые сотнями шли черезъ нашъ уѣздъ, мы для нихъ обязательно выставляли по вечерамъ за окно, на завалину, хлѣбъ, остатки отъ ужина, вообще, всякую ѣду, которая въ домѣ лишняя. Иной разъ—бражки корецъ, спирта черепушку. Зачѣмъ? Какъ ваше о томъ мнѣніе?

— По добродушію, по мягкости сердечной,—я полагаю... Чтобы измученнымъ, нищимъ людямъ помочь...

— Доброта... гмъ... оно, конечно, и доброта... Однако, прямо вамъ скажу: не одни добрые такъ поступали, но и такіе, которые все свое состояніе нажили и упрочили охотою на горбачей. Одно другому не мѣшало. Самъ онъ домохозяинъ, почтенный, въ тайгѣ, у бѣглой тропы, на лабазѣ сидитъ, горбачика подстерегаетъ, а, между тѣмъ, угощеніе для горбачей его семейные каждую ночь выставляютъ за окно свято и нерушимо. И, можетъ быть, тотъ самый горбачъ, котораго сегодня чортъ подъ его каинскую пулю сунулъ, вчера ночью его хлѣбъ ѣлъ и Бога за него молилъ. Нѣтъ, тутъ была суть не въ добротѣ, а въ осторожности и въ правильномъ разсчетѣ. Мы очень хорошо и вѣрно понимали, что бѣглому, ежели онъ сытъ и здоровъ, нѣтъ никакой выгоды насъ трогать. Онъ не для того бѣжалъ съ каторги, чтобы валандаться въ нашихъ мѣстахъ: у него подошвы горятъ, онъ на родину поспѣшаетъ—стало быть, коли засилье имѣетъ, онъ тѣмъ больше радъ, чѣмъ скорѣе очутится ближе къ Уралу. А, ежели голодный,

то идти впередъ ему, отощалому, невозможно, и долженъ онъ въ нашихъ мѣстахъ,—покуда подкормится,—застрять. А, застрявъ, безпремѣнно же долженъ онъ промыслить себѣ пищу и прочее, что требуется, не иначе, какъ съ насъ же. А промысловъ иныхъ, какъ украсть, у него нѣту. Стало быть, покуль онъ въ нашихъ мѣстахъ слоняется, потуль у насъ будетъ неисходное воровство. Если бродягу прикармливать, совсѣмъ ему нѣтъ резона въ пути своемъ озоровать воровствомъ. Потому что, какъ только онъ не остережется, сблудитъ, такъ сейчасъ же забоится, что его станутъ ловить: понимаетъ, шельма, что за свое добро никто ему даромъ не оставитъ и не проститъ; значитъ, надо укрываться отъ сыска, облавы, бѣжать въ сторону, сойти съ прямого бѣглаго тракта. Глядь: стащилъ-то пару гусей, либо рублевую баранину, а изъ-за нихъ пришлось сто верстъ крюка сдѣлать, да потерять денъ пять времени. А ноги-то у бродяги свои, не купленныя; а дней-то у него въ запасѣ для похода немного, и спѣшитъ онъ къ родному пепелищу, либо къ вольнымъ черноморскимъ портамъ, инда душа въ немъ мретъ. Это была самая вѣрная прежде примѣта: которая деревня или заимка выставляютъ хлѣбъ-соль для удалыхъ, тѣ безопасны отъ всякаго нападенія и грабежа. Придутъ молодцы темною ночью, возьмутъ свое положенное и идутъ прочь. До того вѣрно соблюдалось, что, ежели какой негодяй и послѣ того сблудитъ что, такъ мужички прямымъ путемъ шли въ тайгу искать суда и расправы у его же сотоварищей, вольной варнацкой братіи... И бывали случаи, что бѣглые жестоко наказывали своихъ озорниковъ: дескать, не блуди у людей, которые съ нами въ мирѣ, не порти имени и вѣры другимъ бродягамъ, не отнимай у мужиковъ охоты держать нашу руку!

—Скажите, Михайло Ивановичъ, сейчасъ обычай этотъ еще существуетъ или вышелъ изъ употребленія?

— Держится еще кое-гдѣ, но больше уже, именно, какъ обычай,—по привычкѣ къ старинѣ. Прямое свое на-

значеніе онъ потерялъ совершенно: небось, молодежь, въ иныхъ мѣстахъ, уже и не знаетъ его истиннаго смысла, а дѣти дѣтей нашихъ и вовсе о немъ забудутъ. Двѣ тому причины имѣются. Первая, что бѣглые мало заглядываютъ въ нашъ уѣздъ. Они тамъ, сѣвернѣе, свою полосу имѣютъ, за Красноярскомъ, къ Енисейску, на среднемъ Енисеѣ, по Ангарѣ. Да, и вообще ихъ стало несравненно меньше противъ былыхъ временъ, не только въ здѣшнихъ мѣстахъ, но и по всей Сибири. Прежде каторга-то на материкѣ была, а теперь сахалинская, островная. Именно ужъ—тридевять земель, тридесятое царство. Сахалинецъ, который бѣжитъ съ острова, до насъ доходитъ рѣдко. Коли не повезло горемыкѣ, то ему еще на Амурѣ капутъ, либо въ Уссурійскомъ краѣ; а коли счастливый да удачливый, онъ является изъ Забайкалья въ Иркутскъ или на какую-нибудь ближнюю станцію уже съ «глазами», покупаетъ билетъ, какъ всѣ добрые люди, и катитъ себѣ паномъ по чугункѣ. Добрался до Иркутска,—будь спокоенъ: раньше, чѣмъ въ Россіи, никто тебя не схватаетъ. Къ намъ попадаетъ теперь и, вообще, осѣдаетъ въ Сибири только такой изъ бродягъ, которому въ Россію либо не зачѣмъ идти, либо столь ужъ тамъ по всей полиціи прославился, что нельзя къ ней и носа показать. Ну, а этихъ отчаянныхъ не слишкомъ много. Лѣтъ десять тому назадъ, чуть, бывало, выѣдешь за городъ,—ста шаговъ не минуть, чтобы удалого не встрѣтить. А нынѣ на сто верстъ кругомъ скачи въ одиночку, пожалуй, хоть и двустволки не бери. Очень много помогла тому чугунка, сибирка. Покуда ее строили на разныхъ участкахъ, она повысосала отъ насъ бѣглый народъ, словно банка дурную кровь. Сибирка кончилась,—маньчжурка началась: туда бѣглый людъ сильно хлынулъ. Когда нужны рабочія руки, подрядчикамъ не разбирать стать, который бѣглый, который нѣтъ... А иные такъ даже покрывали завѣдомо извѣстныхъ, разыскиваемыхъ. Такъ вотъ—первая причина: настоящихъ бѣглыхъ у насъ больше нѣтъ, не

для кого больше ставить хлѣбы. А вторая причина: одолѣли переселенцы. Нагнали къ намъ, прости Господи, вошей этихъ милліонъ двѣсти тысячъ; кажись, больше, чѣмъ насъ самихъ. И все—шваль самая оголтѣлая. Нищенствуютъ хуже всякихъ бѣглыхъ; покуда дошли до своего назначеннаго мѣста,—всѣ окна попутныя по тракту обклянчили. Ихъ корми, бѣглыхъ корми,—это и хлѣба не напасешься! сами, пожалуй, безъ куска во рту останемся.

Лицо старика приняло злобно презрительное выраженіе, свойственное всякому коренному чалдону, когда рѣчь заходитъ о переселенческой «саранчѣ». Впрочемъ, Михаилъ Ивановичъ быстро спохватился, что я—россійскій, «навозный» (а всѣ россійскіе держатъ переселенческую руку) и, слѣдовательно, сочувствовать его іереміадамъ я не могу. Поэтому онъ круто повернулъ разговоръ и возвратился на первое.

— Да, такъ я было началъ вамъ о конокрадахъ и господинѣ Веселяшкинѣ. Конь у него былъ шибко добрый, приведенный изъ Россіи. Когда свели его со двора, господинъ Веселяшкинъ, первымъ дѣломъ, проѣхалъ обыскомъ верстъ двадцать кругомъ города, обшарилъ балки, овраги, вымоины, котлы, яры: не лежитъ ли гдѣ свѣжаго коневьяго падла. Не найдя, смекаетъ: стало быть, пожалѣли коника, не зарѣзали, живъ еще, голубчикъ, надѣются продать. Смекнувъ, встрѣчаетъ па улицѣ, будто невзначай, дворника тутъ одного,—можетъ быть, изволите знать?—Филата Финагеича Борзыхъ: онъ уже лѣтъ двадцать тѣмъ извѣстенъ, что первый скупщикъ по коневьей кожѣ, темнымъ товаромъ, изъ воровскихъ рукъ.

— Здравствуй, Филатъ Финагеичъ.

— Здравствуйте, баринъ. Какъ васъ Богъ милуетъ?

— Живемъ мало-мало. Однако, худо, Филатъ Финагеичъ: удалые свели любимаго коня.

— Слышалъ, ваше высокородіе, о такомъ вашемъ

горѣ. Эки бездѣльники, прости Господи! Мало имъ мужицкой скотины,—нѣтъ, всякій страхъ потеряли, вздумали у начальства красть.

— Главное, что досадно, Финагеичъ: ну, на бѣса ли имъ дался мой конь? Опасность на себя берутъ, а разсчета не имѣютъ. Самое глупое это времяпровожденіе.

— Ужъ чего глупѣе, если безъ выгоды?

— По моему мнѣнію, въ томъ даже и удали нѣтъ.

— И, конечно, что нѣтъ. Вполнѣ разумное ваше слово, сударь. Ты удаль тѣмъ докажи:—деньги возьми. А денегъ не взялъ,—напрасно жизнь терялъ.

— Вотъ, вотъ... А тутъ именно такъ, въ согласіи умнымъ рѣчамъ твоимъ, и выходитъ. Зримое дѣло: украли коня только ради озорства, чтобы побахвалиться, слѣдователя подразнить...

— Однако, сударь, вашъ конь, ежели на охотника, хорошихъ денегъ стоитъ.

— Въ ихнихъ рукахъ онъ ничего не стоитъ, Финагеичъ. Гдѣ, кому можно продать его по близости? Его знаютъ на двѣсти верстъ круга. Какъ ни перекрашивай, онъ обличитъ себя ужъ однимъ ростомъ: приводной конь, россійскій, такихъ въ нашей степи не найти.

Призадумался Финагеичъ.

— Оно точно, говоритъ, конь ужасъ какой примѣтный.

— Вотъ видишь. Никто не рѣшится покупать, потому что развѣ круглый дуракъ не пойметъ, что на моемъ коню здѣсь возможенъ одинъ открытый выѣздъ: пожалуйте въ острогъ.

— Въ Сойотію угонятъ.

— Пятьсотъ верстъ гнать, двѣ недѣли терять, пятьдесятъ цѣлковыхъ заработать, а мѵки принять на триста? Да и какъ ты переправишь его въ Сойотію? Все же надо пройти кордонъ,—хоть и плоховатъ онъ у насъ, однако, и ему случается удача, разъ на разъ не приходится. Да и

я, братъ, тоже не дремалъ, мѣры принялъ: разослалъ служебныя телеграммы, отправилъ нарочныхъ по трактамъ, чтобы стерегли на перегонахъ.

— Ну, сударь, на это не уповайте: степь, да тайга велики, тысячи головъ проходятъ изъ-за границы и за границу мимо караульщиковъ вашихъ прекрасныхъ, подъ самымъ ихъ носомъ,—такъ одного-то коня прогнать не велика штука.

— А ты вспомни, Финагеичъ, каковъ онъ: холеный, балованный, на соломѣ привыкъ стоять, по битой дорогѣ бѣгать. А тайга копыту не баловница. Въ нее и изъ сибирскихъ-то лошадей не со всякою сунешься, надо выбирать привычную, таежную. Какъ же воры мечтаютъ пройти тайгу съ московскимъ конемъ? Нельзя тому быть! А если и пройти, опять его мучить—вести по горнымъ ущельямъ и вьючнымъ тропамъ? Развѣ мыслимо? Не иначе, что останется онъ у нихъ гдѣ-нибудь въ чарусѣ, либо провалившись сквозь буреломъ, съ переломленною ногою... только и пользы выходитъ, что шкуру сдерутъ. Вотъ тебѣ за всѣ труды и пятьсотъ верстъ хода,—получай три рубля на разживу.

Финагеичъ говоритъ:

— Это вы сосчитали довольно правильно.

— Риска много, а самимъ дороже. Да еще со мною норовятъ поссориться.

— Не надо большого ума, чтобы ваши слова сообразить. Чѣмъ въ Сойотію, выгоднѣе здѣсь на скорую руку зарѣзать.

Слѣдователь объясняетъ:

— Того-то я и боюсь. Кабы воръ былъ глупый, да погналъ коня въ Сойотію, у меня, все-таки, надежда есть—перехватить его на дорогѣ. А, если сообразитъ, что конь ему совсѣмъ безвыгодный, онъ его, разбойникъ, на шкуру зарѣжетъ.

— Это безпремѣнно: на то и крадутъ, чтобы шкуру снять.

— Этакому ли коню за три серебра пропадать? Обидно.

— Истинно обидно, сударь, потому что нынѣ на коневью кожу цѣнъ совсѣмъ нѣтъ.

— Просто, вѣришь ли, кабы знать, кто укралъ, такъ чортъ съ нимъ! И ловить бы его не сталъ, а прямо, ей-Богу, лучше бы самъ, по доброй своей волѣ, заплатилъ ему два золотыхъ,—пусть только пожалѣетъ лошадь, не рѣжетъ, а назадъ приведетъ.

— Да,—говоритъ Финагеичъ, косясь на мимо летящую ворону,— этакъ, по-хорошему, ужъ на что бы лучше.

— Понимаешь: и мнѣ полное удовольствіе, и ему, вору, вся выгода, потому что не три цѣлковыхъ, а всѣ десять барыша.

— Очень, очень правильно разсуждаете, — говоритъ Финагеичъ,—кабы воры знали такое ваше благое намѣреніе, безпремѣнно бы возвратился къ вамъ конь вашъ. Одна бѣда: какъ узнать, который извергъ его укралъ?

Однако, при всемъ томъ его недоумѣніи и сожалѣніи, вечеромъ того же дня бросаютъ слѣдователю въ окно невѣдомые люди безыменную записку:

«Если желаете получить своего коня обратно, положите въ такомъ-то мѣстѣ, подъ такой-то камень, три золотыхъ, только чтобы честно и благородно, — сами прочь уйдите, и чтобы полиція, либо какихъ иныхъ соглядатаевъ не посылать. Если увидимъ, что вы съ нами по честну, тогда и мы съ вами по хорошему».

Господинъ Веселяшкинъ такъ и поступилъ. Съ вечера онъ положилъ деньги въ указанное мѣсто, а раннимъ утромъ на завтра пошелъ слѣдователевъ дворникъ отворять ворота,—анъ, пропалый конь такъ и сунулся на него съ улицы. Стоитъ, привязанный за скобу къ калиткѣ, въ веревочной обрати, а на обрати завязана записка: «Пятнадцать получено, въ разсчетѣ».

Послѣ того случая, слѣдователь встрѣчаетъ Финагеича:

— Что, братъ, за чудо дивное?—говоритъ,—никакъ намедни-то воры насъ съ тобою подслушали?

А Финагеичъ ему, не моргнувши глазомъ:

— Очень,—отвѣчаетъ,—это все возможно, господинъ Веселяшкинъ, потому что весьма мнѣ тогда понравилась эта ваша мысль, чтобы откупаться деньгами отъ лихихъ людей. Такъ что я, пришедши послѣ вашего разговора на базаръ, довольно даже громко и многимъ разсказывалъ о томъ во всеуслышаніе. Сами знаете, на базарѣ мало ли топчется всякаго пришлаго народу? Одинъ—другому, другой—третьему, такъ оно и до вашего вора дошло, довѣдалось...

А чего тамъ «дошло», когда конь у него, стараго хитреца, и спрятанъ былъ на подгородной заимкѣ? И слѣдователь на него думалъ, да увѣренности не имѣлъ, чтобы сдѣлать обыскъ по надежнымъ уликамъ...

Вотъ, съ тѣхъ поръ и пошла у насъ эта новая воровская игра: угонять коней на выкупъ. Теперь, когда у кого-нибудь пропадаетъ хорошій конь, о немъ у насъ даже мало безпокоятся, потому что такъ уже и знаютъ, и ждутъ,—будетъ записка: клади деньги тамъ-то и столько-то, а положивъ деньги, найдешь свою пропажу тамъ-то и тамъ-то. Это стало у насъ въ родѣ налога, который рано или поздно приходится заплатить каждому любителю-коневладѣльцу. Люди опытные, умные въ такихъ случаяхъ, даже не заявляютъ въ полицію, а просто говорятъ:

— Ну, вотъ, очередь платить налогъ дошла и до меня. Заплатимъ.

И платятъ. А потомъ,—надо и конокрадамъ отдать справедливость,—очень надолго остаются отъ нихъ застрахованными.

— А пробовалъ, все-таки, кто-нибудь заявлять въ полицію?

— Бывали горяченькіе.

— Что же?

— Безполезно, конечно. Ну, что при нашихъ степяхъ, съ ихъ тысячами дорогъ на весь свѣтъ, полиція въ состояніи сдѣлать? Если полиціи не помогутъ обыватели, она безсильна. А обывателю-крестьянину, что чалдону, что переселенцу, какой разсчетъ ловить конокрадовъ, ежели угнанъ не деревенскій табунъ, а городской коняка? Зачѣмъ? Чтобы потомъ, въ скорую отместку, лишиться своей собственной животины? Опять же деревенщина у насъ горожанъ не любитъ: еще сама поможетъ конокраду, который пошелъ набивать руку по городскимъ конямъ, помирволитъ и самому укрыться, и добычу укрыть. Да, притомъ, у нихъ, у конокрадовъ въ городу—своя полиція, лучше казенной. Всѣ планы, событія шельмамъ извѣстны за полчаса до свершенія и противъ всѣхъ сейчасъ же приняты мѣры. Лучше съ ними ладить, а то озлобятся, примутся мстить, пуще обокрадутъ, пустятъ краснаго пѣтуха, либо насмѣются такъ, что потомъ срамъ выйти на улицу. Вонъ, купецъ Остаповъ погорячился, не пошелъ на сдѣлку, заставилъ: пусть полиція ищетъ. А на завтра исправникъ получаетъ подметное письмо,—да еще стихами, вообразите, подлецы изобразили:

Ахъ, ты, исправникъ нашъ прекрасный,
Не посылай людей напрасно:
Сего октября двадцать второго дня
Облупили мы Остапкина коня,
О чемъ докладаемъ въ сей бумагѣ,
А падло ищи въ Аѳонькиномъ оврагѣ.

На зло зарѣзали. А цѣна коню была пятьсотъ рублей, иноходецъ сѣрый въ яблокахъ. Вотъ каковъ народецъ Божій! Такъ что, сударь, ужъ если случится вамъ такая бѣда, что очередь дойдетъ до васъ, мой вамъ опытный совѣтъ: откупайтесь, дѣла не начинайте, а то и коней не получите, и съ начальствомъ въ своемъ неудовольствіи напрасно поссоритесь, да еще поставятъ васъ, шельмы, въ дураки, высмѣютъ по всему городу. Это все испытанное.

Впослѣдствіи я провѣрилъ слова домохозяина по другимъ разговорамъ. Михайло Ивановичъ оказался бытописателемъ не только правдивымъ, но даже черезчуръ осторожно повѣствующимъ. Мнѣ сообщили, что за коня, украденнаго въ выкупъ, можно торговаться на почти что открыто существующей, своеобразной биржѣ: для этого стоитъ только отправиться въ кабакъ имя рекъ, а тамъ уже самъ подойдетъ къ тебѣ парень такой-то изъ лица и въ такой-то поддевкѣ и заведетъ съ тобою обиняковую рѣчь о пропажѣ. Господа конокрады—люди съ гоноромъ и съ большою осторожностью, и потому лучше идти въ кабакъ торговаться съ ними самолично, а кучера или довѣреннаго не посылать, такъ какъ, по-ихнему, «довѣренный—человѣкъ невѣрный». Если вы сторговались, но лошадь ваша угнана далеко, такъ что на ея возвращеніе требуется нѣсколько дней,—то вы имѣете право и возможность просить, чтобы на это время вамъ для надобностей вашихъ была поставлена другая лошадь, и желаніе ваше будетъ исполнено со всею любезностью.

— Ну, а какъ же возвратить ворамъ эту временную лошадь, когда они доставятъ вашу собственную?

— Очень просто. Вы вводите свою лошадь во дворъ, ставите на конюшню, а чужую, въ ночь, выводите на улицу и привязываете или просто оставляете бродить за воротами. Дальнѣйшее васъ не касается.

— А развѣ хотя бы вотъ такія эксцентрическія возвращенія не могутъ сдѣлаться для конокрадовъ полицейскою ловушкою?

— Пробовали...

— И?

— За это самое у насъ въ пятомъ году городъ горѣлъ. Домовъ сотню выхватило пламенемъ. Конокрада-то не поймали,— изъ револьвера отстрѣлялся,—а на тей же недѣлѣ полетѣлъ по улицѣ красный пѣтухъ... да въ самую буревую погоду! Да! Вотъ то-то и оно-то. У насъ пожара

пуще всего на свѣтѣ боятся, потому что для нашего города не можетъ быть бѣды его злѣе. И всегда такъ будетъ, покуда города стоятъ деревянные. Въ деревянномъ городѣ— лихіе люди, которые, собравшись скопомъ, предпринимаютъ злое, всегда должны имѣть надъ жителями очень большую, угрожающую власть. И полиціи всегда придется пасовать предъ ними, потому что на пожарныя трубы мы уповаемъ мало, а огня да вѣтра боимся просто до ужаса...

Признаюсь, послѣ такихъ разговоровъ, я не безъ живого, хотя нѣсколько жуткаго, любопытства ожидалъ, когда очередь «налога» коснется меня, давъ мнѣ возможность познакомиться практически съ «удалыми» воровской биржи, поставленной, какъ читатель слышитъ, въ условія прямо какого-то торговаго дома, солидной фирмы по конскимъ дѣламъ. Но, должно быть, мои дешевыя и малорослыя, мѣстной породы лошадки не представили господамъ промышленникамъ особо лестнаго соблазна, такъ что романтическія ожиданія остались втуне. Зато вотъ чужой случай, котораго я самъ былъ свидѣтелемъ. Выѣхалъ я за городъ кататься. На окраинѣ— кабакъ, не тотъ знаменитый, конокрадческій клубъ, а просто кабакъ, одинъ изъ сотни содержимыхъ, въ ожиданіи смѣны монополіей, кандидатомъ правъ Ѳемистоклюсомъ Маниловымъ. Подъѣзжаетъ къ кабаку въ телѣгѣ здорово пьяный мужикъ, идетъ въ кабакъ, лошадь съ телѣгою оставляетъ у крыльца не привязанную. Нѣсколькими минутами позже, меня обгоняетъ вскачь, грохоча телѣгою по мерзлымъ колеямъ, на той же лошади, другой мужикъ, молодой еще малый. Я его окликнулъ:

— Куда такъ шибко гонишь?

Не отвѣтилъ. Думаю: не ладно. Похоже, что парень лошадь угналъ. Возвращаюсь въ городъ. У кабака—толпа мужиковъ. Машутъ руками, кричатъ, но безъ особаго одушевленія, а точно необходимый обрядъ совершаютъ.

— Выпилъ шкалку, вышелъ, сѣлъ въ телѣгу и уѣхалъ.

— Я ему говорю: не трожь, нешто твой конь? А онъ мнѣ:—Коли ежели я хочу на емъ ѣхать, такъ, значитъ, что мой.

— Кнутищемъ махнулъ и погналъ, и погналъ...

— Вотъ, когда погналъ-то онъ, тутъ ужъ я, братцы, и догадался, что воръ: свой хозяинъ такимъ способомъ не станетъ гнать животину по городу, среди бѣла дня...

Потерпѣвшій отъ кражи мужикъ, пьяный нѣсколькими градусами глубже, чѣмъ когда входилъ въ кабакъ, тоже весьма спокойно новторялъ:

— Ишь, мерзавецъ, с... с...! Я его, какъ добраго, водкою просилъ... А онъ... ахъ, ахъ, ахъ! на мово коня, какъ на свово коня... Ахъ, ахъ, ахъ! денегъ стоитъ конь, сорокъ пять рублей плаченъ.

— Не тужи, дядя! Найдется...

— Вѣстимо, найдется: не рѣзать же эку лошадь, выкупъ возьметъ... Но только—какъ же это? Я его водкой поилъ, заѣдковъ ему поставилъ...

На завтра новостью городского дня было: убили вчерашняго конокрада.

— Неужели до смерти?

— Нѣтъ, живъ, но, должно быть, умретъ: очень ужъ основательно выколоченъ, едва дышетъ.

— Гдѣ же его, бѣднаго, такъ обработали?

— Да все тамъ же, у кабака.

— Какъ? Онъ посмѣлъ показаться въ кабакѣ, отъ котораго вчера увелъ лошадь?

— Отчего не смѣть? Онъ не зря пришелъ, по дѣлу: торговаться съ хозяиномъ, котораго обезлошадилъ, сколько тотъ дастъ на выкупъ.

— Конечно, этотъ именно хозяинъ его и изутюжилъ?

— Нисколько не онъ. Напротивъ, они отлично между собою сторговались за семь рублей, ударили по рукамъ, выпили мировую. Да только вотъ воръ этотъ оказался ужъ слишкомъ озороватый и наглый парень.

— Что же?

— Да, какъ выходитъ онъ изъ кабака — спьяну ли, сдуру ли — вздумалъ продѣлать ту же вчерашнюю штуку. Стояла по близости парочка Парфенова, тысячника, съ санками; съ утра-то сегодня, знаете, снѣгъ было выпалъ. Вдругъ воръ нарфеновскаго работника въ ухо, тотъ съ ногъ долой—брыкъ, а воръ—прыгъ въ сани, ударилъ возжами и поскакалъ. И вѣдь совсѣмъ было угналъ, песъ, да не потрафилъ на мостъ: сани перекинулись на бокъ, а пристяжная занеслась черезъ постромку, начала бить задомъ. Ну, сбѣжался народъ, нагнали, подняли вора изъ-подъ саней и приняли въ кулачищи... А тотъ мужикъ, вчерашній-то, ограбленный, еще даже заступался: батюшки,—проситъ, не убейте, голубчики, его, подлеца моего, до смерти! у меня съ нимъ по рукамъ бито—коли убьете, пропадать моему коню...

При столь профессіональной постановкѣ конокрадства, о рѣдкой лошади въ степной Сибири можно утверждать съ увѣренностью, какими путями прошла она черезъ десятки рукъ, прежде чѣмъ очутилась на конюшнѣ у своего пріобрѣтателя, и насколько законны права на нее всѣхъ этихъ безчисленныхъ владѣльцевъ. Меня самого по поводу одной изъ лошадокъ, съ покупкою которыхъ поздравлялъ меня Михайло Ивановичъ, ждалъ довольно конфузный и непріятный разговоръ на базарѣ. Ходитъ вокругъ да около краснобородый мужикъ изъ зажиточныхъ, уже обсидѣвшихся на сибирской землѣ, старыхъ переселенцевъ. Все приглядывается.

— Что, дядя? Узоровъ на коню ищешь?

— Да, вишь ты, диковина... Твой что ли будетъ конекъ, баринъ?

— Мой.

— Та-акъ. Давно владаешь?

— Нѣтъ, только-что купилъ.

— Та-а-къ. Отъ кого,—дозволь спросить?

*

— Отъ купца Бандуренкова.

— Такъ. А онъ у кого взялъ?

— Это, братъ, ступай, его спрашивай: купецъ извѣстный, богатый, торговля у него большая. Богъ его знаетъ, откуда онъ лошадей приводитъ.

— Такъ, такъ. Конечное дѣло,— гдѣ коня черезъ всѣхъ хозяевъ услѣдить? Я, баринъ, потому тебя пытать осмѣлился, что призналъ коня. Мой онъ, конь-то, домороценный...

— Вотъ тебѣ на! А не врешь ли, дядя?

— Ей Богу, право, мой. Если хочешь, тутъ же на базарѣ и свидѣтелей найду, что мой. Десятый годъ, какъ онъ у меня со двора угнатый. Панфилка Чертобродъ свелъ,— вотъ котораго, чать слыхалъ, дѣло было въ судѣ, будто его татары на Абаканѣ забили и въ воду бросили...

Начинаетъ разсказывать примѣты лошади. Убѣждаюсь, что вѣрно,—настоящій хозяинъ, не самозванецъ.

— Какъ же, дядя, намъ съ тобою теперь быть? Вижу, что, точно, лошадь была твоя. Какъ же намъ дѣлиться-то ею? Я за нее тоже только-что заплатилъ хорошія деньги.

— Что ты! Господь съ тобою! Нешто я къ тому рѣчь велъ, чтобы дѣлиться? Она, небось, за десять-то лѣтъ, какъ мало-мало не жеребенкомъ выкраденная, сто хозяевъ успѣла перемѣнить. Никакихъ правовъ за мною на нее нѣтъ. Я къ тебѣ не съ кляузою, а вижу: будто конь знакомый? никакъ мой? Анъ, и въ самомъ дѣлѣ мой. Ну, на радости свидѣться, наше вамъ почтеніе.

И онъ привѣтствовалъ животину самымъ глубокимъ и комическимъ поклономъ, а конь почему-то необыкновенно сердито мигалъ на него гордыми, ярко-коричневыми глазами.

— А, съ найденышемъ моимъ васъ поздравя, не будетъ ли съ твоей милости на чаекъ?

Я далъ мужику рубль, и мы разстались друзьями.

Послѣ ѣду къ Бандуренкову.

— Послушайте, Митрофанъ Козьмичъ,—какую лошадь вы мнѣ продали?

— А что? Неужели съ норовомъ или съ пороками? Кажется, аккуратненькій во всѣхъ статьяхъ, чистенькій конекъ: особо для васъ старался, не въ наживу, а для уваженія...

— Не то. Она, оказывается, краденая. Сейчасъ на базарѣ ее опозналъ прежній владѣлецъ.

Бандуренковъ широко открылъ глаза:

— Ну, такъ что же?

— Да, какъ же это?

— Вамъ-то какое дѣло?

— Знаете, все-таки... ѣздить на краденой лошади...

Купецъ посмотрѣлъ на меня, какъ на грудного младенца.

— А на какой же еще ѣздить? Гдѣ я вамъ найду не краденую? Всякая порядочная лошадь была когда-нибудь краденая. Вы ее купили у меня честно. Я купилъ ее у татарина честнаго. О немъ я тоже знаю, что онъ осторожный: краденыхъ лошадей изъ первыхъ рукъ не покупаетъ. Ну, а у кого купилъ ее тотъ, отъ кого татаринъ купилъ,— о томъ, извините, не допрашивалъ. Если этакъ копаться въ лошадиныхъ родословныхъ и передаточныхъ, такъ, по нашимъ мѣстамъ, и вовсе нельзя коней держать,—развѣ что польститесь имѣть какихъ-нибудь одровъ скелетныхъ или демоновъ норовистыхъ. Потому что, ужъ если коня никогда никто не кралъ, то, вѣрно, грошъ ему цѣна... Заботьтесь о томъ, чтобы самому купить коня въ законномъ порядкѣ, а о прошлыхъ владѣльцахъ думать плюньте. Чортъ ихъ теперь разыщетъ! Небось, давно на Сахалинѣ гніютъ...

— Нѣтъ, моего предшественника, говорятъ, на Абаканѣ татаре забили...

— Татаре?—съ удовольствіемъ, вкусно сказалъ купецъ,—татаре забьютъ! Къ нимъ конокрадъ не попади: не шутятъ.

Быструю перепродажу краденыхъ лошадей изъ рукъ

въ руки,—такъ что вскорѣ всякій слѣдъ заметенъ, и совершенно теряется запутанная линія преемства во владѣніи, и давность хищническаго пользованія торжествуетъ надъ правомъ собственности законной,—зло это думаютъ иные парализовать введеніемъ такъ называемыхъ конскихъ паспортовъ, обязательно переходящихъ отъ каждаго продавца къ каждому пріобрѣтателю. Въ крестьянствѣ, сколько я разговаривалъ объ этомъ проектѣ, онъ вызывалъ дружный и не особенно уважительный смѣхъ.

— Баринъ милый,—говорили мнѣ,—чего у васъ въ городу не придумаютъ? У насъ и на человѣчьи-то паспорта начальство рукою машетъ.

— Нешто на нашихъ палестинахъ можно по паспорту человѣка услѣдить? А ужъ куда тамъ скотину!

— На Фитькиномъ заводѣ только деньги заплати: какой хочешь тебѣ паспортъ сдѣлаютъ, съ законными печатями, съ подписями: на весь бѣлый свѣтъ—гуляй, не хочу. А если ты человѣкъ богатый и не жалѣешь казны, заплати сторублевку: приладятъ тебѣ такіе «глаза», что хоть прямо поступай съ ними на службу, въ самый городъ Петербургъ. Графомъ тебя пропишутъ, медали, кресты обозначатъ. Рисовальщики, дьяволы! Такъ вотъ и посуди: людямъ паспорта дѣлаютъ,—за лошадиными ли быть остановкѣ? Плевое дѣло. Двугривенный будетъ вся цѣна мастерству...

Есть еще болѣе серьезная причина, почему всякія письменныя удостовѣренія личности, лошадиной ли, человѣческой ли, совершенно безсильны и безполезны въ этомъ, какъ черная ночь, темномъ краю. Это—поголовная безграмотность, о которой я уже говорилъ ранѣе. Ввести въ южно-сибирскій обиходъ лошадиные паспорта значитъ только прибавить нѣсколько десятковъ рублей ежемѣсячнаго дохода волостнымъ писарямъ, письмоводителямъ крестьянскихъ начальниковъ, становыхъ и т. д.

— Паспортъ,—мрачно говорилъ мнѣ старый сибирскій полиціантъ,—въ сихъ двусмысленныхъ мѣстахъ штука

двуострая-съ, а весьма часто-съ даже и нелѣпая-съ, такъ какъ, если бы мы паспортамъ безусловно довѣряли и все, что въ нихъ прописано, принимали за чистую и непреложную истину-съ, то вѣрьте мнѣ: въ какіе-нибудь два—три мѣсяца уѣздъ нашъ оказался бы заселеннымъ столь привилегированными особами, что — почитать ихъ паспорта, оторопь возьметъ отъ однихъ титуловъ. Фабрикованный, кукольный паспортъ—язва нашихъ мѣстъ. Вотъ почему мы въ Сибири совершенно равнодушны къ прописке и провѣркѣ паспортовъ, которая въ Россіи составляетъ всю суть полицейскаго наблюденія. Я въ Россіи не служилъ, тамошнихъ порядковъ не знаю. Быть можетъ, тамъ паспортная система и имѣетъ еще какой-нибудь смыслъ, но у насъ—ни малѣйшаго. Что же я буду прописывать васъ по паспорту, какъ Ивана Ивановича Иванова, когда вы, въ дѣйствительности, Петръ Петровичъ Петровъ, а при желаніи, можете вынуть изъ кармана и представить къ прописке еще хоть десять паспортовъ, по которымъ вы наизаконнѣйшимъ образомъ выходите и Карповъ, и Сидоровъ, и Антоновъ? При совершенствѣ нынѣшней владивостокской, забайкальской и японской поддѣлки, легальнаго человѣка отъ нелегальнаго по паспорту отличить невозможно-съ...

— А какъ же вы, все-таки, отличаете? Вѣдь бываютъ же случаи, когда вы должны...

— А вотъ, именно «случаевъ» ждемъ. Запрашиваютъ насъ откуда-нибудь: нѣтъ-ли у васъ такого-то Ѳедота, а примѣты и приблизительное прошлое его такія-то. Мы отвѣчаемъ: Ѳедота у насъ нѣту, но есть Онисимъ, весьма подходящій подъ ваши обозначенія. Почему, буде требуется, можемъ прослѣдить Онисима, не есть ли онъ искомый Ѳедотъ. Паспортъ же у Онисима въ совершенномъ порядкѣ.

— Такъ что, если объ Онисимѣ Ѳедотѣ нѣтъ никакихъ запросовъ и самъ онъ сидитъ тихо, ведя себя смирно и не попадая въ исторіи, то мирное существованіе его обезпечено, хотя бы паспортъ его и былъ японскаго происхожденія?

— Конечно. Потому что массовая провѣрка паспортовъ, при нашихъ разстояніяхъ, немыслима, и, слѣдовательно, мы должны принимать черное по бѣлому на вѣру до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не подастъ своимъ поведеніемъ повода изслѣдовать его ближе и глубже. А если человѣкъ живетъ смирно, ведетъ себя исправно, никакихъ поступковъ не являетъ, никѣмъ дурно не аттестуется,— кто къ нему полѣзетъ за паспортомъ? Зачѣмъ?.. Поголовкиныхъ изволите знать?

— Какъ же.

— Почтенное семейство, и люди весьма достаточные. Дѣдушка ихъ умеръ два года назадъ, фирмы основатель. Благороднѣйшій былъ старичекъ, хотя такъ до конца дней своихъ и не умудрился грамотою. Основался онъ въ нашихъ мѣстахъ еще до воли, слѣдовательно, прожилъ здѣсь не менѣе сорока лѣтъ. Нажилъ состояніе, семью взбодрилъ и выростилъ, а паспорта его никто никогда не видалъ, и былъ ли у него таковой, и точно ли онъ Поголовкинъ, а не Ванька Каинъ, такъ съ нимъ въ могилу и кануло... На совѣсть за хорошія деньги попъ съ женою обвѣнчалъ, на совѣсть дѣтей въ метрику записали, на совѣсть въ свое время торговыя права оборудовалъ, на совѣсть нотаріусы всю жизнь акты его свидѣтельствовали... И надо къ чести его приписать, въ самомъ дѣлѣ былъ старикъ чрезвычайно какой справедливый и совѣстливый, заслуживалъ всякаго должнаго довѣрія и даже изъ себя былъ, какъ самый солидный патріархъ Енохъ, котораго за святость ангелы живого на небо взяли. А, при всемъ томъ, умерши, когда потребовался его документъ къ уничтоженію, оказался онъ не болѣе, какъ безпаспортный человѣкъ, и какого, собственно, рода-племени,—неизвѣстно, а равно и которыя имѣлись за нимъ художества, и гдѣ онъ настоящій свой документъ, вмѣстѣ съ подлиннымъ званіемъ и совершенными въ ономъ художествами, оставилъ.

# Яшка.

Когда воръ Яшка выскочилъ изъ хаты на крыльцо, мужицкая толпа широко отъ него шарахнулась.

— Съ кольями? Перестрѣляю подлецовъ!

Полупьяный, разсвирѣпѣвшій красавецъ-Яшка былъ страшенъ.

— Видали, дьяволы?

Въ обѣихъ рукахъ конокрада сверкало по револьверу. Онъ грозно водилъ дулами по мужицкому кругу. Мужики тупились и вздыхали. Они знали, что Яшка стрѣляетъ лѣвою рукою такъ же хорошо, какъ и правою.

— Всѣхъ не перебьешь, Яковъ Евстигнѣичъ,—вполголоса сказалъ изъ перваго ряда толпы сивобородый, смирнаго вида, хорошо одѣтый, голубоглазый старикъ. Насъ, можетъ, болѣ ста человѣкъ. Мы тебя свяжемъ.

— Хоть триста!.. Я васъ изъ хаты, какъ собакъ...

— Хату, Яша, и запалить не долго! — насмѣшливо крикнулъ молодой парень въ новомъ полушубкѣ.

Яшка его передразнилъ.

— Запалить? Село пустить по вѣтру желательно? Поди, у теленка ума наберись!

— Вѣтеръ отъ жила, Яша, — тихо и степенно возразилъ голубоглазый старикъ.—Не супротивься, голубь, не озорничай. Мы тебя свяжемъ.

— Въ хату запросился?—горласто завопилъ кто-то, прорываясь голосомъ сквозь общее тихое гудѣніе толпы.

Ништо! Пущай въ хату идетъ. Ты еще вступи, вступи въ нее—въ хату-то!..

Кругомъ громко и злобно захохотали. Яковъ посмотрѣлъ въ ту сторону и погрозилъ револьверомъ:

— Эй, ты, рыжій! Перваго...

Рыжій присѣлъ за другихъ, но продолжалъ дразниться.

— Вступи, вступи...

Яшка нащупалъ ногою позади себя дверь, которую,— онъ хорошо помнилъ, — выбѣгая, оставилъ открытою. Дверь, оказалось, захлопнута. Яковъ сунулъ одинъ револьверъ въ карманъ полушубка, закинулъ за спину лѣвую руку, дернулъ скобу,—дверь не подалась. Толпа гулко и злорадно гоготала. За дверью тоже слышалось сочувственное хихиканье: смѣялась хозяйка хаты, деревенская проститутка Марина — Далила, выдавшая степного Самсона филистимлянамъ-новоселамъ.

— Видишь, Яшенька,—ласково уговаривалъ сивобородый патріархъ,—никакъ нельзя тебѣ войти въ хату. Чувствуешь: Марина Степановна нашу сторону держитъ. Уговорено у насъ съ нею. Свяжемъ, голубь!

Конокрада шатнуло.

— Что-й-то, ровно бы у меня мозги стынутъ? подумалъ онъ, съ мгновенною тьмою передъ глазами, но тотчасъ же справился съ собою.

— Шкура!

Онъ широко разставилъ ноги, быстро нагнулся и, повернувъ револьверъ между колѣнъ, выстрѣлилъ назадъ, въ дверь. Короткій, дикій крикъ далъ знать, что пуля прошибла доски и не пропала даромъ. Толпа ахнула, словно зѣвнулъ огромный звѣрь... Яшка ожилъ.

— Всѣхъ, черти! всѣхъ!—ревѣлъ онъ, топая ногами.

— Господи Іисусе...—громко шепталъ голубоглазый старикъ.

Толпа вдругъ притихла и угрюмо молчала. Столько

людей въ ней переминалось съ ноги на ногу, что, казалось, вся она качается, какъ камышъ подъ вѣтромъ... И это молчаливое качанье смущало Яшку.

— Не галдятъ, сволочи,—думалъ онъ.—Худо. Крѣпко удумали. И бабъ не видать! Не взяли. Въ сурьезъ брать желаютъ...

— Яша! — стоналъ голубоглазый. — Не надо! Яша! Помни Бога, не порти народъ!.. Чего?.. Міромъ навалимся, свяжемъ.

Яшка соображалъ. Броситься на толпу, пробить сквозь нее путь выстрѣлами... А дальше? Кони въ степи... Бѣжать пѣшимъ? Много ихъ, анаѳемъ,—загонятъ... Камни швырять, злодѣи, станутъ, съ ногъ собьютъ, а—разъ упалъ, не встанешь, и револьверы не въ помочь... Кто-нибудь порадѣетъ міру, подъ ноги кинется. Да, гляди, на деревнѣ и путцы протянуты... На бѣгу, сзаду,—ослопомъ въ затылокъ махнутъ... Нѣтъ, нельзя сейчасъ сходить съ крыльца, нельзя показать спину мужикамъ... Ишь, осатанѣли... Тверезые, не галдятъ... И снова почудилось Яшкѣ, что у него замерзаютъ мозги.

— Вы что же?—сдѣлавъ огромное усиліе надъ собою, заговорилъ онъ съ презрительною усмѣшкою.—Начальству хотите меня отдать?

Толпа молчала и качалась. Голубоглазый топтался ближе всѣхъ.

— Къ начальству, спрашиваю?—властно крикнулъ на него Яшка.

Старикъ весь затрепеталъ, заболталъ головою и руками.

— Н-нѣтъ,—вымолвилъ онъ совсѣмъ кривымъ ртомъ и упорно глядя въ сторону.—Мы уже, Яша, того... положили, чтобы самимъ...

— Т-а-къ...

Вся краска сбѣжала съ лица конокрада. Онъ стоялъ на крыльцѣ, бѣлый съ лица, какъ платъ, а глаза, сдѣлав-

шись огромными и черными, какъ ночь, мрачно горѣли и сознательнымъ гнѣвомъ униженнаго сильнаго человѣка, и инстинктивнымъ ужасомъ загнаннаго звѣря.

— Та-а-акъ...—глубоко вздохнулъ онъ.—Славно! Это, стало быть, вы намѣрены мнѣ кишки на колъ вымотать?.. Такъ!.. Ничего себѣ придумано, довольно очень даже хорошо...

Толпа молчала.

— А то, можетъ быть, на воротахъ за ноги подвѣсите, да полѣньями по спинѣ? Неглупые вы ребята!..

Онъ расхохотался дѣланымъ, злымъ смѣхомъ и сѣлъ на верхней ступенькѣ крыльца. Нижняя челюсть у него такъ и ходила. Сотни изумленныхъ, мрачныхъ взглядовъ исподлобья уставились на него.

— Ты что же, Яша?

— Ничего. Вы постойте, а я посижу, на васъ посмотрю. Не на безлюдьи живете, галманы,—на проѣзжемъ тракту.

— Такъ, такъ...

— Подъѣдутъ какіе-нибудь пассажиры,—тогда сдамся, на ихъ поруку: пусть везутъ къ начальству въ городъ, въ острогъ... А вы—шалите! Молоды Яшку взять. Что вздумали?! Добро бы чалдоны, а то новоселы, рассейскіе. Откуда прыть берется?!

— Яша!..

— Съ мѣста не сойду.

— Яша!

— Къ чорту.

— Яша, міромъ навалимся...

— Н-ну-у!—свирѣпо зыкнулъ Яковъ, выставляя впередъ револьверы. Толпа, глухо ворча, отступила, но не разомкнула своего темнаго, плечо къ плечу, кольца.

— Еще разъ, другой можно пугнуть: подѣйствуетъ,—подумалъ Яковъ.—А потомъ обвыкнутъ... кинутся... Господи ты, Боже мой, хоть бы ѣхалъ кто скорѣича.

Страшная тоска опасности на сердцѣ и гнѣвъ противъ мужичья, которое посмѣло взять въ осаду его, на всю степь знаменитаго вора, такъ и подмывали Яшку пустить выстрѣлъ въ толпу, но онъ былъ опытный налётъ, и зналъ, что нельзя. Мужиковъ слишкомъ много, настроены они слишкомъ грозно и рѣшительно! Сейчасъ держитъ ихъ, не допуская до крыльца, только роковое очарованіе смертельной угрозы,—никому не достаетъ рѣшимости первому схватиться за смертный жребій. Но—грянетъ выстрѣлъ, упадетъ первая жертва, и очарованіе растаетъ, рухнетъ: всѣ ринутся, задавятъ, растопчутъ. Пяти минутъ не пройдетъ,—останутся отъ Яши кровавые лохмоты... Мозги опять стали застывать. Яшка тряхнулъ головою.

— Холодно сегодня,—какъ сумѣлъ, непринужденно сказалъ онъ ближнему мужику. Тотъ, суровый, черноусый, съ крупными морщинами на щекахъ, посмотрѣлъ дико, пожевалъ губами, сплюнулъ и не отвѣчалъ...

— Градусовъ на тридцать, пожалуй, будетъ,—продолжалъ Яшка.

— Яшка!—тоскливо воскликнулъ голубоглазый старикъ:—побойся Матери Пречистой! Отдавайся! Докуда будешь озорничать?

— Подъѣдутъ проѣзжіе, сдамся. Жизнь-то, братъ, у меня одна.

— Да, можетъ, до вечера никого не будетъ?

— До вечера и буду сидѣть. А вы постойте!

— Захолодаешь въ полушубкѣ-то... Лопатинка жидкая...

— Ишь, жалостливый! Небось, братъ: мы—степовые...

— Мы-те, Яша,—ты не уповай,—не выпустимъ.

— Наше дѣло.

Господи, да пошли же, пошли ты хоть кого-нибудь!.. И куда, куда запропастились сегодня всѣ ѣзжалые люди? То—дорога на десятки верстъ, не смолкая, тарахтитъ по безснѣжью тарантасами, а нынче степь мертва, мертва...

— Отпусти, Яша, народъ: отдайся...

— Кабы къ начальству отвезли, сдался бы, а то— на-ка! убить!

— Да что те начальство-то?—сипло вмѣшался черноусый мужикъ.—Сахаръ что ли? Эхъ!

— Молчи, курская деревня, коли умъ нищимъ за процентъ отдалъ...

— Никакъ нельзя намъ, Яша, тебя по начальству представлять,—жалостно пронылъ голубоглазый:—начальство тебя, Яша, выпуститъ...

Яша зло захохоталъ:

— Да, выпуститъ: на Сахалинъ!

— Ты убѣгешь, Яша.

Въ заднихъ рядахъ, толпа, прозябая, начинала гудѣть все болѣе и болѣе громкимъ нетерпѣніемъ. Яшку это радовало. Не выдерживаетъ мужицкій характеръ, — соскучились, захолодали, скоро, поди, жрать захочутъ... Слабый народъ... Рассейскіе... Мы, степовые, выдержимъ!.. И, крѣпко стиснувъ зубы, опустивъ на глаза тяжелыя, мохнатыя брови, воръ сидѣлъ передъ мужиками, какъ живой истуканъ гнѣвнаго упрямства. Голова его работала быстро, лихорадочно. Яшка уже надумалъ кое-что и теперь «обсмаркивалъ». Обсморкалъ и улыбнулся... Отлегло, на душѣ легче стало.

— А? Кишки коломъ вертѣть? На ворота вѣшать?— заговорилъ онъ вслухъ самъ съ собою, самымъ разсудительнымъ и даже негодующимъ тономъ.

Черноусый мужикъ угрюмо посмотрѣлъ на него, сдѣлалъ злобное движеніе... удержался и промолчалъ.

— Нешто можно? Гдѣ такой законъ? Покажи законъ.

Промежду двухъ мужичьихъ головъ, тощихъ и длинныхъ, высунулась изъ второго ряда третья—круглая, толстая, съ выпученными изъ-подъ синей шапки, сѣрыми глазами, вся въ бѣлесыхъ волосахъ—только носъ пуговицею торчалъ изъ запотѣвшей бороды.

— Да тебя!—запищала голова озлобленнымъ и высо-

чайшимъ дѣтскимъ фальцетомъ,—да тебя, за мой табунъ, не то, что кишки... да тебя... ахъ-ахъ-ахъ!..

— Утрись!—спокойно сказалъ Яшка.

Голова замигала глазами, какъ отрубленная, и сконфуженно нырнула въ толпу. Но на смѣну ей, со всѣхъ сторонъ полѣзли головы, головы, головы—головы и шапки: шапки рваныя, шапки цѣлыя, шапки матерчатыя, шапки собачьихъ мѣховъ.

— Терпѣнія нашего съ тобою нѣтъ!

— Грабитель! Перцовъ сынъ!

— Мою каурыхъ пару, Якима Митрева, помнишь? Иродъ! Кумомъ звался! Совѣсти нѣтъ.

— Пусти, Кирша, я ему докажу, какую онъ, воръ, имѣетъ праву...

— Троихъ жеребенковъ... Стригунки экіе, что малыя дѣтки...

— Законъ спрашиваетъ... Нешто законъ для воровъ?

— Колъ ему въ спину, а не законъ!

— Разорилъ!

— Дьяволъ ты, Яшка! Дьяволомъ тебѣ быть!

— Попалъ въ руки—натерпишься муки.

— Разорилъ!

— Я те пѣгого отслужу!

— Усѣ балки на степу протухли отъ дѣловъ твоихъ, чортъ пятнастый!

— Енисей падломъ сгнилъ!

— Гдѣ шкуры продаешь? сказывай, подлецъ!

— Сыскивать станемъ! Замяучишь!

— Помянешь мужицкую слезу... Наша деньга у Бога плачетъ.

— Коломъ его!

— Разорилъ!

— Дьяволъ!

Вопли басистые, визгливые, гнѣвные, плачущіе, слились въ общій дикій стонъ, который, казалось, возносился

до неба. Улица наполнилась безпорядочнымъ маханьемъ рукавовъ черныхъ, синихъ, коричневыхъ, надъ пестрыми мохнатками телячьихъ дохъ качались въ воздухѣ цѣпы, дубины, звѣрскія красныя лица перли впередъ. Картина была свирѣпая. Но Яшка сидѣлъ, довольный... Онъ дождался, чего желалъ: грозное единство, общее настроеніе толпы было нарушено. Къ нему приступалъ сейчасъ уже не міръ, страшный и холодный въ рѣшимости своей, какъ разрушительная стихія. Теперь каждый лѣзъ къ крыльцу самъ за себя, чтобы бросить вору въ лицо свою собственную обиду, поквитаться за одного себя. Ихъ было много, но каждый былъ теперь одинъ, а по одному Яшка никого не боялся.

— Загалдѣли,—самодовольно, какъ привычный тактикъ, смекалъ онъ.—Галдите, галдите... дурѣйте, дьяволы!.. Эге! И бабы подошли... Чудесно... Ладно...

Дѣйствительно, въ воющемъ гулѣ толпы стали прорываться пискливыя ноты женскаго плача и жалостной скороговорки. Бабы, кто одѣвшись, кто въ кофтенкахъ и кацавейкахъ на одно плечо, кто вовсе простыя—прямо съ постели и отъ печки, протискались въ задніе ряды. Однѣ ругались хуже мужиковъ и грозили вору полѣньями, ухватами, косарями:

— Разорвать тебя!

Другія визжали:

— Нешто возможно человѣка такъ очень просто убивать? Ты его поймалъ—въ судъ веди, а убивать не велѣно...

— Засудятъ, голубчики, всѣхъ васъ за вора Яшку засудятъ...

Болѣе рѣшительныя хватали мужей за рукава, за полы и тащили домой.

— Анисья! Прекрати!.. Въ морду...

— Да! Какъ же! Дѣтей вспомни, сибирскій огрызъ!

— Какое ты право имѣешь, чтобы мужа отъ міра?...

— Иди, иди, міровой... По тюрьмѣ встосковался?

— Коли ежели опчество?

— И опчество—дуракъ: ты мужикъ дѣтный,—не голодомъ дохнуть, покуда въ острогѣ будешь сидѣть.

— Матвѣвна, не моги...

— Что сыкаешься? Куда лѣзешь, непутева голова? Аль смерти хочешь? Гли глазами: у ево левольвертъ.

— Мамонька, убіетъ!

— Маринка-то идѣ? жива что ли ча?

— Убилъ, варваръ, убилъ.

— Всіехъ убіетъ!

— Убіетъ,—и есть.

Голубоглазый старикъ смотрѣлъ на сумятицу и слушалъ гулъ ея съ видомъ генерала, проигрывающаго сраженіе. Онъ потряхивалъ бородою и стоналъ:

— Ой, бабы! Ой, народъ!.. Яковъ! Не мути жителей!.. Яковъ! Крещеный ты аль нѣтъ?

Яковъ загадочно улыбался. Гулъ росъ. Двѣ-три бабы уже успѣли получить отъ мужей затрещины и выли на голосъ. Хаосъ звуковъ туманилъ головы. Орали и махали руками даже и тѣ, кто совсѣмъ не собирался ни орать, ни махать, и понималъ, что оно дѣлу порча—не слѣдуетъ. Въ заднихъ рядахъ,—въ суматохѣ, разногласіи и вздорахъ,—объ Яшкѣ, замѣтно, начинали забывать...

А передніе—такъ и бросились во всѣ стороны, сгибаясь въ полроста къ землѣ, въ паническомъ страхѣ, какъ испуганныя овцы, когда надъ головами ихъ внезапно затрещали, одинъ за другимъ, четыре выстрѣла на воздухъ, и Яшка, какъ бѣшеный волкъ, огромнымъ скачкомъ, ринулся въ толпу, опрокидывая грудью, сбивая, топча людей подъ собою. Когда мужики опомнились, надъ крыльцомъ расходилось облачко дыма. Якова было видать уже далеко на деревенской улицѣ. Толпа съ проклятіями, матерщиною, воемъ бросилась вдогонь.

Яшка шелъ скорымъ, ровнымъ шагомъ человѣка, который спѣшитъ, но не бѣжалъ, памятуя, что черезъ улицу

могутъ быть протянуты путы. Двадцать или тридцать саженъ, выигранныхъ имъ у врага, позволяли ему двигаться, не запыхаясь и не теряя силы. Воющая толпа набѣгала, но—Яшка обернулся, поднялъ револьверъ... волна отхлынула!

Мужиковъ сбивало съ толка, что, вырвавшись на свободу, Яшка, чѣмъ бы бѣжать въ вольную степь, ударился въ деревню. Зачѣмъ? Но вскорѣ Яшка удивилъ ихъ еще болѣе: пройдя около трети длинной деревенской улицы, онъ круто повернулъ во дворъ большой, лучшей въ строю, многостайной и глазастой окнами, избы. Толпа ахнула:

— Вавилъ Семенычъ, воръ-отъ къ тебѣ...

Голубоглазый старикъ, ошалѣлый, запыхавшійся, молча, утиралъ рукавомъ дохи потъ и кровь съ лица: когда толпа побѣжала отъ выстрѣловъ, его сбили съ ногъ, и Яшка, наступивъ, растопталъ ему носъ. Измятый, перепуганный, деревенскій Гостомыслъ ровно ничего не понималъ.

Въ ворота заглядывали, но во дворъ, гдѣ скрылся Яшка, никто войти не рѣшался. Жена голубоглазаго старика, молодая еще, худощавая, въ веснушкахъ, баба, съ двумя ребятами у подола, съ третьимъ на рукахъ, дрожала отъ холода и страха на крылечкѣ, повертывая, какъ гусь, шею съ долгоносою головою то къ толпѣ за воротами, то вглубь двора, къ амбарушкамъ. Она мигала, кивала... Присутствіе бабы съ младенцами ободрило мужиковъ. Одинъ по одному, они стали входить во дворъ, обжимаясь отъ воротъ къ крыльцу кругомъ по забору и избяной стѣнѣ.

— Митревна, гдѣ воръ-отъ?

Баба ткнула рукою въ воздухѣ, передъ носомъ младенца и прошипѣла:

— Въ тупичкѣ.

Опять изумилъ толпу Яковъ.

— На кой?

— Въ тупикъ зашелъ...

— Чего робить?

— Задѣлывается. Сани повалилъ, кошевку...

— А ты зачѣмъ сани давала? Стерва!—вдругъ преглупо разгорячился голубоглазый старикъ.

Баба насмѣшливо посмотрѣла на его разбитый носъ и ничего не сказала.

Тупичекъ, гдѣ пріютился Яковъ, помѣщался между двумя высокими амбарушками, прижатыми къ большому сараю. Ширины онъ былъ аршина два, глубиною сажени полторы. Лѣтомъ здѣсь стоялъ—отпаивался на продажу—теленокъ. Заваливъ устье тупика санями и кошевою, Яшка сидѣлъ въ узкой норѣ, видя надъ собою синюю полоску неба, а вокругъ себя—толстыя бревенчатыя стѣны, къ которымъ круто спускались острыя, высокія крыши,—безъ навѣсовъ, ради экономіи въ лѣсѣ. Мужики остановились передъ заваломъ, переглядываясь въ недоумѣніи. Бороды у нихъ заиндевѣли въ крутую, пошли бѣлыми, пушистыми завитками. Вспотѣвшія лица обмерзали.

— Слушайте вы, свиньи!—раздался властный голосъ Яшки.—Вы меня здѣсь лучше не троньте. У меня зарядовъ много: станете соваться ко мнѣ—выпустошу васъ, меньше дураковъ на степи будетъ. Жечь меня—врете: теперь не посмѣете, не то—всей деревнѣ конецъ. Шесты вздумаете ко мнѣ пихать,—тамъ у тебя, Вавило, въ колодѣ колунъ былъ воткнутъ, торчалъ... острый... ты не ищи: вотъ онъ...

— Это онъ все вѣрно. Сперъ топоръ, извергъ, сперъ, голубчики,—пригорюнясь, сообщила съ крыльца баба.

Мужъ погрозилъ ей кулакомъ. Потомъ откашлялся и молвилъ:

— Да-да-а... Такъ, стало быть, въ дырѣ и будешь сидѣть, Евстигнѣичъ?

— Такъ и буду.

— Да, да, да... А то вышелъ бы? а?

— Дубина!

— Да, да, да... Ей Богу ну, вышелъ бы?.. уважь отчество!..

*

— Свинцовымъ зерномъ—вотъ вамъ отъ меня уваженіе.

— Да, да, да... Обмерзнешь, Евстигнѣичъ.

— Это вы померзнете на вѣтру, чортовы головы, а у меня—какъ на печкѣ. Только, что бабы нѣтъ. Посылай свою: съ сыномъ будешь... На, держи!

Яшка, наглый, ухмыляющійся, выглянулъ изъ-за завала и швырнулъ въ толпу горсть пустыхъ револьверныхъ патроновъ.

— Угнѣздился, дьяволъ,—задумчиво произнесъ черноусый мужикъ, почесывая ушибленный глазъ.

Толпа, озадаченная, сконфуженная, хлопала глазами. Минуты томительно текли.

— Жрать хочется и соснуть бы лихо,—думалъ Яшка.—Ништо, потерпимъ: нонѣ въ добромъ мѣстѣ, въ острогѣ, ночевать,—и сытъ, и пьянъ спать лягу.

Минуты текли. Многихъ мужиковъ бабы увели-таки по домамъ. Иные зазнобились, соскучились, зазѣвали и ушли сами.

— Обмерзнешь, Яша...—цыкнулъ голубоглазый...

— Мы степовые.

---

Прошло съ часъ времени. Яковъ все сидѣлъ въ норѣ. Мужики все толпились по двору. На сценѣ появилось новое дѣйствующее лицо: здоровенный мужичинище, богато одѣтый въ жеребячью доху поверхъ черненаго барнаульскаго полушубка. По красному завѣтреному лицу, жесткой и прямоволосой, русой бородѣ, правильно-топорнымъ, словно рубленымъ чертамъ, а главное,—по стальному, холодному, смышленому, но ничего не говорящему, взгляду, онъ рѣзко отдѣлялся отъ окружавшихъ его съ почтительностью мякинниковъ-новоселовъ. Сразу, издали можно было признать коренного зажиточнаго сибиряка, богатѣячалдона. То былъ Иннокентій Псовыхъ, тысячникъ изъ ближней надъ-енисейской заимки, случаемъ завернувшій

къ новоселамъ, не ожидая удивительнаго происшествія, какое у нихъ засталъ. Теперь онъ стоялъ середь двора, высокій и прямой, какъ верстовой столбъ, съ мощною осанкою очень зоркаго человѣка—крѣпкоглазаго и привычнаго видѣть далеко въ степь, сквозь зимнюю метель и лѣтніе вихри Чалдонъ внимательно слушалъ торопливый разсказъ голубоглазаго мужика, а по лицу казалось, будто онъ думаетъ совсѣмъ о другомъ, такъ что голубоглазый, смущаясь этимъ отвлеченнымъ сибиряцкимъ мечтаніемъ, то и дѣло хваталъ собесѣдника за доху.

— Да ты слышь-ка, милый человѣкъ?..

— Звони, звони, — невозмутимо отвѣчалъ чалдонъ, словно все болѣе разсѣянный. Покуда старикъ «звонилъ», Псовыхъ запустилъ руку въ карманъ, вытащилъ горсть сибирскаго «разговора»—кедровыхъ орѣховъ. Голубоглазый умолкъ.

— Лѣстница большая есть? Которая на случай пожара? — спокойно спросилъ чалдонъ, отплевывая скорлупу.

— Есть, купецъ,—польстилъ новоселъ: мужики-чалдоны любятъ въ купцахъ слыть...—Какъ не быть лѣстницамъ? Начальство обязываетъ... Которая мала будетъ, двѣ свяжемъ.

— Тьфу, тьфу... а чанъ—тьфу, тьфу—есть?

— Безъ воды не живемъ, найдется.

Больше чалдонъ не удостоилъ новосела разговоромъ, а только мигнулъ ему лѣвымъ глазомъ:

— Слѣдуй, дескать, за мною...

---

Яшка въ норѣ своей чувствовалъ себя весьма недурно. Онъ отдохнулъ тѣломъ и повеселѣлъ духомъ. По солнцу онъ видѣлъ, что остается часа два до полдня, а около этого времени, на тракту обязательно бываютъ проѣзжіе, поспѣвая на ближайшій станокъ, за шестнадцать верстъ, къ обѣду. Въ дополненіе удовольствія, въ толпѣ, окружавшей

его убѣжище, онъ замѣтилъ Далилу свою—Маринку, которую почиталъ убитою. Отлежавшись отъ обморока, причиненнаго испугомъ, она приплелась въ народъ, какъ ни въ чемъ не бывала,—выла, причитала и всѣмъ показывала безсильно висящую, правую руку и контуженное плечо...

— Стало быть, и убивства нѣтъ... Совсѣмъ плевое дѣло выходитъ... Стрѣлялъ, себя обороняя!.. Лихо! Погощу въ предварительномъ, какъ на постояломъ дворѣ...

Яшкѣ стало совсѣмъ радостно.

— А тамъ—дай Богъ только на волю выйти! Пожди вы у меня, проклятое кацапье! Живымъ быть не хочу,—научу васъ помнить, каково облавить Якова Евстигнѣича.

— Яковъ!—раздался вверху спокойный, ясный голосъ.

Воръ поднялъ глаза: на гребнѣ крыши сидѣлъ верхомъ чалдонъ и, равнодушно глядя къ нему въ нору, поплевывалъ кедрушками.

— Здравствуй, Яша.

— Ты?!.. Ну... Здравствуй... Чего? — огрызнулся Яковъ.

— Да, ничего. Сидишь, братъ?

— Глаза во лбу есть? Сижу.

— Сиди, сиди. Прищучили тебя сиволапые? а?

— Наше не ушло. Дай срокъ выйти: съ каждымъ подлецомъ сосчитаюсь въ особину.

— Такъ, такъ. Давай тебѣ Богъ лучшаго.

— Ты какъ туда попалъ?—подозрительно спросилъ Яковъ, играя револьверомъ.

— Лѣстницу подставилъ. Вонъ гляди...

Изъ-за гребня чуть-чуть торчали два рога лѣстницы.

— Ты, Яковъ Евстигнѣичъ, меня не бойся,—говорилъ чалдонъ. Я не съ дурнымъ. Я тебя, однако, беречи пришелъ. Сохрани Богъ! Какъ можно? Вижу: съ ума сошли мужики. Что такое? Какъ дерзаете? Развѣ дозволено самосудомъ? Всѣ будете на Сахалинѣ... Куда! Слышать не хочутъ,—остервенѣли, звѣрье...

— Черти!.. На крышу-то ты зачѣмъ? — нетерпѣливо перебилъ Яшка.

— На крышу-то? — протяжно переспросилъ чалдонъ. — А это—какъ увидѣлъ я, любезный человѣкъ, что ты со всѣхъ сторонъ хорошо защитился, и только сверху тебя можно достать,—тутъ я и надумалъ: ну, какъ вислоухіе догадаются? Убьютъ человѣка. Нехорошо. Сейчасъ взялъ вотъ, полѣзъ... Сижу... Небось, ко мнѣ не сунутся... У меня, братъ, живо—вверхъ кочережки...

— Спасибо, — тоже протяжно, но не безъ подозрительной насмѣшки отозвался Яковъ:—однако, что-й-то, Иннокентій Еремѣичъ, чудно...

— Чего?

Чалдонъ выплюнулъ скорлупу сразу отъ трехъ орѣховъ.

— Великъ трудъ на себя берешь. За что стараешься?

— Чудакъ! Не кошка ты, живой человѣкъ. Душу имѣешь.

Но, понимая, что столь чувствительный предлогъ изъ устъ степного чалдона не долженъ звучать особенно убѣдительно въ ушахъ столь опытнаго человѣка, каковъ Яшка, Иннокентій Еремѣичъ добавилъ:

— Зарученныхъ у меня по этой деревнѣ много. Шибко забрались.

— Ага!—отозвался Яшка голосомъ человѣка, понявшаго и успокоеннаго.

— Начнетъ судъ тягать народъ по тюрьмамъ,—кто по зарукамъ платить станетъ? Много денегъ въ долгахъ пропадетъ большихъ убытковъ долженъ ждать.

— Іуда!!!—вскрикнулъ вдругъ Яковъ высокимъ и звонкимъ воплемъ подстрѣленнаго ястреба: онъ замѣтилъ за спиною Иннокентія Еремѣича шапки осторожно поднимающихся мужиковъ. Чалдонъ словно растаялъ въ воздухѣ—исчезъ за гребнемъ. Пуля впилась какъ разъ въ то мѣсто, гдѣ онъ только-что сидѣлъ.

— Давай! — послышался его рѣшительный голосъ.

И въ тотъ же мигъ на голову Яшки грохнула тяжелая, жидкая масса — звенящая, колючая, обжигающая, какъ огонь, проникающая платье, леденящая, какъ лютый морозъ... Озадаченный, испуганный, потерявшійся, Яшка схватился руками за шапку, револьверы выпали изъ рукъ его.

— Давай.

Новый ушатъ воды, звеня, раскатился по крышѣ и обдалъ Яшку съ ногъ до головы. Въ нестерпимомъ, обжигающемъ холодѣ бѣдняга завертѣлся на мѣстѣ, какъ волчокъ. Захватило духъ, въ горлѣ стало, словно суконку заглоталъ. Двадцатипятиградусный морозъ быстро дѣлалъ свое дѣло: по шапкѣ вора, по лопатинѣ, по сапогамъ сразу поползли, быстро паростая, ледяныя коросты. Яшка завылъ и, сдернувъ обледенѣлыя рукавицы, пагнулся за револьверомъ.

— Давай!

Нахолодалый, мокрый револьверъ обжегъ Яшкѣ руку. Нечеловѣческимъ усиліемъ воръ все-таки удержалъ оружіе, долго ловя собачку закоснѣлымъ пальцемъ.

— Давай! Давай! Давай!

Вода лилась теперь со всѣхъ трехъ крышъ. Точно во время пожара, протянулась человѣческая цѣпь отъ амбарушковъ до колодца, и ведра быстро бѣжали по ней, чтобы взнестись вверхъ на крышу и опрокинуться страшнымъ, мертвящимъ дождемъ въ нору, гдѣ метался и вылъ безоружный, ослѣпленный, задавленный ледыхами человѣкъ. Работали молча. Только команда сухо и ясно звучала по деревнѣ:

— Давай!

Подъ новымъ ливнемъ Яшка свалился наземь. Каждая струя, падавшая на него, вмѣстѣ со страшнымъ наружнымъ холодомъ, внутри такъ и бросала въ мозги горячую, не охочую замерзать кровь. Голова у Яшки трещала, спаян-

ная снаружи ледянымъ обручемъ, а внутри черепъ, точно пороховой погребъ, хотѣлъ разорваться и взлетѣть на воздухъ. Горло жгутомъ перекрутило. Задыхаясь, Яшка поднималъ и не доносилъ до ворота обезсилѣвшія руки съ окостенѣлыми, растопыренными пятернями. Синее лицо уставилось на чалдона страшными, меркнущими глазами. Изъ оскаленнаго рта вырывалось звѣриное рычаніе:

— Пум... Бух... ззззззззз...

— Я те помилую. Давай.

Мужики во дворѣ страшно волновались. Смерть Яшки была давно рѣшена между ними, но казнь, происходившая предъ ихъ глазами, была слишкомъ длительна и ужасна.

— Давай!

— Чего — давай? пришибить бы, и конецъ... А то на-ка, что...—стали раздаваться голоса.

— Грѣха-то, грѣха-то...

— Извѣстно, пришибить. Что валандаться? Тварь Божья...—Человѣкомъ мать родила.

Два-три парня съ дубьемъ рѣшительно зашагали-было къ лежащему Яшкѣ.

— Н-ну!!!—грозно прикрикнулъ на нихъ съ крыши чалдонъ.—Убойныхъ знаковъ на тѣлѣ захотѣли? Дурова порода... Давай!..

Нѣсколько минутъ спустя, вмѣсто Якова, валялась въ тупикѣ огромная ледяная глыба, сквозь которую мутно сквозили человѣческія, едва трепещущія очертанія.

— Довольно,—сказалъ чалдонъ и, скатясь съ крыши, съ видомъ знатока, пощупалъ глыбу ногою.

Это опъ промахнулся...не слѣдовало этого дѣлать тонкому въ своемъ искусствѣ, степному мастеру-палачу. Массу народную прорвало, какъ море. Ревущею волною кинуло ее въ тупикъ. Чалдонъ едва успѣлъ выпрыгнуть, чтобы не быть смятымъ. Ненависть къ замученному вору вспыхнула съ новою дикою силою въ каждомъ сердцѣ. Бить его трупъ стало потребностью, не разсуждающею о знакахъ насилія.

Чалдонъ махнулъ рукою и отошелъ прочь. Толпа ревѣла...

Чалдонъ смотрѣлъ издали на мелькающіе надъ тупикомъ колы и палки и говорилъ, окаменѣвшей отъ ужаса на своемъ крылечкѣ, женѣ голубоглазаго мужика:

— Говорили, нельзя достать... Какъ это можно, чтобы не достать человѣка? Человѣкъ человѣка всегда достать въ состояніи и даже долженъ очень хорошо.

На улицѣ зазвенѣли колокольчики и бубенцы.

---

— Шцо меня цогда шпашло,— шамкаетъ и шепелявитъ беззубый, одноглазый, съ расплющеннымъ носомъ, однорукій, на костыляхъ нищій, просящій милостыню на улицахъ Храповицка.—Шцо меня шпашло,—биць ошенно пьинялишь. Воцъ каково молодца ижгоцовили, ижвольце любовачча, но боемъ кьовь рашполировали.. докцой говоицъ: цѣмъ цолько и живъ оказайса. А пьоѣжжи жаштупиишь... не даи добиць...

— Сколько тебѣ лѣтъ, Яшка?

— Тьидцаць вошемь.

— А сѣдой весь...

— Пошѣдѣешь, блацъ. Эцо я цогда...

У обывателей Храповицка Яшка, изъ всѣхъ безчисленныхъ мѣстныхъ нищихъ, имѣетъ наибольшій успѣхъ. За пятачокъ онъ охотно разсказываетъ всю свою исторію: какъ его замораживали, оттаивали, больницу, тюрьму, слѣдствіе, судъ...

— А коней больше не крадешь?

Въ единственномъ глазу Яшки загорается злобная тоска,—мучительная скорбь игрока, лишеннаго возможности и средствъ извѣдать любимаго счастья.

— Ноженьки дубьемъ оцшибли, дьяволы. Ишпойцили ноженьки. Не шлужацъ на конь шѣшцъ. Нешпошобно шовшѣмъ швово ремешла рѣшилша... А ешть хоошіе кони, ешть...

---

## Шерлокъ Хольмсъ.

Я всегда уважалъ и любилъ Марка Твена, но рѣдко даже его честный, здравомысленный юморъ радовалъ меня болѣе, чѣмъ въ убійственной пародіи на модные нынѣ разсказы Конанъ Дойля о сыщикѣ Шерлокѣ Хольмсѣ. Пошлѣе и противнѣе конандойлевщины, апоѳеоза человѣкаищейки, призваннаго травить «преступную расу», по манію англійскихъ и американскихъ буржуевъ, кажется, не было еще направленія въ беллетристикѣ. Габоріо, Законнэ и прочіе французскіе прославители Лекоковъ и К° были и остались занимательными разсказчиками уголовныхъ анекдотовъ для портерныхъ: они не числились въ литературѣ и не вліяли, какъ литературный авторитетъ, на общество. А вѣдь Конанъ Дойль и въ выдающіеся литераторы попалъ, и интеллигенція зачитывается имъ, захлебываясь, и—вонъ я нашелъ уже одинъ разсказъ въ «Нивѣ», будто въ Шерлока Хольмса съ сочувствіемъ играютъ русскія дѣти. Сыщикъ,—виноватъ: detective!—въ качествѣ героическаго идеала для возраста, о коемъ обѣщано: «изъ устъ младенцевъ и сосущихъ получишь хвалу»!

Какъ все это некрасиво и—какъ не по-русски! Ну, съ какой стороны мы, благополучные россіяне—Шерлоки Хольмсы? Откуда? Чѣмъ-чѣмъ грѣшны, только не этимъ. Для Шерлоковъ Хольмсовъ мы не вышли ни буржуйнымъ «интеллектомъ», ни характеромъ, да и, съ гордостью прибавлю, не утратили еще настолько совѣсти, чтобы возво-

дить въ подвигъ охоту человѣка за человѣкомъ, хотя бы и преступнымъ.

— Кулевъ, а Кулевъ!—окликаю я, сидя у воротъ, нашего захолустнаго Шерлока Хольмса, важно шествующаго черезъ улицу съ разносною книжкою подъ мышкою.

— Здравія желаю, баринъ.

— Поди-ка сюда... Такъ и есть! То-то я гляжу, что въ тебѣ какая-то неремѣна.

Шерлокъ Хольмсъ ухмыляется.

— Это вы пасчетъ бороды?

— Ну, да. Зачѣмъ вычернилъ?

— Ихъ высокоблагородіе...

— Ловите кого-нибудь?

— Посылаютъ на Фитькинъ заводъ. Кукольниковъ высматривать.

— А-а-а!

— Потому что много идетъ фальшивой монеты. И были послухи, будто съ Фитькина завода. Вотъ-съ, ихъ высокоблагородіе и пожелали:—Кулевъ, съѣзди, понюхай...—Слушаю, ваше высокоблагородіе.—Только, говоритъ,—вѣдь тебя, черта, всѣ здѣшніе верстъ на триста кругомъ знаютъ въ лицо, какъ пестраго волка.—Такъ точно, ваше высокоблагородіе.—Такъ ты того... бороду, что ли, выкраси и глазъ подвяжи, чтобы люди тебя не сразу признавали.

— Ну, братъ Кулевъ,—спѣшу я огорчить его,—на это не надѣйся. На что ужъ я—слѣпъ, какъ курица, а узналъ тебя вонъ еще откуда.

— Да ужъ это копечно, — соглашается Шерлокъ Хольмсъ.—Какъ не узнать? На то человѣку Господь ликъ даровалъ и фигуру въ препорцію, чтобы его люди узнавали. Противъ Бога не пойдешь.

— Да и отъ людей не спрячешься?

— Гдѣ!

Шерлокъ Хольмсъ безнадежно машетъ рукою.

— Я, баринъ, теперича, по должности, имѣю обязан-

ность обходить три раза городъ, для порядка. Человѣкъ я, вамъ извѣстно, аккуратный, службу свою соблюдаю. Намедни иду Кузнечною слободою,—слышу: говорятъ мать съ дочерью. Дочь спрашиваетъ:—Мама, который бы теперь часъ?—А мама ей на то:—Надо быть, два: вонъ сыщикъ пошелъ уже воровъ ловить,—онъ за ними всегда въ два ходитъ.—Вотъ какъ отъ нихъ спрячешься-то, отъ обывателей здѣшнихъ.

— А это недурно, что вы собирались пугнуть фальшивыхъ монетчиковъ. Безобразіе! Что ни базаръ, снабжаютъ мужиковъ оловянными рублями и стеклянными полтинниками.

— А то что?—соглашается Кулевъ,—очень просто.

— Лови, лови.

— Радъ стараться.

— Только вѣдь, небось, не поймаешь?

— Да вѣдь, какъ оно... случаемъ, знаете,—скромничаетъ Шерлокъ Хольмсъ.—Гдѣ ихъ, шельмовъ поймать? Тоже ребята съ ухами. Небось, я еще къ плихмахтеру не вступалъ съ бородою своею, а отъ нихъ уже верховой въ свое мѣсто скачетъ: сыщикъ-де ѣдетъ, держи ухо остро.

Подходитъ сосѣдъ-обыватель.

— Нижайшее!

— Здравствуйте.

— Какъ Богъ милуетъ? Что? Сумерничаете?

— Да, вотъ съ тѣлохранителемъ нашимъ...

— Эка рожу вымазалъ!—восклицаетъ обыватель, присаживаясь ко мнѣ на скамейку и немедленно добывая изъ кармана горсть «кедроваго разговора».—Эѳіопъ! Давеча смотрю въ окно: чей цыганъ по улицѣ ходитъ? Спасибо, тесть объяснилъ, что не цыганъ, а—просто нашъ Кулевъ ѣдетъ фитькинскихъ мошенниковъ слѣдить, такъ подъ цыгана себя обозначаетъ.

Шерлокъ Хольмсъ возражаетъ нѣсколько изумленный:

— А вашему тестю откуда знать? Я его не видалъ.

— Ему приказчики сказали. У Бандзурова.

— Ишь,—чертямъ до всего дѣло! А я, чать, у Бандзурова-то нонѣ и не бывалъ.

— Ты не бывалъ, да плихмахтеръ былъ.

— Экій стервецъ! — искренно огорченъ Шерлокъ Хольмсъ.—Ну, не стервецъ ли? Прошено помолчать,—нѣтъ, шапку на голову и побѣгъ звонить! Такихъ звонилъ, какъ у насъ въ Храповицкомъ горожане,—всю имперію обыскать—другихъ не сыщешь.

— Самъ, братъ, хорошъ! Пликмахтеру—кто раззвонилъ? Ты же! А, между прочимъ, ссылаешься на прочую публику.

— Плихмахтеру я—по-пріятельски, какъ доброму человѣку, а не то, чтобы раззванивать. Ежели раззванивать, какъ я могу воровъ ловить? Развѣ воръ мнѣ въ руку пойдетъ—опосля звону-то? Обязательно, что не пойдетъ. Вотъ и живите съ ворами! Сами виноваты, что стеклянные полтинники на базарѣ плывутъ.

— А мнѣ сказывали за вѣрное,—возражаетъ обыватель,—что ихъ не въ Фитькиномъ работаютъ.

Я заинтересовался.

— Гдѣ же?

— Будто—недалеко ходить: въ острогѣ нашемъ.

— Это вѣрно,—подтверждаетъ Шерлокъ Хольмсъ, согласно и даже съ жаромъ мотая головою.—Доподлинно знаю. Въ тюрьмѣ. И мастера извѣстны. Ловейщиковъ Пашка, что за переселенную дѣвченку сидитъ, да Бунусъ, латышъ,—корневики своему дѣлу.

— Что же ты не ловишь, коли знаешь?

— А поди—докажи!

— И обязанъ доказать,—смѣется обыватель.—На то ты къ званію приставленъ.

Кулевъ улыбается.

— Небось доказывать-то—надо самому сѣсть къ нимъ въ тюрьму.

— Сядь.

— За пятнадцать-то въ мѣсяцъ?

— Присягу имѣешь, долженъ свою присягу исполнять.

— За пятнадцать-то присягу?!

Кулевъ даже вызвѣрился. Обыватель строго уставился на него:

— Да ты что?

— Я ничего. Ты-то что? За пятнадцать рублей? Эхъ, совѣсть!

— Ты мнѣ пятнадцатью не тычь! Назвался груздемъ.., знаешь? Стало быть, потребуется тебѣ живота рѣшиться,— рѣшишься; надо въ тюрьму сѣсть,—сядешь...

— Сядьте,—хладнокровно говоритъ Кулевъ.

— Куда?—изумляется обыватель.

— Сядьте,—ну, пожалуйста, ну, сдѣлайте такое ваше одолженіе, сядьте въ тюрьму, какъ мнѣ ракиминдуете. Сядьте, а я посмотрю.

— Пшелъ ты, знаешь, къ кому?! Выдумалъ равнять...

Кулевъ заливался хохотомъ:

— Пашка ударитъ васъ толкачемъ въ лобъ!

— Ну, да! толкачемъ! — огрызается нѣсколько сконфуженный обыватель. — Было бы откуда тамъ толкачу взяться.

— Онъ найдетъ! — продолжалъ грохотать Кулевъ, — для вашего собственнаго удовольствія отыщетъ... Нѣтъ,— каково? Въ тюрьму—а? Въ вашей тюрьмѣ и простыхъ-то арестантовъ жиганы смертнымъ боемъ убиваютъ, а вы меня подъ ихнюю молотовку посылаете... Намедни двоихъ на смерть ухлопали. Слышали, можетъ быть?—обращается онъ ко мнѣ.

— Слышалъ что-то.

— Старики новичковъ били. Вдесятеромъ на двоихъ, полѣньями. Озвѣрѣли, не подойти къ нимъ. За солдатами посылали...

— Съ чего они? Изъ-за картъ, что ли?

— Нѣтъ, старики съ новенькихъ входныя деньги требовали,—ну, а тѣ не дали, да еще обругались... артель ихъ и приняла въ свои руки. Кабы не солдаты, ихъ бы до ночи трепали...

— Мертвыми, я слышалъ, отняли?

— Гдѣ быть живемъ?!—крестится обыватель.

— То-есть вотъ какъ! — одушевился Кулевъ, — ни одной кости цѣлой! Мягкія мяса черныя, въ чугунъ измолочены, какъ бы въ бештекъ. А на бочкахъ, гдѣ ребрышки сломаны, оскребушки прорвались, торчатъ косточки... бѣленькія...

— Эки изверги!

— Да! Вотъ вы къ нимъ и сядьте... Мосей Порохонниковъ въ зачинщикахъ былъ. Ихъ высокоблагородіе спрашиваютъ: «Какъ ты дерзнулъ?»—А они, говоритъ, зачѣмъ грубили? Развѣ большакамъ можно грубить? Какая же это артель, если старикамъ грубіанство?» Ихъ высокоблагородіе возражаютъ: «Это ужасно, какое преступленіе. Жди себѣ жестокаго суда». А Мосей на усищи свои смѣшкомъ оборонился и отвѣчаетъ: «Какъ вы это довольно глупо разсуждаете! Можетъ ли быть мнѣ жестокій судъ? Я уже на двадцать лѣтъ Сахалина имѣю, а отъ рожденія мнѣ пятьдесятъ шестой годъ. Стало быть, каторжный я по гробъ своей жизни, и хуже, чѣмъ есть, ничего сдѣлать мнѣ нельзя, потому что вѣкъ мой исчисленъ, и годовъ мнѣ вы не умножите». Ихъ высокоблагородіе говорятъ: «Какъ ты смѣлъ это мнѣ въ глаза? Развѣ ты меня не боишься?» Мосей опять смѣется: «Вамъ надо меня бояться, а мнѣ васъ—что? Жисти—врете, не прибавите!»

— Такъ и сказалъ, врете? — любопытствуетъ обыватель.

— Такъ и сказалъ. Ихъ высокоблагородіе говорятъ: «Прибавить нельзя, но убавить очень можно. Коли не боишься людей и Бога, такъ памятуй хоть о висѣлицѣ: ты, голубчикъ мой, прямо на нее ѣдешь»... А Мосей: «Вотъ,

баринъ, кабы вы мнѣ это самое выхлопотали, такъ я бы вамъ въ ножки поклонился. Потому — самому давиться, говорятъ, грѣхъ—ну, а ежели начальство петлю надѣнетъ, его воля, а мнѣ одно ослобожденіе». Чуяли? Вотъ онъ каковъ гусекъ отъ. Каково поговариваетъ.

— Да, къ энтому не сядешь,—задумчиво соглашается смущенный обыватель.

— То-то, — умиротворяется Кулевъ и, довольный побѣдою, спѣшитъ великодушно дать побѣжденному реваншъ.

— Я что жъ! Я не хвастаю: случаемъ вышелъ агентъ,— ихъ высокоблагородіе приказали. Дѣйствительно, что я къ службѣ этой совсѣмъ даже не способенъ и прибытка себѣ отъ нея никакого не нахожу.

— Смирный ты,—съ чувствомъ сознается обыватель.

— Смирный. Возьми ты Гуськова въ Перинскомъ— разумомъ-талантомъ меня хуже, а суетою своею всему городу обрыдлъ. А я, братъ, себѣ мѣсто знаю. Ты помолчи, я помолчу: вотъ у насъ и будетъ хорошо.

— Скажи, пожалуйста, Кулевъ, — спросилъ я: — случилось тебѣ все-таки поймать какого-нибудь преступника?

Кулевъ оживился.

— А вѣдь поймалъ, баринъ! — весело воскликнулъ онъ.—Какъ же!.. Я тогда еще городовымъ стоялъ... Ну, и того.. имѣлъ слабость: зашибалъ хмелемъ. А, зашибемши, безперечь буйствовалъ. И выдумали ихъ высокоблагородіе назначать меня за то въ ночные посты, не въ очередь дежурства. А мнѣ что? И безъ дежурства—сонъ, и на дежурствѣ — сонъ,—одна натура-то. Облюбовалъ я себѣ крылечко — при Патрикѣевскомъ домѣ, изволите знать? Чудесный подъѣздикъ: ни те дождь мочитъ, ни те погода обдуетъ. Провожу обходъ и сплю на подъѣздѣ до другого обхода. Участковый засвищетъ, и я проснусь, свищу...— Кулевъ!—Точно такъ, ваше благородіе.—Дрыхалъ, под-

лецъ?—Никакъ нѣтъ, ваше благородіе.—Смотри у меня!—Слушаю, ваше благородіе!.. И Патрикѣевы рады, что я у нихъ на подъѣздѣ спать полюбилъ: отъ воровъ оборона,—потому что нро эту мою привычку всѣ жулики въ Храповицкомъ доподлинно довѣдались и ужасно какъ меня опасались. Но одного шельму чортъ таки нанесъ. Приходитъ, дурень, ночью съ коловоротомъ и желаетъ вертѣть патрикѣевскую дверь. Я, братецъ ты мой,—обходъ проводемши, только было завелъ глазки подъ лобъ, а онъ, шутъ безглазый, съ темну ли, со слѣпу ли, какъ ступитъ мнѣ ножищею въ самый животъ. Я, конечное дѣло, испужался, ухватилъ его за босыя ноги, кричу: рѣжутъ! помоги, кто въ Бога вѣруетъ!.. Онъ тоже испужался, коловоротъ уронилъ, мордою въ дверь чкнулся, упалъ, лежитъ. Спрашиваетъ:—Ты кто? Отвѣчаю:—Какъ кто? Бога ты не боишься! Ты кто? А я, не видишь,—полиція!.. Тутъ онъ меня очень забоялся:—Ну, сказываетъ, ежели меня въ полицію вперло, твое, служивый, счастье: бери! А что кишки тебѣ раздавилъ, на томъ не взыщи, потому что я съ Сахалина бѣглый и зовутъ меня Яковъ съ гвоздемъ, и ни за что бы я тебѣ, служивый, не сдался, да ужъ больно обголодалъ... Тѣмъ часомъ, по моему крику и свисту, выходятъ изъ Патрикѣева дома самъ хозяинъ съ револьвертомъ, дворникъ съ топоромъ, стряпка съ ухватомъ. Патрикѣевъ, жирный шаръ,—инда пѣна у него изо-рта кипитъ,—такъ и подсыкается застрѣлить Якова изъ револьверта. Я говорю:—Купецъ! оставь! Это одно твое сибирское безобразіе. Лучше поди въ управленіе, чтобы ихъ благородіе пришли взять его въ каталажку. Потому что я отойти отъ поста не могу, а вотъ уже четверть часа свищу и никого не могу досвистаться!

Патрикѣевъ возражаетъ:

— Какъ я могу итти отъ своего дома въ потемки? Можетъ, у него товарищи.

Дворникъ вызвался:

— Ежели хозяинъ дастъ мнѣ свой револьвертъ, я могу сходить, но безъ револьверта не пойду, потому что бродитъ брахло.

Патрикѣевъ ему на это:

— Какъ я могу отдать тебѣ свой револьвертъ? Ты сроки отбываешь. Кто тебя знаетъ, каковъ ты еси? Можетъ, у тебя семь душъ на душѣ восьмую поджидаютъ.

Дворникъ отвѣчаетъ:

— Это не касается.

— Какъ не касается? Ты, получивъ револьвертъ, можешь всѣхъ насъ перестрѣлять.

Дворникъ обидѣлся.

— Я,—кричитъ,—не на то къ тебѣ нанимался, чтобы хозяина разстрѣливать. Знать тебя не хочу. И въ домъ къ тебѣ, толстопузому, больше не пойду. Коли такъ меня огорчили, желаю въ загулъ. Вотъ—при кавалерѣ объясняю! Къ дѣвкамъ хочу и неси мнѣ, нечистая сатана, разсчетъ сію минуту.

И пошла между ними брань. А Яшка ѣсть проситъ. А стряпка, которая съ ухватомъ, дрожмя-дрожитъ, кланяется:

— Кавалеры!—отпустите мою грѣшную душу: дѣло мое женское, хожу тяжелая, и младенецъ, ангельская душа, во мнѣ несносно вертится...

Тутъ, слава Богу, уже обходъ засвисталъ, да и свѣтать стало. Послѣ этого раза ихъ высокоблагородіе и велѣли мнѣ быть агентомъ. Какъ же! Поймалъ! И отъ губернатора имѣлъ благодарность... Какъ же!

Обыватель снасмѣшничалъ:

— Этому дѣлу завтра, никакъ, сто годовъ будетъ?

— Ври: сто! — возмутился Кулевъ. — Всего двѣнадцатый.

— И то добре. А съ тѣхъ поръ уже ничего? ни-ни?

Кулевъ подумалъ:

— Ложки нашелъ.

*

— Ишь!

— Да. У попа Успенскаго серебро сперли. Ихъ высокоблагородіе приказываютъ: чтобы были ложки! Роди да подай!.. А откуда я ихъ возьму? Туда-сюда,—слышу: у Марьи Емельяновны,—старушка тутъ одна, закладчица, проживала,—проявилось нѣкое невѣдомое серебро. Доложилъ. Нагрянули съ обыскомъ. Старуха глаза пучитъ, языкомъ мелетъ, какое серебро, откуда, изъяснить не умѣетъ:—принесъ и заложилъ незнакомый человѣкъ. Сейчасъ старуху подъ сюркупъ, а серебро предъявляемъ попу къ удостовѣренію. Попъ пришелъ и чудакъ оказался: руками развелъ, глаза вытаращилъ...

— Это, говоритъ, не мое серебро. Мои мѣтки Рцы Слово, Романъ Святодуховъ, а на этомъ Иже Буки, подъ короною.

Тутъ ужъ ихъ высокоблагородіе даже и оскорбились.

— Это,—отвѣчаютъ,—батюшка, одни ваши капризы. Это неблагодарность. Вы заявили, что у васъ пропали двѣ дюжины серебряныхъ ложекъ, — мы вамъ двѣ дюжины серебряныхъ ложекъ и представляемъ. А вы какого-то Рцы Слова ищете! Что вамъ — Рцы Словомъ, что ли, щи-то хлебать?

Подумалъ попъ, согласился.

— Хорошо. Мои ложки. Попадья у меня—уроженная Ирина Благосвѣтлова, такъ это ея приданыя. Вотъ только корона эта?

— Эхъ, батюшка!—отвѣчаетъ ихъ высокоблагородіе,—ложки приданыя, а корона—вѣнецъ, всему дѣлу конецъ. Какъ женились вы на матушкѣ, держали надъ вами вѣнецъ?

— Держали.

— Ну, вотъ онъ самый и есть!

— Что онъ вамъ тутъ звонитъ?—внезапно раздался баритонный возгласъ, и предъ нами, какъ изъ-подъ земли выросъ, вышелъ изъ-за угла самъ его высокоблагородіе,

начальникъ граду и уѣзду сему, сѣдоусый подполковникъ Провожанцевъ.

— Да вотъ... повѣствуетъ...

Но Провожанцевъ уже уперъ руки въ боки и, покивая головою и великолѣпно топорща пушистые усы, угрызалъ Кулева, вытянувшагося передъ нимъ въ струну.

— Эхъ ты, рожа! Рожа—рожа и есть. Ну, можно ли на тебя, рожу, положиться хоть въ малой малости? Говорилъ я тебѣ, чтобы секретно? а? говорилъ?

— Виноватъ, ваше высокобларородіе.

— Отчего же о твоей поганой крашеной бородѣ гудитъ весь городъ?

И, не ожидая отвѣта отъ уничтоженнаго Шерлока Хольмса, обратился ко мнѣ:

— Вы знаете, въ чемъ дѣло?

— Наслышанъ.

— Видите ли: это не моя была идея выкрасить ему бороду. Мировой внушилъ. Это чучело явилось ко мнѣ за инструкціями, а у меня винтъ: мировой, податной, акцизный и я. Мировой, какъ узналъ, куда и на что ѣдетъ Кулевъ, сталъ совѣтовать, чтобы ему выкраситься.

— А откуда же узналъ мировой?

— Просто услыхалъ, что мы разговаривали. Дѣло при всѣхъ было, между игрою. Что же мнѣ было — Кулева въ отдѣльную комнату уводить, что ли и тамъ съ нимъ шептаться?

— Конечно, зачѣмъ вамъ?

— Кажется, мы всѣ здѣсь свои люди, благородные...

— Конечно, конечно.

— Между мировымъ и податнымъ даже ужасный споръ вышелъ. Мировой говоритъ: краситься. А податной: не надо,—одинъ глупый маскарадъ и никакого результата! Ну, дебаты, доказательства... оба люди умные, въ университетахъ обучались, такую Спинозу съ Дарвиномъ развели,—я даже не ожидалъ, чтобы изъ-за крашеной бороды столько науки... Зашелъ докторъ...

— Ахъ, и докторъ былъ?

— Да, онъ къ казначею ѣхалъ, увидалъ насъ въ окно, завернулъ на попутный дымокъ... Взяли доктора за судью. Ну, онъ, сами знаете, скептикъ, циникъ. Охота, говоритъ, вамъ, господа, драть горло изъ-за пустяковъ! Все равно, вѣдь, никого Кулевъ не выслѣдитъ и не поймаетъ, а бока ему, что крашеному, что некрашеному, обязательно намнутъ.

— И, конечно, намнутъ!—загремѣлъ подполковникъ на Кулева.—Потому что хвастунъ и болтунъ! Языка за зубами держать не умѣешь! Всему базару разславилъ свою пасквильную бороденку... Вотъ и охраняй обывателя съ такими агентами! А начальство пишетъ нагоняи, будто у насъ много происшествій.

Провожанцевъ трагически поникъ думною головою. Потомъ добродушнѣйшимъ тономъ—приказалъ Кулеву:

— Ступай ужъ, вымой рожу-то... Хвастунишка! Никуда не поѣдешь: прославился и безъ ѣзды. И кто тебѣ эти примѣры даетъ? А только такъ больше нельзя. Въ послѣдній разъ спускаю. Вотъ—при благородныхъ свидѣтеляхъ говорю, понялъ?

— Слушаю, ваше высокоблагородіе!

# Острожная сказка.

(Записана отъ ссыльно-поселенца, бывшаго сахалинца).

Въ городѣ Симбирскомъ, вскорости послѣ воли, жилъ генералъ съ генеральшею, а у нихъ дочь, барышня пребольшой красоты, такъ что всѣ на нее изумлялись. Были они господа небогатые и прислуги многой не держали, а нанимали только стряпку, да парня за кучера и за лакея. Генералъ былъ скупой, жалованье платилъ малое, а работу спрашивалъ большую. Поэтому люди не имѣли охоты идти ему служить, и перемѣнилъ онъ прислуги видимо-невидимо. Вотъ-съ, и нанимается къ нему однажды малый изъ безвѣстныхъ людей: давно уже онъ околачивался въ Симбирскомъ по разнымъ занятіямъ, но никто его на мѣстѣ долго держать не хотѣлъ, потому что заявилъ онъ себя, какъ пьяница и бабій потаскунъ. И, какъ этотъ самый малый сталъ теперича къ генералу въ должность, сейчасъ смутилъ его нечистый влюбиться въ барышню, въ генеральскую дочь. Служитъ мѣсяцъ, другой,— объ одномъ только и думаетъ: какъ бы ее достать? Генералъ съ генеральшею не могутъ имъ нахвалиться.

— Вотъ,—говорятъ,— ославили парня пьяницею, а онъ тверезѣе тверезыхъ—до ужасти старательный.

А невдомекъ, что затѣмъ парень и пить бросилъ: худо про дочь на умѣ держитъ.

Подошелъ большой праздникъ, зимній Никола. Гене-

ралъ съ генеральшей ушли ко всенощной, а дочь осталась дома, потому какъ чувствовала въ себѣ лихорадочное нездоровье. Парень смѣкаетъ:

— Не зѣвай: теперя наше время!

Сейчасъ идетъ на кухню, поставилъ стряпкѣ бутылку вина на березовой почкѣ, такъ что старуха выпила, свалилась подъ столъ и осталась безъ всякой памяти. Послѣ того парень затворилъ во всемъ домѣ ставни, продѣлъ болты и замычки, беретъ бариновъ-генераловъ пистолетъ и маршъ къ барышнѣ въ спальню:

— Такъ молъ и такъ! Влюбленный въ тебя сверхъ возможности. И — либо ты сейчасъ во всемъ мнѣ покоришься, либо я, на семъ мѣстѣ, застрѣлю тебя изъ пистолета и подожгу фатеру, а самъ убѣгу, и никто на меня ничего не докажетъ, потому что мы съ тобою во всемъ дому одни, а стряпка лежитъ пьяная.

Конечно, барышня испугалась и начала ужасно просить и плакать, чтобы онъ отсталъ. Но парень не принялъ ея резоновъ и, желая быть жива, должна была она согласиться на полную его любовь.

Съ того случая начали они видаться потайну, и барышня страшно какъ его боялась, чтобы не раскричалъ и не похвасталъ, какая она есть. Такъ что онъ, себя попи мая, сталъ надъ нею зазнаваться и шутилъ ей всякія насмѣшки; если она не умѣла ему угодить, то билъ побоями. Такъ оно продолжалось три года, въ которые барышня, подъ великимъ секретомъ, родила трехъ дочерей. И, какъ родитъ, сейчасъ же парень уносилъ дитя за городъ на мусорные пустыри и свертывалъ ему голову, а барышнѣ говорилъ, будто отдалъ къ своей теткѣ питать молокомъ на рожкѣ. Барышня же, хотя вѣрила, но очень тосковала и все надѣялась какъ бы повидать дѣтей. Такъ въ томъ и убѣдилъ ее парень, что всѣ три дѣвочки живы, и будто старшую тетка крестила Машенькою, среднюю Дашенькою, а меньшенькую Сашенькою.

На четвертый годъ познакомился парень съ молодою вдовою, дворничихою, богатою женщиною; задумалъ жениться; сладился. Отъ мѣста отказался, а барышнѣ сказалъ:

— Твое, сударыня, счастье: теперича ты мнѣ не нужна; отпущаю тебя на всю твою полную свободу; можетъ быть, ты какому-нибудь дураку еще и понадобишься.

Барышня бы и рада, только спрашиваетъ:

— А гдѣ я найду своихъ дѣтей?

А онъ, негодяй, захохоталъ, какъ филинъ:

— Въ этомъ, любезный другъ, я тебѣ не помощникъ. Чортъ ли ихъ теперь найдетъ? Ихнія косточки давно собаки растаскали.

Такъ онъ этимъ словомъ барышню убилъ, что она сдѣлалась вся не въ себѣ и какъ безумная дурочка. Приходитъ она къ родителю-генералу въ кабинетъ, стала на колѣни и призналася во всемъ, насколько виноватая:

— Извольте судить меня судомъ или казнить изъ собственныхъ рукъ, потому что теперь моя жизнь должна быть самая несносная.

Генералъ ужаснулся и встревожился, но когда приглядѣлся, что у барышни заплетающій языкъ и глаза враскосъ бзырятъ, не далъ ей вѣры, но позвалъ свою генеральшу и приказываетъ:

— Посади дочь въ чуланъ и смотри за нею въ оба, потому что у нея начинается бѣшеная горячка, и отъ горячки она несетъ скверный вздоръ.

Генеральша затворила барышню въ чуланѣ, а генералъ зоветъ къ себѣ парня, ставитъ съ глаза на глазъ:

— Слушай, прохвостъ несчастный! Вотъ-де и вотъ-де, какъ обличаетъ тебя моя дочь.

Тотъ, малый не глупый, во всемъ отрекся:

— Служилъ честь-честью, ни въ чемъ вашему превосходительству не виновенъ, а на такое—и въ мысляхъ не имѣлъ посягнуть. Не иначе, что барышня стали повре-

дившись въ умѣ и сами на себя наговаривають небывалое. А ежели онѣ, сохрани Богъ, въ самомъ дѣлѣ, насчетъ себя съ кѣмъ ошиблись, то ихнему грѣху моей причинности нѣтъ. Я, по низкости своего званія, и очей-то на барышню поднять не дерзалъ—не то, чтобы этакое смѣлое.

Тогда генералъ приказалъ генеральшѣ:

— Возьми сто рублей и поѣзжай съ дочерью на кислыя воды. Отдай ее въ больницу къ самому лучшему сумасшедшему доктору, который безумныхъ лѣчитъ, чтобы онъ всю ея дурь выгналъ кислою водою. А какъ выгонитъ, возвращайтесь скорыми ногами: я припасу жениха, и выдадимъ ее замужъ, потому что глупый бредъ ея не иначе, какъ отъ молодой крови.

Повезла генеральша дочь на кислыя воды, отдала въ больницу къ сумасшедшему доктору. Но барышня въ больницѣ трое сутокъ прожила, а на четвертую ночь прицѣпила къ отдушнику шнурокъ и петлею задавилась. Съ тѣмъ ее и похоронили, что лишила себя жизни въ напрасной помѣшанности ума. А грѣхъ дѣвическій, если и былъ какой, то на мертвой его не искать: разсудитъ Богъ правотою своею, человѣкамъ судить поздно.

Тѣмъ временемъ парень-погубитель зажилъ съ женою хорошо и богато. Минулъ годъ, — принесла ему жена дочку. Самъ онъ въ отлучкѣ былъ, оставались въ дому однѣ бабы. Вотъ, въ первыхъ сумеречкахъ, лежитъ роженица за пологомъ, на постели, дремлетъ. Спать не спитъ, а и не во весь глазъ смотритъ. И,—ни то спится, ни то, въ самомъ дѣлѣ,—сдается ей, будто половицы скрипъ-скрипъ, словно кто ходитъ тяжелою ногою. Глядь: подлѣ зыбки стоитъ женщина, молодая, изъ себя хорошая, и на дитя ласковымъ окомъ смотритъ. Очень удивилась баба:

— Что тебѣ, голубушка, надо? Чьихъ будешь? Откуда пожаловала?

А женщина ей не отвѣчаетъ, а сама спрашиваетъ:

— Какъ наречешь имя дѣвочкѣ?

Дворничиха говоритъ:

— Мужъ наказывалъ: коли мальчика родишь, назови въ меня, Павломъ; коли дѣвку,— Зинаидою.

Женщина засмѣялась и говоритъ:

— Какая еще Зинаида? Это моя дочка, Машенька.

Перекрестила дитя въ зыбкѣ,— и не стало ее видать. А на дворничиху напалъ страхъ, и отъ страха она проснулась и видитъ, что все пригрезилось во снѣ. Ничего она тогда о томъ снѣ никому не сказала, и сейчасъ же онъ у нея изъ головы вонъ.

Ну, а на завтра дѣвочку сказано крестить, однако, она къ вечеру—пищать, пищать, да въ томъ и отдала Богу душу, ангеломъ на небеси болъше стало.

Потужили, поплакали. Но—люди молодые, за дѣтьми дѣло не станетъ. Пришло дворничихѣ рожать вдругорядь. Схватило ее ночью. Часъ глухой, поздній...

— Охъ, — говоритъ мужу, — побѣги за бабушкою. Приспѣло мое время.

Мужъ — шапку въ охапку, на улицу бѣгомъ. Покуда до бабушки добѣгъ, покуда достучался,—вернулся домой, анъ жена еле жива, въ обморокѣ, а въ ногахъ ребенокъ новорожденный... опять дѣвочка, да слабая-преслабая, сразу видать: не жилица на свѣтѣ.

Повитуха говоритъ:

— Надо окрестить поскорѣе.

Подняла дитя на руки, а оно—носикомъ хлипъ!—да ужъ и неживое...

Очнулась дворничиха. Спрашиваетъ про дочку. Показываютъ: мертвенькая!

— Такъ, говоритъ, я и думала...

И опять стала безъ чувствъ, и потомъ сдѣлалась съ нею жестокая болѣзнь, послѣ которой она встала съ постели только на третій мѣсяцъ. И разсказала она тогда сосѣдкѣ, что, какъ побѣжалъ мужъ за бабушкою, боли ее отпустили, и забылась она дремою. И, чуть завела глаза,

опять стоитъ предъ нею та самая ласковая женщина и говоритъ:

— Зачѣмъ тебѣ повитуха? Не бойся! Родишь и безъ повитухи,—я помогу.

А тутъ ее разбудили крѣпкія боли, и ужъ какъ она страдала и какъ разродилась, ничего не помнитъ, потому что охватило обморокомъ. Только все ей казалось, что женщина эта возлѣ нея: ходитъ по комнатѣ, носитъ дитя на рукахъ, тетешкаетъ и приговариваетъ:

— Вотъ и Дашенька пришла! Вотъ я и съ Дашенькой!

Сосѣдкѣ дворничиха разсказала, а мужу не осмѣлилась, потому что очень боялась его, и когда онъ самъ не спрашивалъ, не могла съ нимъ заговорить.

Въ третій разъ сдѣлалась дворничиха тяжелою, опять родила дѣвочку, и опять дитя умерло въ скорыхъ часахъ, такъ что не успѣли окрестить. Заговорили о дворникѣ съ дворничихою нехорошо въ околоткѣ, что, вѣрно, надо быть, лежитъ на нихъ смертный грѣхъ: всѣмъ видимое дѣло, какъ Богъ наказываетъ,—невѣдомо чѣмъ дѣти мрутъ,—даже не допускаетъ принять крещеніе. Подслушалъ парень мірскую молву, вернулся домой туча-тучею. Поставилъ хозяйку къ допросу:

— Слыхала, что народъ баетъ?

Она говоритъ:

— Я, Паша, тому неповинна. Можетъ быть, ты за собою какую вину знаешь? Такъ повинись,—будемъ вмѣстѣ отмаливать.

Онъ ее обругалъ:

— Дура! Какая можетъ быть на мнѣ вина? Жизнь моя у всѣхъ на видимости. Я въ церкви бываю, на исповѣдь хожу... нешто виноватому допустимо? Не обо мнѣ рѣчь,—про тебя сосѣди ни вѣсть что гуторятъ...

— Что же, Павелъ Нефедычъ?

— Да будто ты всѣхъ троихъ нашихъ дѣтей вѣдьмѣ скормила.

Осерчала баба; осерчавъ, осмѣлилась, да все и выложила,—какіе она, всякій разъ, что ей рожать, сны видитъ.

Выслушалъ онъ, взялся за голову, говоритъ:

— Какъ же ты могла мнѣ не сказать? Ты не знаешь... Это страшное!

Баба видитъ, что онъ съ лица бѣлый, и губы дрожатъ,—отвѣчаетъ:

— Я не смѣла.

А онъ все за голову держится.

— Какая она?

Начала баба разсказывать, а онъ у стола, на лавкѣ, подъ образами сидитъ, качается изъ стороны въ сторону, бурчитъ:

— Такъ... ты понять не можешь, а я понять могу... Это, что ты говоришь, очень страшное.

Послѣ всталъ, головою мотнулъ, на бабу свою обернулся.

— Такое это дѣло, жена, что, ежели можетъ оно быть взаправду, то мнѣ послѣ того нельзя и на свѣтѣ жить.

И, между прочимъ, снимаетъ картузъ съ гвоздя.

— Куда ты, Павелъ Нефедычъ?!

— А на базаръ—въ лабазъ, овсомъ сторговаться...

И ушелъ на улицу. А бабу схватило одолѣніе, незнамый ужасъ. Стала она на порогѣ, смотритъ мужу вслѣдъ, а онъ идетъ-идетъ, оглянется, картузъ поправитъ и еще шибче шагу даетъ. И сдается ей, точно это онъ не самъ идетъ, а силою его, какъ вѣтромъ, гонитъ... И что дальше, то у нея горше,—сама не знаетъ, съ чего,—душа мретъ, такъ вотъ тоска подъ сердце и подкатываетъ.

Повернулъ Павелъ за уголъ. Баба стоитъ, глаза лупитъ,—думаетъ:

— Вотъ тѣ и жисть наша стала! Это—удавиться надо: такая жисть!

И разсказывала она потомъ,—вдругъ понравилась ей эта затѣя въ мысляхъ:

— Удавлюсь!

Запала въ мозги и вытряхнуть не дается:

— Удавлюсь! Сама себѣ госпожа, никто мнѣ не приказчикъ...

Испугалась, пошла по двору, замѣсила свиньямъ корму, собрала кокошныя яйца... Нѣтъ!—словно кто невидимкою рядомъ ходитъ и въ уши шепчетъ:

— Возьми вожжи, да въ хлѣву, на стропилѣ...

Бродитъ баба со двора въ избу, изъ избы во дворъ; прямо передъ собою въ землю глядитъ, въ сторону глазомъ косится робѣетъ. Чудится ей: не своя она сейчасъ, кругомъ—навожденіе. Стѣны-то тѣсныя, углы-то темные...

— Удавлюсь!

Спасибо, сосѣдка завернула. Ну, затараторили, разговорили дурныя мысли. Дворничиха, съ радости, вцѣпилась въ бабу и домой пустить не хочетъ.

— Сиди,—говоритъ,—со мною. А то я, одна, безъ хозяина, что-то больно нонѣ забоялась. Уйдешь,—ну, право-ну, удавлюсь.

Баба къ бабѣ, что пчела къ пчелѣ. Одна сосѣдка, другая, третья—набѣжалъ къ дворничихѣ цѣлый бабій майданъ. Застрекотали! Сплетки да пересуды: оживѣла дворничиха, позабыла страхи, раздула подружкамъ самоваръ, поставила на столъ заѣдковъ, по рюмкѣ сладкой водки поднесла, давиться изъ мыслей выкинула, вретъ—стрекочетъ—заливается пуще всѣхъ.

А въ окошко вдругъ—стукъ-стукъ-стукъ-стукъ-стукъ-стукъ...

— Тетенька!—кричатъ,—выдь-ка поскорѣе,—побѣзёмъ: хозяинъ твой себѣ горло перерѣзалъ... На бульварѣ, въ кустахъ, подъ оврагомъ лежитъ...

# Сибирскія сомнѣнія.

I.

# На берегу.

...Мы сидѣли у костра на высокомъ берегу Енисея. Темнѣло. Розовые снѣга Саянъ на далекомъ югѣ сперва полиловѣли, потомъ посинѣли и, наконецъ, вовсе исчезли, слившись съ быстрою темнотою наступающей ночи. Дольше всѣхъ горъ-сосѣдей рдѣлъ отраженіями вечерняго солнца развалистый красавецъ Борусъ. Когда и его очертанія расточились въ воздухѣ,—словно весь свѣтъ погасъ надъ землею, кромѣ нашего робкаго костра, да дрожащаго краснаго столба, что протянулся отъ него на сердито ропщущій, полноводный Енисей... Я не знаю рѣки, болѣе мощной и грозной въ разливахъ—позднихъ, не поддающихся разсчету ни своего времени, ни своей энергіи. Это—скорѣе ежегодныя паводненія, чѣмъ половодья. Рѣка, затопивъ свои острова, расширяется, какъ море, и стремится отъ Саянскихъ ущелій внизъ по Сибири водопадомъ на четыре тысячи верстъ. Городъ Минусинскъ находится въ пятистахъ верстахъ отъ своего губернскаго Красноярска вверхъ по Енисею. Туда отъ насъ пароходъ сносило въ двадцать и даже въ пятнадцать часовъ, оттуда къ намъ онъ ползъ трое съ половиною, а то и четверо сутокъ: таково противодѣйствіе могучаго и быстраго теченія! Выше насъ пароходы уже не ходили: не для кого, да, и Енисей не пускаетъ... Дальше къ югу идутъ лишь рѣдкія села, заимки,

енисейскіе пороги, таинственные поселки раскольничьяго Бѣлогорья, почти неизвѣданный Усъ и, наконецъ, китайская граница. Гдѣ проходитъ послѣдняя, съ точною опредѣленностью знаетъ только Богъ. Тамъ—Сойотія, любопытный инородческій край, заселенный племенемъ, которое считается подданнымъ русской или китайской державы, глядя по тому, чей пограничный чиновникъ и гдѣ застанетъ его кочевья, дабы взять подобающія дани и пошлины. Разъ въ десять лѣтъ наѣзжаетъ китайскій ревизоръ для осмотра границы. Одному такому наши усинскіе чиновники дали какъ-то обѣдъ. Когда всѣ хорошо подвыпили, китайскій сановникъ обнялъ русскаго блюстителя границы за шею и воскликнулъ во всеуслышаніе:

— Давай пить и выгони остальныхъ! Потому что здѣсь только мы съ тобою порядочные люди, а то—ужасная дрянь!..

Слабая опредѣленность, лучше будетъ сказать: полная неопредѣленность государственной границы на верховьяхъ Енисея не угрожаетъ отечеству нашему ни малѣйшею опасностью. Даже въ военныхъ учебникахъ мѣстности эти приводятся въ примѣръ естественно защищенныхъ: за едва проходимыми Саянами слѣдуетъ уже истинный край свѣта—знаменитая, великая песчаная степь Гоби или Шамо, уча о которой въ географіи Смирнова, юноши рѣдко думаютъ о возможности когда-нибудь жить съ нею по сосѣдству. Ея пески сыпучѣе сахарскихъ, лѣтнія жары достигаютъ высшихъ температуръ, а зимою по степи трещатъ безснѣжные морозы,—новый ужасъ, въ африканскихъ пустыняхъ, конечно, неслыханный... Гоби не знаетъ оазисовъ. Гоби—мѣсто пусто, безводно, безплодно: одно изъ тѣхъ, куда старинные заклинатели отсылали жить демоновъ, исходящихъ изъ тѣлесъ одержимыхъ. Гоби — это смерть земли и человѣка, обреченнаго по ней скитаться!

Я не понималъ сравненія рѣки съ чешуйчатою змѣею до тѣхъ поръ, пока не узналъ Енисея. Полноводность и

страшная быстрота теченія дѣлаютъ въ лѣтнія жары грозными не только его мощный материкъ, но и протоки. Онъ всюду обманчивъ, коваренъ, всегда предатель. Гдѣ дно гладкое, масса водъ его несется впередъ безструйно, какъ текущій металлъ; съ высокаго берега, при дурномъ зрѣніи, подумаешь, что вода стоитъ. Бросилъ вѣтку въ рѣку,—глядь: не успѣла она и струи зарябить, какъ уже уплыла внизъ саженъ на двадцать. Есть степень теплоты, когда нагрѣтая жидкость не предостерегаетъ о своей опасности клубящимся паромъ, такъ точно есть степень быстроты, при которой безструйная широкая рѣка — будто стоячее озеро. Она мертва, и только дерево, повисшее надъ нею,—вы видите,— почему-то мчится, мчится, мчится, не трогаясь съ мѣста, въ противную теченію сторону. Странно! Это сочетаніе оптическихъ обмановъ, когда движеніе чудится покоемъ, а покой движеніемъ, мало-помалу болѣзненно утомляетъ взглядъ, отягощаетъ мысль, разбиваетъ нервы. «Сила претъ» — и какая неукоснительная, неразсуждающая, враждебно давящая сила!

Стоитъ этой силѣ толкнуться гдѣ-нибудь о подводную скалу, либо корягу, и вся поверхность Енисея дѣлается версты на двѣ чешуйчатой. Здѣсь говорятъ: у насъ въ Енисеѣ—вода густая. Правда, что густая... Мощь ея ударовъ о встрѣчныя препятствія развиваетъ въ ней попятныя струи, въ свою очередь настолько могучія, что по рѣкѣ—и безъ вѣтра—словно вихрь ходитъ, завивая глубокія воронки крутящихся омутковъ. Омутки расширяются въ омута и, Богъ знаетъ, какъ далеко отзывается толчекъ, о которомъ рѣкѣ пора бы и думать перестать: уже и чешуи улеглись, и поверхность опять гладкая, какъ зеркало, а лодка ваша, на зло работѣ дюжихъ рукъ и крѣпкихъ веселъ, все ни взадъ, ни впередъ—только носитъ ее водоворотомъ отъ берега къ берегу въ такомъ правильномъ кругѣ, что хоть вычертить циркулемъ... И рѣка въ подобныхъ мѣстахъ — какая-то горбатая, выпуклая

*

къ серединѣ: подумаешь, у нея, какъ у живого звѣря, есть спина и позвоночный хребетъ!

Подъ скалою, гдѣ мы расположились, попалось именно вертячее, чешуйчатое мѣсто. Я смотрѣлъ, какъ воронки омутовъ крутились черно и зловѣще въ красномъ свѣтѣ костра, слушалъ ихъ рычащій шепотъ...

— Словно плезіозавръ или ихтіозавръ какой-нибудь допотопный ворочается...—сказалъ мой спутникъ.

— А тихо-то, тихо кругомъ... какъ на кладбищѣ!

— Да вѣдь кладбище и есть,—возразилъ онъ.—Вотъ и плиты могильныя.

Онъ похлопалъ рукою по камню, подъ которымъ пылалъ нашъ костеръ. То былъ одинъ изъ тѣхъ плоскихъ, торчкомъ стоящихъ инородческихъ камней, что сгруппированные въ круги, подобно кромлехамъ, разбросаны во множествѣ по всей Енисейской степи, знаменуя могильники безъ вѣсти исчезнувшихъ, доисторическихъ тюрковъ.

— Вотъ разбирайте, какіе черти и для кого это ставили?—говорилъ мнѣ спутникъ.—Финны рады, родню нашли. Ѣздятъ сюда, изучаютъ. У одного намедни весь матеріалъ, скопленный двумя годами путешествія, свистнули на Сибирской желѣзной дорогѣ Сквозь дикія дебри невредимъ проѣхалъ, у степныхъ разбойниковъ безопасенъ ночевалъ, а на Сибиркѣ свистнули. Ничего. Отряхнулся отъ непріятности, точно пудель отъ воды, и опять опредѣлилъ себя къ дикарямъ на два года—искать родню. Пожалуй, и найдетъ? Финны эти—народъ съ характеромъ. Всѣхъ покойниковъ подъ курганами перевернутъ, а не родствомъ, такъ свойствомъ сочтутся.

— Вы чѣмъ же въ этомъ недовольны-то?

— Съ чего вы взяли? Напротивъ, очень доволенъ. Хоть что-нибудь дѣлается въ краѣ для края. Положимъ, гробокопательство... Да вѣдь, кромѣ гробокопательства, на кладбище—чѣмъ инымъ заниматься?

— Заладили: кладбище, да кладбище. Подождите хоронить, лучше позовите на крестины.

— Хоронить-то вижу что, а кого крестить—недоумѣваю. «Будущее Сибири» что ли, о которомъ такъ возвышенно пишутъ въ газетахъ?

— А вы не вѣрите?

— «Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ»... – запѣлъ онъ.—Душа моя, условимся о правильной терминологіи! Что значить «будущее Сибири»? Красивый звукъ, огромный и пустой столько же, какъ огромна землею и пуста населеніемъ сама Сибирь. Можно говорить о преуспѣяніи Алтайскаго края, Минусинскаго округа, о развитіи грузовъ на Сибирской желѣзной дорогѣ, о культурности города Томска, но—при чемъ здѣсь будущее Сибири? Да и что такое Сибирь, если отнять отъ нея нелестное, но, дѣйствительно, весьма обобщающее понятіе страны, въ которую даже многотерпѣливый Макаръ гонять телятъ не желаетъ? Сибирь, какъ таковая,—либо судебный терминъ, либо обывательскій миѳъ. Губернія Томская, губернія Енисейская, Иркутская,—это вотъ факты. А Сибирь—историческое мечтаніе, миражъ, Ермакова сказка. У миѳовъ и сказокъ будущаго не бываетъ, довольно съ нихъ и прошедшаго. Будущность—за фактами. Вотъ, напримѣръ, какая-нибудь станція Обь, Кривощеково то-жъ, выросла за пять лѣтъ изъ деревушки въ городъ съ двадцатью тысячами населенія. Это—фактъ. Это—основаніе вѣрить въ будущность Кривощекова. И я вѣрю. А въ будущность Сибири не вѣрю.

— Да Кривощеково-то гдѣ? Въ Сибири же. И устроено оно для кого? Для Сибири.

— Ахъ, милый человѣкъ! Да вѣдь и станъ Ермака былъ въ Сибири и устроялся для Сибири. Однако, не скажете же вы, что станъ Ермака былъ знаменіемъ «великаго» сибирскаго будущаго?

— Отчего нѣтъ?

— Оттого, что всякая счастливая будущность для страны легко опредѣляется двумя, тѣсно связанными между собою началами: цивилизаціей и богатствомъ. За богатствомъ и первый Ермакъ, и послѣдующіе Ермаки не изъ Сибири, а въ Сибирь шли, дабы вывезти его въ Москву,—помните: «кланялся Сибирью богатою»? А цивилизаціи Сибирь и посейчасъ не получила, такъ какъ, по правдѣ сказать,—откуда ея Ермакамъ и взять было? Ермаки — пророки счастливыхъ преуспѣяній для центровъ, ради которыхъ они ермачествуютъ на окраинахъ. Сіи же послѣднія, когда Ермаки къ нимъ движутся, твердятъ лишь одно присловье: «Счастливы тѣ народы, которые не имѣютъ исторіи».

— Сибирскій пессимизмъ,—вѣчная пѣсня, что Россія живетъ за счетъ Сибири!

— Клянусь вамъ, что нѣтъ. Моя пѣсня—безъ жалобы. Что жаловаться? Взгляните на географію Сибири,—вы поймете, что ея исторія фатальна: она обречена быть краемъ изгойнаго ермачества, ермаческой культуры, ермаческихъ богатствъ, ермаческихъ преуспѣяній и ермаческихъ концовъ.

— То-есть?

— По обыкновенному: преуспѣваетъ Ермакъ, преуспѣваетъ, а тамъ, съ бухты-барахты, и бултыхъ въ Иртышъ внизъ головою. И—ау!

„Онъ выплыть изъ всѣхъ напрягается силъ
Но панцырь тяжелый его утопилъ“.

Вѣдь всѣ наши сибирскіе капиталисты и «Наполеоны тайги» тѣмъ кончаютъ. У насъ—состоянія фейерверочныя. У насъ есть города, населенные бывшими и будущими капиталистами. Вотъ настоящіе капиталисты—что-то въ умаленіи.

— И все это Ермаки?

— Конечно. Другого сорта преуспѣвателей у насъ быть не можетъ.

— Опять! Да почему, наконецъ?

— Потому, что Сибирь—край, обреченный Богомъ жить въ другихъ, а не въ самоё себя, и предопредѣленіе это—рожонъ, противъ него же не попреши. Вы говорите: страна будущаго. А я говорю: кладбище. Кто правъ? Вы вѣрите въ будущее, потому что видите летающихъ въ небѣ журавлей,—ахъ, вотъ бы поймать-то! Я вѣрю въ кладбище, потому что—вонъ ихъ сколько кургановъ-то въ степи наложено... Подите въ музей минусинскій. Тамъ почтенный Клеменцъ съ Мартьяновымъ много этихъ камней и бабъ наставили. Такъ, если съ вѣтра къ нимъ подойти,—что въ нихъ? Ну, а для знающаго человѣка каменіе глаголетъ... Памятники умершихъ цивилизацій! Не одной цивилизаціи, замѣтьте, а цивилизацій! Много ихъ сюда пришло и здѣсь померло,—только вотъ: ни одной отсюда не вышло. Придетъ сюда цивилизованная сила, обрадуется обилію, осядетъ и... не успѣла оглянуться, какъ уже вымерла и расточилась. И на ея мѣсто уже сѣла другая, радуясь обилію и тоже готовясь вымирать, а тамъ ждутъ очереди на погибель третья, четвертая, пятая. И вѣдь какъ ловко вымирали-то! Даже имена народовъ—и тѣ спорны... Только и гласятъ археологи: «по величинѣ найденныхъ жернововъ, вращать которые было не подъ силу человѣческую, ясно, что, аборигены употребляли конный приводъ, что̀ свидѣтельствуетъ о высокой степени ихъ культуры». А чьей «ихъ»-то? Цѣлыя націи въ трясину провалились. Торчатъ взамѣнъ ихъ вотъ этакія каменныя дылды, да кости, крашенныя въ желтую краску, въ землѣ гніютъ. Когда нашъ Ермакъ пришелъ въ Сибирь, что онъ нашелъ? Разлагающіеся народцы. И каждый изъ нихъ очень хорошо помнилъ, что онъ въ краѣ—весьма недавній поселенецъ, что онъ еще нѣсколько поколѣній тому назадъ былъ не народцемъ, но могучимъ народомъ. Недавній и могучій, а уже вымиралъ. Вотъ и

разсудите, что̀ здѣсь у насъ—край преуспѣянія или страна умертвія? Великій погостъ народовъ! И такъ будетъ всегда... Здѣсь человѣкъ истребляетъ человѣка, а природа истребляетъ побѣдителя. Что человѣку—Ермаку, что Ермаку—народу въ Сибири—всегда одна судьба: дешево напитаться, разбогатѣть, облѣниться и, одурѣвъ, скоро и напрасно завянуть...

— Такъ что, по-вашему, и тѣ доисторическіе народы, что оставили эти камни, были тоже Ермаки?

— Всенепремѣнно. Мнѣ они такъ рисуются. Катится гигантскій потокъ тюркскаго переселенія. Духъ кочевой энергіи зоветъ варваровъ впередъ, все впередъ. Они разрушаютъ и основываютъ царства. Переднія могучія волны ихъ добѣжали до Рима, расшиблись на поляхъ Каталаунскихъ, вынесли на верхъ земной славы, какъ пѣну на гребняхъ, Аттилу, Чингисъ-Хана, Тамерлана. Арьергардъ же, который послабѣе и полѣнивѣе, говоритъ себѣ: мы къ великой битвѣ народовъ еще успѣемъ. Да и что-то она еще дастъ намъ? А вотъ тутъ—синица въ руки: текущій млекомъ и медомъ край, который давайте, братцы, ограбимъ до чиста, а потомъ можно, пожалуй, пойти и дальше... И грабятъ—сперва въ кочевую раздѣлку, потомъ въ осѣдлую, пока не проносится надъ землею потопъ новыхъ хищниковъ, котораго арьергардъ осѣдаетъ дограбливать то, чего не успѣлъ ограбить арьергардъ перваго. Сперва—Ермаки тюркскіе, съ востока на западъ, потомъ—попятная волна, а въ заключеніе ея—Ермаки русскіе, съ запада на востокъ. Колонизація, какъ невольный результатъ хищничества, подъ эгидою и именемъ цивилизаціи! Вотъ и вся историческая философія нашего края... И иной, повторяю, быть не можетъ. Потому что край нашъ—природная сокровищница богатой дикости, накопленная за многіе вѣка, такъ что и многіе вѣка и народы понадобились, дабы сокровища его истощить. Но каждый изъ истощавшихъ Сибирь понималъ, что сокровища ея, однажды растраченныя, не возродятся съ легкостью, какъ въ другихъ, болѣе благо-

датныхъ странахъ, а потому и каждый, памятуя, что своя рубашка ближе къ тѣлу, спѣшилъ какъ можно скорѣе схватить то, что лежало сверху и само плыло въ руку, спять пѣнку, пока не слизнули другіе. И затѣмъ, по возможности, убѣжать... Во всѣхъ цивилизаціяхъ эксплоатація естественныхъ промысловъ и богатствъ страны ублажаетъ область своего производства. Не то въ Сибири! Ея промыслы и богатства откликнутся гдѣ-нибудь далеко-далеко, за тридевять земель, въ тридесятомъ царствѣ, куда со временемъ уходятъ на отдыхъ отъ добычъ ея пресыщенные Ермаки, а самой Сибири остаются истощенныя угодія да умертвія.

Въ русскій періодъ Сибири судьбами ея руководили, чередуясь, два взгляда—доброжелательный и враждебный. Одинъ провозглашалъ Сибирь русскими «Мехико и Перу», другой упрямо увѣрялъ, что «Сибирь самимъ дороже стоитъ». Несмотря на такую разницу въ конечныхъ выводахъ, оба взгляда имѣютъ то общее основаніе, что оба они весьма мало интересуются Сибирью для Сибири. Вопросъ идетъ вовсе не о томъ, какіе шансы и возможности имѣетъ эта громадина,—индѣ ледяная, индѣ лѣсная, индѣ степная, индѣ тропическая,—для превращенія въ страну, удобную для человѣческаго общежитія. Вопросъ одинъ: Сибирь для насъ—Перу, или мы для Сибири—Мехико? Вотъ увидите, что мы выжмемъ изъ Сибири неисчислимыя богатства, говоритъ одно сибировоззрѣніе. А другое мрачно возражаетъ: смотрите, чтобы она сама изъ васъ соковъ не выжала. Только и спора. Но—что, если Сибирь на что-нибудь и годна, то исключительно въ качествѣ предмета удобовыжимаемаго, это ни тѣмъ, ни другимъ сибировоззрѣніемъ никогда никакимъ сомнѣніямъ не подвергалось и вся ея исторія—нелицемѣрная свидѣтельница. И, по-моему, первый, «доброжелательный» взглядъ на удобовыжимаемость сибирской губки даже откровеннѣе, съ бо́льшею наивностью выражаетъ историческую суть вещей, чѣмъ взглядъ пессимистическій. Сказано: Сибирь—русское Мехико и Перу. Стало быть,

и валите туда, по аналогіи, русскіе Кортесы, Пизарро, Бильбао — и кто тамъ еще изъ удалыхъ добрыхъ молодцовъ? «Мы — не воры, не разбойнички», а только... Ермачки. И валили валомъ! И уносили богатства, а оставляли умертвія...

Исторія русской Сибири начинается тѣмъ, что казаки пошли добывать звѣря — соболя. Но, при встрѣчѣ съ инородцами, Ермакъ и Кольцо увидали, что соболя и бобра слѣдить по лѣсамъ и рѣкамъ излишне, такъ какъ они,— въ количествахъ, которыхъ не доставитъ самая успѣшная охота, — накоплены инородцами по зимовьямъ. Стало быть, кто хочетъ имѣть изобиліе въ соболѣ и бобрѣ, долженъ охотиться не за соболемъ и бобромъ, но за инородцемъ. И вотъ началась эта омерзительная охота, и продолжалась она на пространствѣ отъ Уральскаго хребта до пролива Берингова... ни много, ни мало — двѣсти пятьдесятъ лѣтъ! Сперва охотились за инородцемъ съ оружіемъ въ рукахъ, потомъ, когда возобладала гуманность, стали охотиться водкою. Въ результатѣ — инородецъ избилъ въ лѣсахъ сибирскихъ звѣря, а наша водка уничтожила инородцевъ. Два умертвія. Звѣроловческій періодъ сибирской исторіи кончился. Благодаря ему Россія и Европа носили очень хорошіе мѣха и имѣли на нихъ немалое денежное обращеніе. Что касается самой Сибири, она даже не выучилась мѣха свои обрабатывать. Какъ двѣсти лѣтъ назадъ, такъ и сейчасъ сибирскій мѣхъ, чтобы принять видъ приличный и удобоносимый, долженъ ѣхать въ Москву, Петербургъ, Одессу, Лейпцигъ, Гамбургъ. И, возвратясь изъ столичной или заграничной науки, съ цѣною двойного проѣзда, онъ оказывается въ Томскѣ, Красноярскѣ и Минусинскѣ дороже, чѣмъ въ Москвѣ у Михайлова и Бѣлкина, въ Петербургѣ у Грюнвальда и т. д. Умертвіе великой страны мѣховъ,—и вы сами понимаете, что это уже окончательное и безнадежное... Не бывало зоологическаго примѣра, чтобы исчезпувшія животныя породы снова размножались и за-

полняли собою лѣса къ удовольствію господъ потребителей. Жареные рябчики не летятъ прямо въ ротъ, и голубь любитъ, чтобы его ловили. Умертвіе звѣриное продолжается уже сто лѣтъ, и даже сейчасъ еще не убываетъ, а прогрессируетъ злополучная звѣриная агонія. Пять лѣтъ назадъ шкурка горностая въ Енисейскѣ стоила отъ гривенника до двугривеннаго, въ 1902 году,—замѣтьте, голодномъ,—она стоила рубль десять копѣекъ. Мы уже не въ силахъ конкурировать съ Канадою. Нашъ звѣрь пошелъ на второй планъ. Онъ—вырождающійся, мѣхъ его—второй сортъ: съ этимъ богатствомъ, конечно, и на сибирскомъ историческомъ кладбищѣ мы можемъ поставить смѣлою рукою два печальныхъ мавзолея—по сибирскимъ инородцамъ и по сибирскому звѣровому промыслу.

Періодъ горнопромышленный, когда именно и твердили съ особеннымъ усердіемъ о русскомъ Мехико и Перу. Ну, что же? Сибирь оправдала ожиданія. Мехико—не Мехико, а золота и желѣза было найдено достаточно, и метрополія могла только радоваться за добычливость провинціи. Однако, въ какой бы городъ золотопромышленнаго района вы ни пріѣхали въ настоящее время, первый визитъ, который вамъ будетъ сдѣланъ,—мелкаго золотопромышленника какого-нибудь, который станетъ васъ соблазнять въ товарищи, либо купить у него заявку, либо, наконецъ, даже взять ее даромъ,—подъ однимъ условіемъ, чтобы вы заплатили казенныя пошлины. Вамъ всюду предлагаютъ купить милліонъ рублей за тысячу цѣлковыхъ,—и, увы! милліоны не находятъ покупателей...

— Это такъ. Но золотое дѣло въ упадкѣ временномъ. Оно пострадало отъ невѣжественной, хищнической эксплоатаціи, но нѣдра, конечно, еще далеко не истощены.

— Кто же вамъ говоритъ, что совсѣмъ истощены! Тогда бы не разсуждать о нихъ, а прямо бы кричать караулъ благимъ матомъ...

— Новые пріемы добычи, свободное обращеніе шлихового золота, внимательный контроль промысловый...

— Воскресятъ они, что ли, золото?

— Не воскресятъ, но прекратятъ хищничество и обезпечатъ будущность великаго богатства: тогда его еще на много десятковъ лѣтъ хватитъ.

— Прекратить хищничество хорошо. Но вотъ въ чемъ дѣло: тамъ, гдѣ возможно прекратить золотое хищничество, —значитъ, и золото не слишкомъ-то богато... Желтуха, Клондайкъ, Идахо влекли и влекутъ людей въ ужаснѣйшія условія жизни массами, значитъ, тамъ много золота... На минусинскихъ же пріискахъ рабочихъ надо удерживать каторжными контрактами и полицейскими мѣрами. Значитъ, тутъ мало золота, и возиться съ нимъ мало кому въ охоту. И опять-таки скажу: чему научилъ золотой промыселъ Сибирь? Вы говорите о новыхъ способахъ добычи, промывки. Гдѣ же они? Всякое новшество оглашается на всю Сибирь, какъ великое событіе и чудачество, а огромное большинство роетъ и моетъ, какъ дѣды и прадѣты рыли и мыли. А такъ какъ, при дѣдовскихъ и прадѣдовскихъ манерахъ истощенныя шахты уже ровно ничего не даютъ, то эпигоны теперь нашли очень выгоднымъ разрабатывать старинные отвалы, которыми пренебрегали первые золотые Ермаки и Наполеоны тайги. Былъ олень, пришелъ медвѣдь: оленя задушилъ, мякоти съ него объѣлъ, тушу бросилъ; пришли волки, гложутъ мясо съ костей... догложутъ,—и останется бѣлый, сухой скелетъ, свидѣтельствующій, что олень былъ, но его уже нѣтъ, и волкамъ съ медвѣдями завтрашняго числа надо будетъ поискать себѣ пропитанія отъ какой-либо иной породы и въ иномъ мѣстѣ. А золотому оленю затешимъ надгробный памятничекъ и скажемъ навѣки—прости. Посмотрите на современные сибирскіе капиталы, созданные золотопромышленностью: они либо въ упадкѣ, либо обратились за поддержкою къ другимъ промысламъ и добычамъ, ничего общаго ни съ золотопромышленностью, ни съ горною про-

мышленностью не имѣющимъ. Сейчасъ хозяинъ сибирской торговли — спиртъ и хлѣбъ, поскольку онъ можетъ быть выгодно обращаемъ въ спиртъ. Что дастъ Сибири винная монополія, поживемъ—увидимъ. Но покуда хозяинъ винокуренныхъ заводовъ—самый великій человѣкъ въ сибирскихъ городахъ и селахъ, а воръ-спиртоносъ—самый богатый и желанный человѣкъ на пріискахъ... Вотъ промыселъ, несомнѣнно, весьма процвѣтающій! Но, увы, даже и въ Ермачествѣ, онъ никогда не представлялъ собою конечныхъ цѣлей страны, а всегда принимался только, какъ легчайшее, хотя и не весьма пристойное, средство, коимъ рѣшительно какія угодно цѣли достигаются!

II.

# Дѵтая земля.

Такъ ли многоземельна Сибирь, какъ существуетъ о томъ въ Россіи легенда?

Мнѣ довелось жить въ лучшей части Восточной Сибири, въ «житницѣ» ея, въ уѣздѣ, прозванномъ сибирскою Италіей, гдѣ—хотя и очень жалкіе на видъ и вкусъ—вызрѣваютъ съ грѣхомъ пополамъ даже кое-какіе арбузы и дыни.

Общій сибирскій голосъ: лучше этихъ мѣстъ въ Сибири нѣтъ! Слѣдовательно, все, что мнѣ придется сказать ниже о нѣкоторыхъ условіяхъ сибирскаго земельнаго хозяйства, наблюдено при самыхъ благопріятныхъ и выгодныхъ его условіяхъ. Стало быть, для другихъ мѣстностей Сибири, съ того, что я скажу, читатель мой долженъ будетъ лишь сбавлять въ воображеніи своемъ минусы, никогда не разсчитывая на плюсы. Послѣдніе могутъ явиться только счастливою случайностью, далекою отъ превращенія въ сколько-нибудь общее правило.

Итакъ,—«лучше нашихъ мѣстовъ по Сибири нѣтъ»: населеніе малое, земли много, великолѣпные урожаи,—кромѣ годовъ 1900 и 1901-го, по наказанію Божескому, и 1902-го—по ротозѣйству и недосѣву человѣческимъ. Крестьянство, коренное и старо-переселенческое, очень зажиточно. Голодовка обнаружила у крупныхъ хозяевъ

огромныя хлѣбныя залежи. Въ краю просторно; богатствъ его, повидимому, хватитъ съ избыткомъ на населеніе, въ десять разъ большее, чѣмъ сейчасъ, при соотвѣтственно увеличенномъ вывозѣ. Естественно, что въ благодатный край энергически врывается переселенческая волна, какъ казенно-благословенная, такъ и самовольная. Послѣдняя, впрочемъ, уже брезгуетъ нашими палестинами, какъ черезчуръ густо населенными для условій скваттерскаго быта, а, главное, слишкомъ близкими къ сильному и притязательному начальству. Вольная волна катится къ югу, за Усъ, на полумиѳическое Бѣловодье, заходитъ за китайскую границу и ютится, на правахъ данничества, между сойотами. Край равенъ площадью четыремъ Бельгіямъ и двумъ Болгаріямъ. Исправникъ въ немъ, какъ нарочно, болгаринъ, и я, шутя, не разъ говорилъ ему, что у него власти — ровно вдвое больше, чѣмъ у князя Фердинанда, — пожалуй, что и не только по территоріальной мѣркѣ: конечно, князь, связанный широкою болгарскою конституціей, не въ состояніи позволить себѣ по отношенію къ своимъ подданнымъ многаго, чѣмъ любой сибирскій исправникъ, если захочетъ, можетъ удручить и испортить жизнь сибирскаго обывателя.

Итакъ, вмѣстилище огромнѣйшее... Попавъ въ такой емистый бассейнъ, переселенческая волна, при всей своей массивности и энергіи, расплывается тонкимъ, мало замѣтнымъ слоемъ. Правда, онъ утолщается съ каждымъ днемъ, но можно съ увѣренностью сказать, что до сихъ поръ переселенческое движеніе въ край нигдѣ и ничуть не стѣснило выгодъ коренного мѣстнаго крестьянства, а, напротивъ, всюду приносило ему пользу, развивая мѣстный торговый обмѣнъ. Пятнадцатидесятинные переселенческіе надѣлы ничтожны сравнительно съ угодьями чалдонскаго хозяйства, которыя права обычая и давняго захвата часто и по сейчасъ еще измѣряютъ границею: «покуль глазъ хватитъ». Подъ самымъ нашимъ уѣзднымъ городомъ далеко тянутся

спорныя земли, эксплоатируемыя случайными посельщиками, потому что предполагаемымъ владѣльцамъ земли лѣнь и невыгодно изъ-за «такихъ пустяковъ» тягаться фактически, а другъ друга не пускаютъ они на спорную землю только по обоюдному упрямству и ложному самолюбію. Отъ паскотины сибирской деревни, даже и не изъ богатыхъ, часто добрый часъ ѣзды до жила. И, однако, при такомъ-то богатствѣ и просторѣ нигдѣ настойчивѣе, чѣмъ у насъ, не жалуются чалдоны на переселенческое нашествіе, нигдѣ не присматриваются къ нему съ большею тревогою, нигдѣ не встрѣчаютъ переселенцевъ съ большимъ недружелюбіемъ, нигдѣ не возникаетъ между чалдонами и новоселами столько непріятныхъ столкновеній и неурядицъ. Первоначально я относилъ этотъ трудно объяснимый антагонизмъ къ дурному характеру сибиряка, зажирѣвшаго на вольныхъ хлѣбахъ, къ тому подавляющему презрѣнію, съ какимъ здѣсь смотрятъ на бѣдняка вообще, а въ особенности на бѣдняка, обезземеленнаго, обнищалаго до необходимости отказаться отъ родины, чтобы искать крова и корма на краю свѣта, ломая старую жизнь для новой, часто уже на склонѣ лѣтъ. Но, мало по-малу, пришлось выработать убѣжденіе, что источники вражды сильнѣе психологическихъ прихотей и простой антипатіи между сытымъ и голоднымъ, что основа ея—не опытъ прошлаго и настоящаго, но страхъ будущаго, инстинктивный и едва-ли безосновательный страхъ передъ силою, въ которой, при всемъ ея наружномъ смиренствѣ и убожествѣ, сибирякъ уже чуетъ свою смѣнницу-побѣдительницу. Сидѣлъ чалдонъ на кисельныхъ берегахъ, при молочныхъ рѣкахъ, ловилъ ртомъ жареныхъ рябчиковъ, закусывалъ дикими сотами, и вдругъ—откуда ни возьмись, повалила невѣдомая нищая братія и каждому изъ нея надо дать по «эстолько немножечко». Ну, что жъ? Бери каждый «эстолько немножечко». Земля, рѣки, лѣса—Божьи. Кому жалко? Мы пользуемся, какъ хозяева; вы пользуйтесь, какъ гости,—хватитъ на всѣхъ. Но гостей оказалось такъ

много, что хотя «эстолько немножечко» и не великая единица, а вскорѣ сложилась изъ нея преизрядная громада, да при томъ растущая не по днямъ, а по часамъ.

— Отчего вы такъ не любите новоселовъ?—спрашивалъ я крупнаго чалдона-хлѣбороба. — Что они у васъ отняли? Чѣмъ васъ тѣснятъ?

Онъ, старикъ умный и внимательный, отвѣчалъ:

— Тѣснить не тѣснятъ,—однако, окружили, братикъ, подпираютъ...

Въ то время, какъ новая нищая сила катитъ въ Сибирь свой неугомонный наплывъ, сибиряку, сидящему «при своихъ мѣстахъ», раздаться съ нихъ и неохота, и некуда. Онъ остается сидѣть, гдѣ былъ въ дѣдину и отчину, у облюбованныхъ старыми Ермаками молочныхъ водъ, на кисельныхъ берегахъ. Они, по-прежнему, изобильны и кормятъ сыто, но, какъ все вещественное на свѣтѣ, конечно, склонны къ убыли, а не къ прибыли. У сибиряка умъ спокойный и здравомысленный, обольщаться минутою не способный: онъ смотритъ далеко впередъ и видитъ въ немъ нехорошее. Молоко, хотя медленно, изсякаетъ, кисель не вѣченъ и пріѣдается. Будь времена прежнія, оно бы сибиряку сполагоря. Съѣлъ кисель и выпилъ молоко на семъ мѣстѣ, стало быть, передвигайся со своею заимкою, переноси свое скваттерское становище къ свѣжимъ киселю и молоку. Иди впередъ и володай Божьею землею, лѣсами, водами, какъ сумѣешь: они не заказаны. Миддендорфъ засталъ въ Барабинской степи деревни, которыя распахивали земли за шестьдесятъ верстъ отъ паскотины, брезгуя ближележащими, какъ мало производительными. Эта безграничность хозяйственныхъ доходностей, создавшаяся, если не закономъ, то обычаемъ, эта воля хозяйствовать на безлюдьи, какъ знаешь, которая регулировала рамки труда только словами: «сколько глазъ охватитъ, да руки осилятъ», сложили благополучіе стариннаго чалдона, малолюднаго коренного сибирскаго крестьянства. Сейчасъ не то:

оно растерялось предъ новыми временами, и, если вдуматься въ психологію минуты, ему есть, отъ чего растеряться. Наплывъ переселенцевъ именно «подперъ» чалдона. Правильная нарѣзка земельныхъ участковъ, ничуть не потѣснивъ чалдонскихъ хозяйствъ, въ то же самое время вдругъ положила, если еще не практически, то уже принципіально, повсемѣстный конецъ исконной «своей рукѣ-владыкѣ». Чалдонъ видитъ, что его благополучіе потиху, помирну, незамѣтно, вводится въ границы, правда, еще очень широкія, но—ихъ же не прейдеши. Это и ново, и жутко. Скваттерству и полукочевому земельному хозяйству старой Сибири пришла смерть. А традиція сибирской земельной легенды заставляетъ чалдона сомнѣваться, не наступаетъ ли смерть и основамъ сибирскаго благополучія.

— Что ты, баринъ, меня землею коришь?—говорилъ при мнѣ чиновнику богатѣй-чалдонъ.—Не жаденъ я, врешь, баринъ, а, что имѣю, желаю сохранить...

— Кто у тебя твоего проситъ? Владѣй всѣмъ, что имѣешь, пользуйся. Чѣмъ больше запашку будешь дѣлать, тѣмъ больше выгоды не тебѣ одному—всему краю. Но до чужихъ-то надѣловъ какое тебѣ дѣло? За что на переселенцевъ моихъ злобишься? То-то вотъ оно и есть: ненасытные вы. Всего у васъ много, и всего-то вамъ, при всемъ томъ, мало.

Чалдонъ, гладя бороду, усмѣхался въ отвѣтъ, какъ на дѣтскія слова.

— Однако, справедливо говоришь,—язвительно сказалъ онъ,—это точно, что ежели по планту взять, то я шибко много земли имѣю. Но, коли ежели ты хочешь судить во всю правду, такъ и то бери во вниманіе, баринъ-чудакъ,—и то разсудить изволь: что это значитъ, по нашей сибирской сторонѣ, много земли имѣть?

— А ты какъ судишь?

— По-своему сужу, по-крестьянскому. Кто во всей степи воленъ и любую цѣлину пашетъ,—гдѣ хочетъ, тамъ

любую новину и поднялъ,—у того земли много. А кто обгородился и выхода ему на цѣлину нѣтъ, у того земли—какъ Богъ сосчитаетъ: можетъ, оно и богато, а можетъ, и нѣтъ ничего.

Чиновникъ пожалъ плечами и обратился ко мнѣ:

— Какъ вамъ это нравится? На всю степь лапу протянуть желаетъ. Вы замѣтьте: этотъ почтенный старецъ, будучи многосемейнымъ, имѣетъ возможность распахивать нѣсколько сотъ десятинъ. И вотъ не угодно ли-съ? Земли, оказывается, ему мало.

— Ужъ и нѣсколько сотъ...—засмѣялся чалдонъ,—и что-й-то, ровно бы ты, Андреянычъ, больно шибко считаешь?

— Ладно, заговаривай зубы. Нарѣзано вамъ по шестидесяти десятинъ, дѣло извѣстное. А ты еще прикупаешь. На шестидесяти-то десятинахъ мужику какое бы хозяйство надо взбодрить?

— Глядя по мѣсту, другъ любезный.

— Какихъ еще мѣстъ надо? Нашъ ли уѣздъ не «мѣста»?

— Я уѣзда не хаю: хлѣбный уѣздъ, ровный. Но ежели ты хлѣбное мѣсто выпахалъ, станетъ оно тебѣ родить или нѣтъ? Такъ то-съ, братъ. Выпаханная земля—что старая баба: плода отъ нея нѣтъ.

— А ты не хищничай, не выпахивай зря.

Чалдонъ опять презрительно засмѣялся:

— Чудные вы, господа баре, ей Богу ну, чудны. Словно мы, мужики, крестьянство, малые ребята, чтобы самихъ себя въ убытки вводить, землю обезцѣнивать. Не мы выпахиваемъ землю, земля выпахивается.

— Здравствуйте! Соху-то не ты, стало быть, ведешь? Зерно не ты бросаешь?

— Мы!

— Такъ какъ же?

— А такъ, что помолчи, послушай, дай слово сказать. Много у васъ въ Россіи разговора идетъ, что въ Сибири,

особливо вверхъ по Енисею, больно хороша земля: богато родитъ. Кто говоритъ, что бѣдно? Да надолго ли ея хватаетъ рожать-то? Первый годъ, что Богъ благословитъ поднять новь, она тебя не зерномъ—золотомъ осыпаетъ. Второй годъ —серебромъ. На третій—еще выстоитъ за себя· богатымъ не сдѣлаетъ, накормить—накормитъ. А на четвертый—ау, красная дѣвушка! Что сѣялъ, то и взялъ: колосъ отъ колоса не слыхать толстаго голоса. Это значитъ: замерла землица, силою изошла. И надо, стало быть, о ней теперича позабыть, въ забросъ ее бросить, по-вашему оставить въ черный паръ, покуда она не отдохнетъ. А отдыхаетъ-то она у насъ, матушка, не по-россійскому. Какъ скоро наша землица оскудѣла, къ ней ближе пятнадцати годовъ не подступись, а, по-настоящему соблюдая, она должна лежать непаханная два десятка лѣтъ, чтобы набрать въ себя новой силы. Да и то, хоть дастъ теперь хорошіе урожаи, а все уже не тѣ, что съ степной цѣлины, да и истощится вдругорядь уже много скорѣе. У насъ, братикъ, бываетъ, что вотъ сію полоску ты пахалъ, а во второй разъ пахать ее уже твой сынъ будетъ: самъ на нее вернуться не успѣешь, —смерть придетъ. Такъ вотъ и посчитай: выходитъ, что убиваемъ мы землю въ три года, а оживаетъ она двадцать лѣтъ. Теперь прикинь. Имѣешь ты, скажемъ, шестьдесятъ десятинъ. Ежели ты настоящій хозяинъ, а не хищникъ, какъ его благородіе ругаются,—подмигнулъ онъ на чиновника,—велику ли запашку можешь ты изъ нихъ, шестидесяти десятинъ, дѣлать, при такомъ разсчетѣ, чтобы къ двадцатому году опять поворотить на первую полосу, какъ на новину? Коли устроить дѣлежку въ порядкѣ,—вонъ какъ нѣмцы-переселенцы дѣлятъ,—то выйдетъ, что взновилъ ты въ первый годъ три десятинки, да потомъ каждый годъ приновляй къ нимъ еще по три, а больше ни разсчета тебѣ, ни вольготы нѣтъ, больше не моги. Чуть широко запахался, —и не спохватишься, какъ уморилъ землю,—и сиди на голодной степи. А три десятины—большая ли корысть?

Земля—соблазнъ великій. Трудно на счетъ ея характеръ свой выдержать. Нѣмцами, ваше благородіе, насъ не попрекай. У нѣмца ужъ такое, отъ родителей заведенное: оправдываетъ онъ съ года на годъ положенный процентъ, и радъ, на то и уповаетъ. А коли Богъ сверхъ чаяннаго лишку пошлетъ, нѣмецъ пѣсни играетъ. Мы не той породы. Я тебѣ, баринъ хорошій, хоть про себя скажу. Ежели теперича Богъ послалъ хорошій урожай, а запашкою мы по веснѣ оплошали, мало заложили, такъ, вѣришь ли, я тотъ годъ словно бы и на свѣтѣ не живу: хожу, какъ полуумный, либо вѣдьма... Все сердце выгоритъ отъ большой досады, что посылалъ Богъ барышъ, а принять руки не достали. Такъ всю страду, лѣто и осень звѣремъ и рычу, въ землю смотрю, зубомъ скриплю: всѣхъ бы пополамъ перекусилъ, —зачѣмъ былъ дуракъ—урожай, зерно, деньги съ неба валились, а я не догадался—не подставилъ полы...

— О чемъ же и разговоръ-то?—перебилъ чиновникъ.— Оно на мое и выходитъ: жадны очень.

— Баринъ, кто своему счастью не радъ? Для чего и въ Сибири живемъ, какъ не для хлѣба? Что-й-то, Господи, право? Подъ Саяномъ, возлѣ самаго китайца, жить, да еще хлѣба по волѣ не взять? Чудно разсуждаешь, почтенный.

— Однако,—сказалъ я,—если ты пожадничаешь такимъ образомъ годъ, другой, третій, то, слѣдовательно, на четвертый, по собственному твоему разсчету, ты останешься на землѣ-неродихѣ и долженъ будешь положить зубы на полку?

— А что я говорю? То самое. Именно, что такъ. Потому и докладаю вамъ, что у насъ богатъ землею не тотъ, у кого ея много, а тотъ, кто землю, сколько ему надо, столько онъ и смѣнить воленъ. А ежели насъ огородить, чтобы въ степь, на цѣлину выхода не имѣли, то мы и тысячу десятинъ выпашемъ въ самомъ скоромъ времени, да такъ, что потомъ и кустъ расти не захочетъ, не то что хлѣбъ. Въ томъ не сумлѣвайся: вѣрно.

— Позволь. Отчего же зависитъ такое скорое умираніе почвы? Не удобряете, что ли?

Чалдонъ улыбнулся.

— Не удобряемъ. Угадалъ, баринъ: удобрять у насъ и въ заводѣ нѣтъ.

— Почему?

Онъ лукаво прищурилъ глазъ:

— У тебя, милый баринъ, конекъ имѣется?

— Держу.

— А у меня ихъ во дворѣ двѣнадцать головъ стоитъ.

— Такъ чего же лучше? Вотъ тебѣ и удобреніе, да еще какое. Ты знаешь ли, что въ Новгородской, Московской, Тверской губерніяхъ конскій навозъ—деньги? За него хозяева большимъ рублемъ платятъ.

Онъ возразилъ съ насмѣшкою:

— Мы тоже платимъ... за то, чтобы дворъ отъ него очистить, за вывозъ... Какъ же, по гривеннику возъ...

— Куда на вывозъ?

— А гдѣ свалку ему покажутъ: въ балку какую-нибудь... Зимою на ледъ, чтобы по веснѣ рѣка снесла...

— Ничего не понимаю... Стало быть, онъ пропадаетъ у васъ безъ всякой пользы?

— Стало быть, что такъ. Говорятъ люди, можно съ него поташъ брать. Да мы къ этому не привычны.

— За что же наземомъ брезгуете?

— Ни къ чему онъ по нашему хозяйству.

— Во всемъ свѣтѣ удобреніе—самая важная статья земельнаго хозяйства, а у васъ оно ни къ чему?

— Ни къ чему. Потому что, посуди самъ: въ чемъ его сила? Въ томъ, чтобы наземъ съ землею перешептался, соки свои ей отдалъ, тепломъ бы ее согрѣлъ. Онъ землѣ и кормъ, и шуба. Такъ я говорю или нѣтъ?

— По-нашему, такъ.

— Вотъ-вотъ: по-вашему, по-россійскому, какъ новоселы разсказываютъ. А у насъ ничего такого отъ него

ждать нельзя. Потому что у васъ—долгое тепло: весны и осени длинныя, зимою снѣжные сугробы. Выходитъ, что наземъ мѣняется съ почвою силою девять мѣсяцевъ въ году. Понялъ? А у насъ—ни весны, ни осени, ни снѣговъ. У насъ на Покрова пароходы бѣгутъ по Енисею, господа въ лѣтнихъ пальто гуляютъ, а, недѣлю спустя, прячь морду въ доху, и землю уже никакой заступъ не возьметъ, потому что сразу пошли трещать двадцатиградусные. Морозъ страшенный, а снѣгу, если выпадетъ на вершокъ, говори спасибо: фартовая зима. Это такъ выходитъ оно къ холоду. Когда переломится годъ на тепло, опять то же самое. До половины апрѣля—земля—камень, каляная, оттепели ее не берутъ, не мокнетъ. Къ половинѣ мая развѣ что пригорочки—не то, что зазеленѣютъ, а какъ бы плѣсенью пойдутъ: это, значитъ, верхи почвы стаивать зачали и дернъ пущаютъ. А тутъ сразу солнышко и беретъ свою силу, да, какъ возьметъ, такъ все сразу изъ земли и подниметъ. Трава, баринъ, самъ, небось, видѣлъ, знаешь: по вершку въ день растетъ. Нонче на степи листка зеленаго не было, а черезъ недѣлю изъ-за травы коровъ не видать. Вотъ они, каковы наши мѣста!

— То и удивительно, что вы мѣста такой страшной производительной силы умудряетесь обезпложивать съ такою быстротою.

— Ничего не удивительно. О пашихъ мѣстахъ, по показу ихнему, слава гудитъ, что они очень богаты. А былъ тутъ одинъ навозный, ученый баринъ, разумная голова. Испыталъ черноземъ нашъ, каково пашемъ, сѣемъ, послѣ сказываетъ одному нашему: врутъ люди про вашу сторону, старики. Не счастливыя у васъ мѣста; но хвастливыя. Не богатыя, но тароватыя. И точно, баринъ. Какъ земли въ скорости не выпахать, коли она прогрѣвается всего на три четверти аршина? А дальше—ледъ, зима. Щедра наша кормилица, да пластики-то тоненькіе: пыхунъ. Сказано о немъ: пыхунъ,—пыхунъ онъ и есть. Новички

имъ страхъ какъ обманываются. Потому что, по первому урожаю, всякому будто обозначается: съ такою землею— вѣкъ жить, добра не изжить. Сверху спашу, глубокими плугами за нее примусь, новую гору богачества нарою. Анъ, вглубь-то полѣзъ, да и закопалъ все, что раньше верхомъ нажилъ. Потому что—особенныя наши мѣста. Въ нихъ только то и живо, что лѣтомъ солнца набираетъ, а, что подъ землею, того, братъ, плугомъ-то лучше не шевели: мертвое. Такъ вотъ, стало быть, ты и соображай: пыхунъ тонкій, выпахивается скоро, удобренія въ себя не принимаетъ. Зимою наземъ мерзлымъ камнемъ лежитъ, а лѣтомъ —углемъ раскаленнымъ, грунтъ подъ собою выжигаетъ. Пробовали, вѣдь, наши россійскіе новоселы наземить-то. Хорошо, что наши надъ ними сжалились, уговорили: хоть не всю, молъ, пахоту наземьте, оставьте гдѣ-нибудь самой землѣ родить. А то бы вовсе безъ хлѣба сѣли, идолы: только тѣ полосы и родили, на которыхъ назему не вожено. Понялъ?

— Что-жъ не понять? Если такъ, дѣйствительно, ваше хозяйство—совсѣмъ особь статья.

— А, ежели понялъ, вотъ и изволь сосчитать на пальцахъ: пластъ тонкій, выпахивается скоро, удобренія не примаетъ... Много ли теперича, выходитъ, имѣемъ мы земли, али нѣтъ?

Я не агрономъ и, какъ въ земледѣліи, такъ и вообще въ сельскомъ хозяйствѣ мало смыслю. Такъ что втереть мнѣ очки по этой части легко. Быть можетъ, и преувеличивалъ чалдонъ трудности искусственнаго питанія земли; быть можетъ, правы тѣ, кто съ раздраженіемъ увѣряютъ, будто сибирскій мужикъ ужъ слишкомъ избалованъ степною цѣлиною. Наконецъ, если не годится, какъ мѣстное удобреніе, наземъ, найдется что-нибудь другое. Вонъ здѣсь, въ долинѣ Енисея, существуетъ такое стихійное благодѣяніе, какъ лёссовые налеты. Подхватитъ буря гдѣ-нибудь на среднемъ Енисеѣ тучу краснаго лёсса и тащитъ его на

югъ, пока не разобьетъ смерча о саянскія предгорья. И, гдѣ осядетъ туча красной земли, тамъ хоть не паши, не борони, бросай зерно лѣнивою рукою: урожай будетъ чуть не сторицею. Это подарокъ природы; это случайность, лотерея. Но, гдѣ есть натуральный матеріалъ для подобныхъ лотерей, тамъ возможно и регулярное ими пользованіе, при помощи знанія и искусства человѣческаго. И несомнѣнно, что рано или поздно, когда земледѣльческая слава Сибири начнетъ погасать,—а ждать этого недолго, судя по такимъ трагическимъ примѣрамъ, какъ угаснувшая слава плодородной Барабы, Курганскаго округа и т. п.—сибирякъ долженъ будетъ найти способы поддержать свое земледѣліе мѣрами искусственными. Но покуда онъ о таковыхъ ничего не знаетъ, не слышитъ, да и не мечтаетъ, продолжая существовать исключительно помощью благой матери-природы и тѣмъ номинальнымъ количественнымъ многоземеліемъ, которое, по качественной провѣркѣ, тамъ часто и неожиданно оказывается зачастую скорѣе малоземельемъ.

— Земля у меня, точно, широка,—говорилъ мнѣ другой крестьянинъ,—да на холодахъ она.

«Холода»—воздушныя теченія, необычайно вліятельныя въ здѣшнемъ хозяйствѣ. Климатъ высокаго предгорнаго плато, на которомъ расположенъ нашъ уѣздъ, очень странный. Въ самую лютую, пепелящую іюльскую жару, вы чувствуете, что откуда-то нѣтъ-нѣтъ, да и нанесетъ струйку холода. Разница между температурою на солнцѣ и въ тѣни чрезвычайно рѣзка. Въ воздухѣ всегда какъ будто спорятъ два дыханія—постоянное, ледяное, изъ устъ дѣдки Мороза, и временное, которымъ пышетъ, съ неба побѣдоносный, знойный Ярило-Солнце. И стоитъ Ярилѣ только чуточку зазѣваться или отдохнуть, чтобы старикъ Морозъ уже нагналъ озноба въ его недолгое царство. Августъ—самый жаркій мѣсяцъ въ году, но пятнадцатаго августа обязательный утренникъ убиваетъ бахчи. Холодныя теченія

воздуха не позволяютъ вызрѣвать въ краю, лежащемъ на одной широтѣ съ Самарою, яблокамъ, сливамъ, вишнямъ. Мѣстная кислѣйшая и противная, похожая на дикую, вишня продается на базарѣ, какъ чудо и рѣдкость, по сорока копѣекъ за фунтъ.

— Нашъ край—что чугунная печка. Покуда топишь чугунку, отъ нея идетъ такая жара, что нельзя устоять близко. А, чуть не стало топлива, сейчасъ же сразу все застынетъ въ комнатѣ, и, глядишь, пуще всего застыла сама печка. Положи на нее руку,—ознобишь.

Пока Ярило топитъ міровую печку, степь развиваетъ свои плодотворныя силы въ какихъ-то совершенно преувеличенныхъ, фантастическихъ размѣрахъ. Произрастаніе хлѣбовъ по вершку въ день, аршинные стебли ирисовъ, пестрота цвѣтовъ, быстрое, густолиственное самоодѣваніе лѣса. Казалось бы, Морозко совсѣмъ загнанъ подъ землю, и слухъ о немъ пропалъ. Анъ, нѣтъ: онъ только разбитъ, но не побѣжденъ. Онъ притаился, но онъ тутъ и, хоть понемногу, исподтишка, но, все-таки, пакоститъ врагу медленно и неуклонно. Не проходитъ двухъ недѣль съ первыхъ теплыхъ дней, какъ въ енисейской степи—уже картина поздняго лѣта. И только кое-гдѣ между отцвѣтающими лугами и желтѣющими хлѣбами, попадаются луга и прогалинки удивительной свѣжести, точно они только вчера ожили къ жизни, запоздавъ своею исключительною весною противъ всей природы. Эти мѣста—подъ «холодами», о которыхъ говорилъ мой знакомый мужикъ и которыя составляютъ проклятіе очень многихъ здѣшнихъ хозяйствъ. Станьте въ такомъ мѣстѣ, особенно на закатѣ солнца,—время, когда хозяева нарочно объѣзжаютъ свои помѣстья, чтобы изучать имѣющіеся въ нихъ «холода»,—и вамъ покажется, будто васъ перевели изъ жаркой бани въ погребъ. Сѣять подъ «холодами» совершенно безполезно. Лѣто на нихъ начинается такъ поздно и кончается такъ рано, что Ярило надъ ними не властенъ. Дыханіе морозкиныхъ устъ вѣчно стру-

ится на нихъ, не давая палящему богу прогрѣть землю даже на жалкую сибирскую глубину. Меня увѣряли, что теченія «холодовъ» иногда направляются съ такою яркою опредѣленностью, что человѣкъ, сидя верхомъ на лошади, если раскинетъ руки врозь, то чувствуетъ концами пальцевъ тепло лѣтняго вечера, тогда какъ весь корпусъ всадника остается въ холодной, мертвящей струѣ. Этого я не испытывалъ. Но нырять жаркимъ и душнымъ вечеромъ въ морозныя рѣки «холодовъ» случалось, и не могу сказать, чтобы это способствовало укрѣпленію здоровья и страховало противъ маляріи.

## III.

# Постылая.

Одно изъ самыхъ печальныхъ для будущности Сибири противопоказаній заключается, по-моему, въ томъ, что эту страну не любятъ живущіе въ ней. Я знаю, что слова мои покажутся множеству сибиряковъ несправедливымъ и напраснымъ преувеличеніемъ. Знаю, что въ числѣ русскихъ читателей многіе тоже широко откроютъ глаза:

— Какъ, молъ, такъ? А пресловутый сибирскій патріотизмъ? Помилуйте! Что вы?! Ихъ тамъ даже въ сепаратическихъ вожделѣніяхъ обвиняли разные «наслѣдники Каткова»,—и неоднократно: вотъ какъ они любятъ свою родную Сибирь!

Я не отрицаю существованія очень пылкихъ и очень краснорѣчивыхъ сибирскихъ патріотовъ, хотя и тутъ долженъ оговориться: они гораздо болѣе часты въ Москвѣ, Петербургѣ и Нижнемъ-Новгородѣ, чѣмъ въ нѣдрахъ самой Сибири. Восклицаетъ и славословитъ человѣкъ свою «Сибирь для сибиряковъ», а самого не вытянешь изъ Питера, а то и изъ Парижа: это самый обыкновенный и типическій видъ сибирскаго буржуазнаго патріотизма. Не буржуазнаго патріотизма я не встрѣчалъ,—развѣ въ книгахъ столь рѣдкихъ, даже исключительныхъ идеалистовъ, какъ симпатичный и высоко-талантливый покойный Ядринцевъ.

Да и не можетъ его быть, потому что коренной сибирякъ—въ огромномъ большинствѣ встрѣчъ—либо еще скваттеръ, которому, за энергіей хищнической добычи, не до такихъ отвлеченностей, какъ понятіе отечества и «родныя липы» (дерево же это кстати въ Сибири и не растетъ), либо уже сложившійся буржуа. Да и слишкомъ мало ихъ, коренныхъ сибиряковъ, сравнительно съ пространствомъ, по которому Господь Богъ ихъ разсѣялъ. Я охотно вѣрю, что краснорѣчивыя объясненія ихъ въ любви къ своей суровой родинѣ,—опять-таки въ большинствѣ, — очень искренни, но либо они безсильны, либо безвольны, и слова ихъ мало и рѣдко переходятъ въ дѣла. Къ тому же, съ постройкою великаго желѣзнодожнаго пути Сибирь окончательно перестаетъ быть «Сибирью для сибиряковъ», и «навозный» элементъ уже начинаетъ господствовать въ краю, растворяя собою, а иногда и поглощая коренное туземное общество. Томскъ, напримѣръ, при помощи желѣзной дороги и высшихъ учебныхъ заведеній, въ какой-нибудь десятокъ лѣтъ совершенно утратилъ свою сибирскую физіономію; его общественная жизнь—вся въ рукахъ пришлаго изъ Россіи элемента, это городъ «навозныхъ».

Навозный элементъ въ Сибири—до сихъ поръ, сплошь Ермаки. Ермаки антипатичные, Ермаки симпатичные, Ермаки-рвачи, Ермаки-идеалисты, Ермаки «съ общественнымъ планомъ», Ермаки съ помыслами токмо на пользу собственной утробы, — самые пестрые и разнообразные Ермаки, но все Ермаки. Я ни разу не видалъ въ Сибири человѣка, о которомъ можно было бы сказать: вотъ онъ пришелъ изъ Россіи, чтобы послужить Сибири,—онъ для Сибири работаетъ. «Навозный» думаетъ о другомъ: какъ бы заставить Сибирь, чтобы она на него служила и какъ можно богаче и щедрѣе заплатила ему за честь и удовольствіе его драгоцѣннаго въ ней пребыванія. Конечно, идетъ на государственную, общественную и промышленную службу въ Сибирь много и безкорыстныхъ людей, но тогда

служба ихъ совершается именно *въ* Сибири, а не *для* Сибири: эти идеалисты обычно снѣдаемы бываютъ иною заднею мыслью и тайною мечтою,—какъ бы, при помощи Сибири, поулучшить и развить то или другое для до-Уральской Россіи. Есть въ Сибири радѣльцы Россіи, радѣльцы переселенцевъ, радѣльцы инородцевъ, радѣльцы ввоза и вывоза, радѣльцы собственнаго брюха и капитала, радѣльцы просвѣщенія, желѣзныхъ дорогъ и водныхъ путей сообщенія, радѣльцы металловъ, радѣльцы рудъ, хлѣбовъ, минеральныхъ озеръ и источниковъ, радѣльцы асбеста, рыбы, китайцевъ, но радѣльцевъ Сибири для Сибири нѣтъ... по крайней мѣрѣ, не видывалъ.

Сибирскій патріотизмъ громокъ на словахъ. Кто не слыхалъ отъ сибиряковъ хлесткаго и совершенно справедливаго въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ хвастовства:

— Развѣ у васъ, въ Россіи, люди *живутъ*? Маются, перебиваясь съ хлѣба на квасъ, другъ у друга по мозолямъ ходятъ. Вотъ у насъ, въ Сибири, жизнь!

— Сибирь-то у васъ въ Россіи, а у насъ — страна обѣтованная.

И начинается изложеніе великолѣпныхъ составныхъ частей «жизни», перечень соблазновъ обѣтованной земли:

— Золото, пшеница, хлѣбъ, мѣха, пароходство, горное дѣло, строительство, асбестъ, рыба и такъ далѣе, и такъ далѣе...

— Въ два-три года можно стать богатымъ человѣкомъ!.. при удачѣ, конечно!..

— Да!.. въ два-три года! Вотъ это жизнь!

На похвальбы эти «навозные» возражаютъ обыкновенно—и тоже совершенно справедливо:

— Еще бы иначе! На то и Сибирь... Въ Сибирь ѣхать—легко ли дѣло? Ужъ если тебя въ Сибирь занесло, то, по крайней мѣрѣ, не зѣвай, возьми съ нея...

— А то и ѣхать не стоитъ... Помилуйте!.. Что та-

кое?.. Отъ цивилизаціи въ урманъ забираться... Нѣтъ, за это надо взять деньги и деньги!..

Въ пьесѣ «Золото» Вл. Ив. Немировича-Данченко героиня, терзаемая разными претендентами на ея благотворительность, восклицаетъ въ негодованіи:

— Мнѣ кажется, что я не живая, а изъ золота, и каждый, подходя ко мнѣ, думаетъ только о томъ, какъ бы отломить отъ меня кусочекъ для себя.

Если бы «богатая Сибирь, наклоняаяся надъ столами», заговорила, то вся ея автобіографія высказалась бы именно въ этихъ словахъ. Она—золото, подлежащее самому разностороннему расхищенію, и только золото. Любить безкорыстно, какъ любятъ отечество, ее никто не любитъ, кромѣ развѣ тѣхъ вымирающихъ инородцевъ,—съ ихъ странными мистическими глазами пропащихъ и ненужныхъ новому міру людей,—что голодаютъ и вымерзаютъ, либо поѣдаются оспою, сифилисомъ и проказою по сибирскимъ тайгамъ и степи. Потому что русско-сибиряцкій патріотизмъ, повторяю, все-таки, прежде всего есть любовь добычника къ успѣшному мѣсту добычи, а не страсть «сына отечества» къ родинѣ. Это—болѣе другихъ долго и прочно обсидѣвшіеся въ Сибири, Ермаки, но все же Ермаки. О «навозныхъ» нечего и говорить. Между ними,—изъ простыхъ ли, изъ образованныхъ ли,—одинаково трудно найти человѣка, который, добровольно селясь въ Сибири, разсчитывалъ бы провести въ ней всю свою жизнь. Крестьянское переселенчество принципіально предполагаетъ превращеніе россійскаго крестьянина въ сибиряка навѣки. Однако, не говоря уже о тѣхъ пятнадцати процентахъ, что направляютъ стопы свои обратно въ Россію немедленно по прибытіи въ Сибирь къ «новымъ мѣстамъ», я смѣю съ увѣренностью предполагать, что и въ остальныхъ восьмидесяти пяти процентахъ очень значительная доля, чтобы не сказать: большая половина, лелѣетъ въ душѣ идеалъ дезертирства изъ переселенческой доли къ могил-

камъ отцовъ своихъ. Одни говорятъ о томъ откровенно, другіе—по гордости разочарованныхъ неудачниковъ, либо по боязни начальства, которое, какъ полагаютъ переселенцы, косо смотритъ на поворотняковъ и мечтающихъ о поворотѣ,—молчатъ и хранятъ про себя обычную сибирскую мечту:

— Наживу денегъ и уѣду на родину дожидать вѣкъ въ исправномъ россійскомъ крестьянствѣ... Хоть кости сложить возлѣ родителей!..

— Неблагодарные скоты!..—надрывался предо мною въ жалобахъ на это тайное недружелюбіе переселенца къ «новымъ мѣстамъ» одинъ свирѣпый представитель судебнаго вѣдомства.—Они на несчастную Сибирь прямо, какъ на дойную корову какую-то, смотрятъ: возьму, сколько дастъ, молока, и сбѣгу во-свояси. Даже и признаковъ нѣтъ сознанія своихъ обязанностей къ странѣ, которая ихъ обогащаетъ,—рвачи въ онучахъ!.. За хлѣбомъ,—то-есть за спиртомъ и деньгами,—идутъ подлецы!..

Молодой переселенческій чиновникъ, идеалистъ и усердный, самоотверженный дѣятель, какихъ давай Богъ Сибири побольше (къ слову сказать, подборъ переселенческихъ чиновниковъ въ Сибири,—по крайней мѣрѣ въ краю, гдѣ я жилъ,—замѣчательно удаченъ: не обинуясь, можно утверждать, что они—наиболѣе живые, гуманные и симпатичные люди среди современной сибирской служилой интеллигенціи),—молодой переселенческій чиновникъ устало слушалъ эти іереміады и наконецъ рѣзко спросилъ:

— Позвольте узнать, Филиппъ Филипповичъ, — вы давно на службѣ въ Сибири?

— Второй годъ.

— И долго здѣсь намѣрены остаться?

— Да, вѣдь вы знаете: у насъ по трехлѣтіямъ. Раньше трехъ лѣтъ я не имѣю права на переводъ. Иначе,—пожалуйте подъемныя денежки обратно. А вѣдь изъ-за подъемныхъ-то я и согласился сюда ѣхать... Ну, и жалованье

больше, что, при сравнительной дешевизнѣ жизни, тоже разсчетъ... Разъѣздныя огромныя... Производство хорошее, скорое... Мои товарищи кандидатами на судебныя должности при столичныхъ палатахъ маются, а я уже товарищъ прокурора!.. Словомъ, стоитъ похандрить одно или два трехлѣтія: прямая выгода. Зато потомъ ужъ—дудки-съ! адье, монъ плезиръ!.. калачомъ не заманишь!.. Развѣ что предложутъ: не угодно ли вамъ, Филиппъ Филипповичъ, прямо черезъ всѣ чины и назначенія въ предсѣдатели иркутской судебной палаты?

Переселенческій чиновникъ засмѣялся, указалъ на юриста пальцемъ и сказалъ мнѣ:

— А мужиковъ ругаетъ неблагодарными!

— Такъ неужели вы хотите равнять ихъ чувства съ лишеніями интеллигентнаго человѣка, угораздившаго запропастить себя въ этой глуши? Не все ли имъ равно, въ какой мурьѣ не копошиться? Царевококшайскъ или тамъ Золотоноша какая-нибудь ничѣмъ не разнятся отъ Енисейска или Минусинска. Экономическія условія здѣсь лучше,—стало быть, о чемъ заботиться? Зачѣмъ устроилось переселенчество? Чтобы мужикъ, голодавшій въ Россіи, былъ сытъ въ Сибири. И такъ оно и есть: онъ здѣсь сытъ. И, если онъ, нажравшись, бѣжитъ обратно туда, гдѣ голодалъ,—то извините меня, это я могу понимать и разсматривать только, какъ капризъ, бѣснованіе съ жира. Потому что и въ здѣшней деревнѣ для него сугробъ и въ царевококшайской сугробъ, и за тѣмъ ли сугробомъ, за этимъ ли, все равно, и здѣсь, и тамъ дальнѣйшей жизни ему нѣтъ. Такъ что, какого чорта онъ бѣжитъ искать въ царевококшайскомъ сугробѣ, и чѣмъ тотъ разнится отъ этого,—сей финикъ вы мнѣ врядъ ли удовлетворительно разъясните...

Переселенческій чиновникъ возразилъ:

— Разъяснять не стану, потому что не знаю, сумѣю ли. Но разница, должно быть, есть, потому что—вотъ, смотрите, какая странность: хоть ты что, а не забываютъ

они своихъ царевококшайскихъ сугробовъ. Живутъ у нихъ въ памяти оставленныя родныя мѣста. И, какъ ни выгодны экономическія условія, нами имъ предлагаемыя,—съ легко возвратною ссудою, съ крупнымъ надѣломъ, съ широкою готовностью правительства къ помощи на всякое усовершенствованіе и развитіе хозяйствъ,—но—вы знаете ли, что говорятъ девять изъ десяти, когда договориться съ ними до откровенностей и перестанутъ они видѣть въ тебѣ, чиновникѣ, одинъ мундиръ и свѣтлую пуговицу безъ человѣка? Какъ въ одинъ голосъ поютъ: дайте лишнюю душевую десятину въ Россіи, и почти вся переселенческая масса побѣжитъ за Уралъ обратно.

— Да, вѣдь взять-то этой десятины не откуда, и не будетъ ея: дѣло давно извѣстное.

— А, это особый вопросъ. Мы въ него входить не будемъ, да не о немъ и говоримъ. Рѣчь идетъ не о поправкахъ или замѣнахъ переселенія, а только о характерѣ народнаго подчиненія ему. У насъ въ Россіи еще очень не давно, всего лѣтъ пятнадцать тому назадъ, переселенцевъ разсматривали, какъ почти неблагонадежный элементъ, отбросъ сельскаго населенія, зловредныхъ и легкомысленныхъ шатуновъ шатанія ради. Реакціонная печать распѣвала на эту тему пречувствительныя ламентаціи. Это была огромная ложь. Теперь ударились въ другую крайность. Какъ скоро переселенчество сдѣлалось не только благонадежнымъ, но сформировалось даже въ своего рода охранительный государственный институтъ, и любить переселенчество одобряется, въ Россіи пошли пѣть пѣсни о преуспѣяніяхъ и благодушествѣ русскаго мужика на «новыхъ мѣстахъ», при молочныхъ рѣкахъ, на кисельныхъ берегахъ... И, хотя тонъ другой, мажорный вмѣсто минорнаго, а пѣсня-то выходитъ старая: опять на сценѣ фантастическій русскій мужикъ, возлюбившій шатаніе, паче родного дома. Что тогда пѣлось въ порицаніе, теперь поется въ восхваленіе,—только и разницы. И опять огромная ложь. Если

переселенецъ любитъ переселеніе, то развѣ лишь такъ же, какъ карась любитъ, чтобы его жарили въ сметанѣ. Стихійная необходимость влечетъ его въ Сибирь, но входитъ онъ въ нее уже съ предвзятою ненавистью къ ней. Его чувство,—что онъ, разъ живетъ въ Сибири, неполный человѣкъ... Да, вѣдь, правду-то сказать, и сибиряки коренные тоже именно такъ смотрятъ на нихъ, на переселенцевъ: это, молъ, вотъ ссыльно-переселенецъ, это крестьянинъ изъ ссыльныхъ, а это новоселъ, хоть и ни въ чемъ неповиненъ, а, все-таки, не нашъ... не вышла, стало быть, жизнь въ Россіи-то, не хватило натуры до полнаго человѣка, коли къ намъ пришлось бѣжать на легкіе хлѣба... Умаленные въ правахъ! лишенные родины!.. И ненавидитъ новоселъ Сибирь, и, ненавидя, думаетъ:—Ну, вотъ онъ, я, проклятая! Другіе отъ неволи изъ тебя бѣгутъ, а я доброю волею валюсь къ тебѣ въ пасть... Такъ, по крайности, пои ты и корми меня сытно, а то—чортъ съ тобою!.. кому ты, сухая, въ радость-то?.. Иные россійскіе писатели пишутъ очень трогательно, что у мужика-де любовь къ землѣ-кормилицѣ—господствующее начало жизни, и гдѣ мужикъ имѣетъ возможность успѣшно обдѣлывать свою ниву, тамъ-де онъ и найдетъ свое счастье, свою родину, приживется тамъ, какъ у Христа за пазушкою, и Господа Бога восхвалитъ. Люди, такъ разсуждающіе, кажется, сами не замѣчаютъ, какую печаянную клевету они взводятъ на русскую народную душу. Вѣдь по этой теоріи выходитъ, что логика русскаго мужика совершенно точно и дословно вытекаетъ изъ пословицы ubi bene, ibi patria. И опять это чепуха, теоретическая, кабинетная выдумка. Я, пропустивъ черезъ свои руки тысячи переселенцевъ, не видалъ между ними позабывшихъ родину, потерявшихъ нравственную связь съ старыми мѣстами, не мечтающихъ когда-нибудь хоть глазкомъ взглянуть на «свое» село. Въ переселенческихъ деревушкахъ всѣ зимніе вечера проходятъ въ томъ, что вспоминаютъ люди Курскъ, Воронежъ, Витебскъ,

*

Полтаву. А какъ слабо поддаются переселенческія массы сибирской ассимиляціи! Еще великоруссы туда-сюда. Но подлѣ Минусинска стояли хохлацкіе поселы еще вольной колонизаціи, занятые девяносто лѣтъ тому назадъ. И что же? Въѣзжаете вы въ поселъ, и сразу вы не въ Сибири уже, но въ Малороссіи: рѣчь, костюмъ, мазанки, садочки хатокъ, ставочекъ... весь украинскій складъ, весь бытъ временъ Основьяненки и Гоголя живетъ у этихъ девяностолѣтнихъ «новоселовъ», нетронутый, словно застылъ. И сосѣди, сибиряки-заимщики, зовутъ ихъ, словно они вчера только пришли, «хохлами» и «новоселами». Спросите любого мужика въ этихъ поселкахъ, изъ какихъ онъ. Отвѣтитъ: мы полтавскіе. А его и дѣдъ уже не былъ полтавцемъ, но родился въ сибирской степи. Однако, и дѣдъ этотъ всю свою сибирскую жизнь горѣлъ мечтою, что онъ не здѣшній, — не сибирской, лучшей человѣческой породы, — и никогда не долженъ забывать объ этомъ, и внукъ ею горитъ. Мы, молъ, здѣсь не по природному назначенію, но по горькой участи: вотъ отбудемъ вольную каторгу переселенчества, накопимъ грошівъ, да и помандруемъ назадъ въ свою Полтавщину, потому, что тамъ наше законное мѣсто, тамъ, по праву, инстинкту и симпатіямъ нашей породы къ своей старой родинѣ, намъ надлежитъ жить. Для нихъ Полтава — радостный миѳъ будущаго, символъ, какъ теперь выражаются, Новый Іерусалимъ. Вы поймите: паломничества къ роднымъ мѣстамъ умирающіе отцы дѣтямъ завѣщаютъ!.. Вотъ оно—какова крѣпка связь переселенца съ старымъ пепелищемъ. Повторяю вамъ: если бы земельный надѣлъ русскаго мужика выросъ только на одну десятину, то, вмѣсто пятнадцати процентовъ поворотниковъ, мы увидали бы ихъ пятьдесятъ, шестьдесятъ, семьдесятъ, и только самые жалкіе забытые нищіе переселенія остались бы въ Сибири, прикованные любовью къ нашему жирному черноземy-пыхуну, на который мы такъ энергично и такъ чрезмѣрно уповаемъ.

Да взять въ разсужденіе хотя бы и нынѣшніе пятнадцать процентовъ поворотниковъ. Развѣ они не глубоко значительное и краснорѣчивое знаменіе того, съ какимъ психологическимъ надломомъ подвергается участи переселенія сибирскій новоселъ? Если хотите, нашъ строгій Филиппъ Филипповичъ, по-своему, правъ: поворотные пятнадцать процентовъ — дѣйствительно, «неблагодарные». То-есть: эти мужики имѣютъ дерзость разсуждать о выгодахъ своего переселенія совершенно по той же логикѣ, по которой вы, Филиппъ Филипповичъ, желаете получать за службу въ Сибири, а не въ Россіи, полуторное жалованье, быстрое производство не въ очередь и сверхъестественные прогоны. Вы говорите: жизнь въ Сибири—для меня ссылка; отправляя меня служить въ Сибирь, начальство неповинно перемѣщаетъ меня изъ условій цивилизаціи въ дебри и пустыни; такъ пусть же оно, по крайней мѣрѣ, вознаградитъ меня за потери въ комфортѣ, за нравственное удрученіе, денежнымъ и карьернымъ эквивалентомъ,—то-есть, говоря простымъ стариннымъ выраженіемъ, «заплатитъ за безчестье». Мужикъ-переселенецъ, отправляющійся въ добровольную ссылку, тоже не по своей винѣ, а только потому, что для его земледѣльческаго труда не стало мѣста въ Европейской Россіи, тоже желаетъ, чтобы ему хорошо «заплатили за безчестье», и нѣтъ ничего удивительнаго, если онъ разборчивъ и придирчивъ къ предлагаемой ему земельной платѣ, очень часто находитъ ее недостаточною и, отказавшись отъ нея, записывается въ поворотники. Дескать—кабы еще впрямь кисельные берега и молочныя рѣки, то куда ни шло: для кисельныхъ береговъ и молочныхъ рѣкъ стоитъ бросить Цну, Мокшу и Ворсклу, какъ ни жаль разставаться; но въ этакомъ бѣсовомъ краю я не то, что пятнадцати десятинъ, ста не возьму: лучше дома въ кусочки пойду, либо пастухомъ наймусь, либо на фабрикѣ стану работать. Конечно, въ поворотничествѣ многихъ переселенцевъ повинны и наши распорядительскія

неустройства. Въ доброе, къ счастью, уже старое и отжитое, время случалось, что переселенцы попадали въ самыя безобразныя условія передвиженія и размѣщенія... Знаю примѣры, когда они, Богъ знаетъ, какъ по-долгу не получали земли или приходилось имъ садиться на земли, гораздо хуже тѣхъ, съ которыхъ они бѣжали... Другихъ, по неправильной размежевкѣ, или по недоказанности правъ казенной собственности, нѣсколько разъ перегоняли изъ одного спорнаго владѣнія въ другое, точно стаю Агасѳеровъ какихъ-то... Все это бывало. Но съ гордостью могу сказать, что теперь этого уже нѣтъ и давно нѣтъ. Однако, процентъ поворотниковъ не падаетъ, держится. И мы въ томъ, право, ни мало не повинны. Дѣйствуетъ факторъ психологическій: любовь къ родному мѣсту въ этихъ пятнадцати процентахъ оказывается сильнѣе выгодъ, которыя мы въ силахъ имъ предложить. Они думали, что переселеніе обѣщало имъ больше и лучшее, чѣмъ въ силахъ дать. И, разочаровавшись, идутъ назадъ. Тѣ, которые ужъ очень энергично рѣшили перемѣнить участь для новыхъ мѣстъ, а нашими новыми мѣстами не довольны, часто уходятъ дальше, вольною скваттерскою эмиграціей,—на Усу; въ Сойотіи растутъ такимъ способомъ цѣлыя русскія волости; иныя изъ нихъ даже не считаютъ себя подчиненными русской власти и живутъ на правахъ данничества между вольнымъ сойотскимъ народомъ... А тѣ, которые очень тоскуютъ по роднымъ мѣстамъ, пользуются предлогомъ и тянутъ во-свояси... Или застрѣваютъ гдѣ-нибудь по дорогѣ, даже и въ Сибири, пристраиваясь уже не по крестьянскому, но по рабочему, промышленному или торговому дѣлу, съ единственною цѣлью вернуться въ покинутыя родныя мѣста не Христовымъ именемъ и не вовсе съ пустыми руками... Прощай, молъ, мачеха-Сибирь! не поминай насъ лихомъ, а мы тебя добромъ не помянемъ...

* * *

Трудно сомнѣваться, что старинному укладу южно-сибирскаго хозяйства, разсчитанному на неограниченное количество земли безъ «огородки», по вольной или баснословно дешевой заимкѣ приходитъ конецъ. Однако, сколько бы ни плакался чалдонъ на скорую истощимость почвы и на враждебные «холода» (ледяныя теченія воздуха), отнимающіе цѣну у значительной части почвы неистощенной,—близкій конецъ сибирскаго патріархальнаго земледѣлія нельзя разсматривать, какъ конецъ сибирскаго земледѣлія вообще. Придутъ опытъ, наука, привычка къ лучшимъ культурамъ, къ болѣе производительнымъ организаціямъ труда, и качественная энергія обработки замѣнитъ ту количественную добычливость съ широко разбросанныхъ запашекъ, которая сейчасъ еще такъ характерна для южно-сибирскихъ земельныхъ хозяйствъ. Но, при всемъ томъ, въ одномъ отношеніи безусловно правы и чалдоны: въ Сибири человѣкъ только на первыхъ порахъ, съ россійской непривычки, ошеломляется громко звучащими, крупными цифрами десятинъ въ надѣлахъ. Даютъ земли,—кажется,—Господи! на три вѣка хватитъ, еще внукамъ-правнукамъ останется на ней поднимать цѣлины. А, какъ сталъ крестьянствовать и обжился заправски,—анъ, глядь, земли-то этой знаменитой Сибири только-только, что въ самый разъ, и уже предчувствуется, что въ недолгомъ срокѣ, при ближайшихъ поколѣніяхъ, ея будетъ недостаточно. Чалдоны правы, когда не любятъ переселенцевъ,—не за тѣ мелочныя и малыя, либо даже вовсе мнимыя, зла, что будто бы вноситъ къ нимъ нынѣшняя переселенческая колонизація, и которыя они наивно выставляютъ въ объясненіе своей общей антипатіи. Они правы по инстинкту, по предчувствію будущаго. Они знаютъ, что Сибирь—далеко не столь благопріятный ко-

лонизаціонный пріемникъ, какъ увѣряло въ томъ недавнее общественное увлеченіе, и для милліоновъ въ ней нѣтъ мѣста. Восторги къ переселенчеству угасаютъ, изъ панацеи народныхъ нуждъ оно скромно сползаетъ къ роли временнаго палліатива. Клапанъ, открытый земельной тѣснотѣ въ Россіи, работаетъ неустанно, потому что земельная тѣснота въ Россіи не ослабѣваетъ. Но и помѣщеніе, куда клапанъ выводитъ свои пары, тоже не по нимъ, и очень не далекъ часъ, когда оно окажется неспособнымъ къ воспріятію, и надо будетъ искать для паровъ или дальнѣйшаго вывода, или, какъ указалъ въ своемъ министерскомъ отчетѣ послѣ поѣздки на Дальній Востокъ С. Ю. Витте, развивать въ Сибири новые типы добычливой культуры—промышленные. Сибирь мѣховъ уже умерла. Сибирь золота и горныхъ промысловъ—на смертномъ одрѣ. Живетъ и дѣйствуетъ Сибирь земледѣльческая, но о смертномъ часѣ памятуетъ неотступно, а внуковъ, да, пожалуй, и дѣтей своихъ уже предвидитъ не хлѣборобами, но промышленниками. Статистика переселенческая, считающая поворотниковъ въ пятнадцати процентахъ (и то не мало!), не включаетъ въ ихъ число поворотниковъ мѣстныхъ, нравственныхъ. То-есть переселенцевъ, шедшихъ въ Сибирь, чтобы крестьянствовать, но,—когда познакомились они съ мѣстными условіями земледѣлія,—отвернувшихся отъ пашни и деревни для городского, торговаго или ремесленнаго заработка. Я все время, покуда жилъ въ Сибири, имѣлъ прислугу, довольно часто мѣняя ее, изъ такихъ поворотниковъ,—мужиковъ, размужиченныхъ переселеніемъ.

— Ты почему же бросилъ землю?

— А что мнѣ въ ней? Нѣтъ расчета съ нею возиться. Хозяйствуй, пожалуй, на пятнадцати десятинахъ, когда рядомъ чалдонье по шестидесяти запахиваетъ. Это—кто ужъ такъ очень любитъ ее, землю, и кромѣ земли заняться ничѣмъ не можетъ, тому, конечное дѣло, есть резонъ съ нею колотиться. А я человѣкъ майстровый. Я свои деньги

отъ людей всегда возьму, потому что здѣсь народъ худой, балованный, ни къ чему не приспособленъ. Ни онъ въ ремесло, ни онъ господамъ служить...

— Да развѣ ты сюда затѣмъ прибрелъ, чтобы околачиваться около господъ? Небось, крестьянствовать хотѣлъ,—шелъ за своимъ хозяйствомъ?

— Такъ-то оно такъ, да кабы раньше знатье, какое тутъ крестьянство! Намъ съ чалдоньемъ не битвою биться: не выстоимъ! Чалдонъ по хлѣбу противъ насъ всегда засилье возьметъ. Потому цѣны ставить,—это его дѣло. Съ нашими запашками, съ нашими силенками за чалдономъ не поскочишь. Какую цѣну хлѣбу объявитъ Маниловъ, Башенныхъ, Куфіановъ,—по той и отдашь. Потому что нашего брата они хлѣбомъ всегда задавить могутъ,—чалдонье это. У чертей по двадцати, по тридцати тысячъ пудовъ хлѣба лежитъ въ запасахъ, и нѣтъ такой цѣны, по которой бы имъ не было выгодно продать его, потому что онъ имъ достался все равно, какъ даровой: въ старые урожайные годы снятъ, своими руками, безъ рабочихъ... Лежитъ себѣ на столбахъ, да насъ пристращиваетъ, чтобы не зазнавались...

— А ваши пускай тоже берегутъ урожаи, придерживаютъ...

— Засилья нѣтъ беречь. Чалдонъ засилье свое пятнадцать лѣтъ до меня копилъ, а я прихожу—человѣкъ чужой, голый... откуда у меня засилью быть? Тутъ,—надо разсуждать,—какой для хлѣба край? Если урожай, то полны закрома хлѣбомъ насыпетъ. Если неурожай, то въ закрома ни синь пороха не положишь. Мы въ девяносто девятомъ зарылись въ хлѣбѣ, а послѣ два года хлѣбъ стоялъ по цѣлковому пудъ. Животы-то подвело: хоть помирать было. А чалдону—ничего, еще барышъ, потому что начальство для насъ же у него хлѣбъ скупало... по цѣлковому-то пудъ!.. Въ этомъ краю, имѣя деньги, можно съ хлѣбомъ очень какъ хорошо устроиться. Вонъ—я сколькихъ

чалдоновъ знаю, которые на два хозяйства живутъ. Одно—на степи, а другое—у горъ, подъ тайгою. Ежели лѣто съ засухами, тайга родитъ. Ежели лѣто мокрое, степь родитъ. А мы такъ не можемъ: мы къ мѣсту присаженные, да и засилья нѣтъ. А, что вы на счетъ того, чтобы выжидать,—такъ, помилуйте, баринъ: неужто я затѣмъ въ Сибирь забрался, чтобы на хлѣбъ глазами смотрѣть? Въ рукахъ добро держать,—да пользы не взять?

— Торопиться некуда. Хлѣбъ тѣ же деньги. Мѣста онъ у тебя не пролежитъ.

— Деньги—хлѣбъ? Кабы деньги-то! Нѣтъ, братецъ любезный, деньги онъ—въ Красноярскомъ уже или въ Челябѣ. А, покуда хлѣбъ у тебя въ скирдахъ, такъ онъ, хлѣбъ,—хлѣбъ и есть. Только хлѣбъ! Можетъ, деньги, а, можетъ, и навозъ. Вотъ кабы знать, что опять неурожай будетъ. Тогда—отчего не придержать? Вся выгода...

— Больно скоро богатѣть хотите вы всѣ, навозные.

— А зачѣмъ же сюда и ѣхали?

Для поворотниковъ учреждены какія-то суммы, за счетъ которыхъ имъ предоставляются даровые и льготные проѣзды обратно въ Россію. Когда суммы имѣются, льгота дѣйствуетъ; когда ассигновка использована, льгота прерывается до новыхъ суммъ. Не знаю, почему,—вѣроятно, именно вслѣдствіе этихъ періодическихъ перерывовъ, между переселенцами сложилось убѣжденіе, что на льготный возвратъ имѣютъ право только тѣ переселенцы, которые еще не прожили на новыхъ мѣстахъ полныхъ трехъ лѣтъ. И множество изъ нихъ усердно блюдетъ себя именно къ этому сроку.

— Отломаю три года и—аккуратъ въ послѣдній мѣсяцъ, стану проситься назадъ, чтобы везли даромъ.

— Ну-ка, баринъ добрый, посчитайте по мѣсяцамъ, много ли мнѣ еще остается до трехъ лѣтъ.

Россія тянетъ переселенцевъ, какъ магнитъ желѣзо: однихъ—больше, другихъ—меньше, но сколько-ни-

будь тянетъ всѣхъ. На унылой станціи, гдѣ мнѣ пришлось покинуть вагонъ по пріѣздѣ въ Восточную Сибирь, моею первою встрѣчею была переселенка: въ водогрѣйкѣ раздавала пассажирамъ кипятокъ изъ куба молодая русская женщина.

— Откуда будете?

— Самарская. Уже третій годъ здѣсь съ мужемъ.

— А супругъ вашъ—что же? Хозяйствуетъ?

— Нѣтъ, тоже при станціи состоитъ—служитъ вахтеромъ.

— Изъ солдатъ, стало быть?

— Унтеръ-офицеръ. Послѣ запаса мы ушли въ Сибирь... счастья искать'—иронически засмѣялась она.

— А не нашли?

Женщина презрительно завертѣла головою и закрутила губами.

— Какое тутъ счастье, баринъ? Сибирь!

— И въ Сибири люди живутъ.

— Какъ живутъ... Нѣтъ ужъ: сказано дѣдами, что Сибирь,—такъ она Сибирь и есть. Вотъ, доживемъ зиму, да и во-свояси. Ну ихъ къ ляду, и съ деньгами!

— Выгоду-то свою, значитъ, все-таки, получили?

— Это ужъ само собою разумѣется, что обязательно должны были выгоду имѣть. Еще бы,—въ такомъ каторжномъ краю живши, да и денегъ не сколотить? За что тогда принимать муку?

— Сколько вы здѣсь получаете?

— Мужъ двадцать рублей въ мѣсяцъ, да я—за то, что при кубѣ состою,—отъ станціи семь. Кромѣ того, я отъ публики наберу въ мѣсяцъ рублишекъ пять-шесть... все по семиточкамъ. Мужъ тоже разныя свои пользы имѣетъ... Всего рублей сорокъ, а то и всѣ сорокъ пять положить надо. Квартира казенная...

— Ого! Сорокъ рублей при даровой квартирѣ,—это въ Россіи иная чиновничья семья позавидуетъ.

Баба съ ожесточеніемъ отмахнулась отъ моихъ словъ, какъ отъ ереси.

— Богъ съ ними, съ сорока рублями! Что радости? Въ сундукъ-то ихъ складывать? На родинѣ,—знаю,—вдвоемъ дай Богъ пятнадцать получить, да хоть при своемъ мѣстѣ жить будемъ, а не въ этой дырѣ. Тутъ, баринъ, на Троицынъ день метель ходитъ: вотъ оно, какое радостное житье! Да! Сидимъ съ мужемъ за самоварчикомъ, родину вспоминаемъ, какъ теперь у насъ на селѣ березки ставятъ, а за окно—Господи Боже мой! и не взгляни, не видать бѣлаго свѣта,—пурга расходилась... Сибиряки надъ нами смѣются:—Какого вамъ чорта надо? чего блажите?—говорятъ. Устроились на мѣстѣ и благодарите Создателя. Гдѣ вамъ еще столько денегъ дадутъ? Сами того не стоите, сколько обираете... Оно и такъ, да, вѣдь, что же все деньги да деньги? Не въ рамку ихъ вставлять. Бываютъ такіе жадные, что имъ только и радости, чтобы набить деньгами шкатулку, но ежели у человѣка характеръ легкій, ему деньги тогда хороши, когда онъ съ ними можетъ пріятно жить между своими людьми, а такъ,—что они въ лежку лежатъ,—радости въ нихъ немного!.. Тутъ зимою—однѣ метели да погоды душу выдуютъ: всѣ уши, сударь, просвистало; мнѣ теперь, и въ тихую-то погоду, иной разъ мерещится: никакъ тайга гудетъ? Въ лѣтнее время скотинку держала бы, скотинкою бы забавлялась. Сами изволите знать: любимъ мы это, бабы, чтобы скотинка во дворѣ стояла... Такъ нѣтъ возможности: гнусъ ее одолѣваетъ, бѣжитъ она, какъ оголтѣлая, отъ гнуса въ тайгу, дичаетъ тамъ,—какая мнѣ въ ней радость? Совсѣмъ тутъ на этотъ счетъ хозяйство другое, не домашняя она здѣшняя скотинка... только на мясо! А ужъ отъ гнуса подлаго,—всѣмъ намъ смерть: все лѣто ходи въ сѣткѣ на мордѣ, на человѣка не похожа, а словно демонъ лѣсной, прости Господи. Сосѣди—чалдонье, россійскихъ не любятъ, только между своими якшаются, волками смотрятъ. По линіи

варначье шляется. Прошлымъ лѣтомъ два раза въ сторожку къ намъ ломились и коня зарѣзали... Такъ, подлецы, на рельсахъ тушу и бросили, только кожу сняли.. По ночамъ—и сна нѣтъ: только лежимъ, глаза въ потемки таращимъ, да по очереди вздрагиваемъ... Душа не на мѣстѣ: деньги-то, знаю, въ шкатулкѣ, да шкатулка-то гдѣ? Тутъ она, подъ кроватью, али уже выбралъ ее, покуда мы дремали, какой лихой человѣкъ? Мыши разбѣгаются, котъ съ печи спрыгнетъ, а чудится ужъ и невѣсть что... то и дѣло мы съ мужемъ другъ дружку будимъ, да свѣтъ зажигаемъ: не крадется ли кто съ топоромъ?.. Нѣтъ, довольно: это не житье,—маята одна! Будетъ! Оттерпѣли мы свою линію, взяли свой малый капиталецъ,—съ тѣмъ и на родину! Годовъ-то Господь Богъ каждому человѣку по счету отпускаетъ. Этакъ, за богачествомъ здѣшнимъ гоняясь, и не увидишь, какъ всѣ ихъ проживешь,—анъ, и къ смертному часу близко. На что и деньги, ежели съ ними,—одно дѣло,—какъ въ острогѣ сидѣть?

Впослѣдствіи я велъ десятки подобныхъ разговоровъ съ самыми разнообразными «навозными». Этотъ запомнился мнѣ рѣзче другихъ потому, что былъ первый и произвелъ особенно тяжелое впечатлѣніе на меня, какъ предисловіе къ жизни, въ которую я вступалъ.

Остающіеся на новыхъ мѣстахъ переселенцы немедленно проникаются тою страшною земельною жадностью, которую такъ хорошо изобразилъ въ одной изъ своихъ сказокъ Левъ Николаевичъ Толстой. Мужикъ на «пыхунѣ», весь—воплощенный захватъ. Переселенческимъ чиновникамъ въ Восточной Сибири очень много работы, потому что недоразумѣній, неурядицъ и кляузъ переселенцевъ съ переселенцами, переселенцевъ съ чалдонами, еще чаще чалдоновъ съ переселенцами и всѣхъ ихъ, по совокупности, съ инородцами, висящими между кочевымъ и осѣдлымъ бытомъ, и съ казною, которая въ Сибири, кажется, сама не знаетъ, что у нея тамъ есть, чего нѣтъ,—несутся на

города и начальническія резиденціи цѣлые смерчи... такіе же бурные и напористые, какъ тѣ мощные вѣтры, что навѣваютъ въ здѣшнія долины плодоносный красный лессъ. А эффектная это картина, когда летитъ лессъ! Бываетъ это, обыкновенно, въ очень сильныя бури. Когда я въ первый разъ видѣлъ это грандіозное явленіе, я думалъ, что небо рдѣетъ заревомъ огромнѣйшаго пожара,—тѣмъ болѣе, что, дѣйствительно, въ то же самое время вспыхнула и, подъ страшнымъ вѣтромъ, сгорѣла въ нѣсколько минутъ, верстахъ въ двѣнадцати отъ города, цѣлая татарская управа. Но вотъ зарево распространяется по всему горизонту. Вы видите, какъ оно ползетъ вверхъ по небосклону неровными, тяжелыми краями, пока не повиснетъ надъ вами, какъ кирпичная крыша. Душно скверно, тяжело. Всѣ предметы принимаютъ цвѣтъ грязнаго кирпича, свѣтъ дня—грозно-мертвенный, что-то покойницкое есть въ этой унылой тусклости... такъ, должно быть, глядятъ небо и солнце, когда бушуетъ «дикая охота», и валькиріи мчатъ съ полей битвы на коняхъ-вихряхъ свирѣпыхъ мертвецовъ. Въ полномъ блескѣ я наблюдалъ полетъ лесса только однажды—въ апрѣлѣ 1902 года.

Собственно говоря, перелетъ лесса, по внѣшней картинѣ,—именно тотъ самый тифонъ или самумъ, котораго въ Египтѣ чтили, какъ злого демона, и о которомъ мы, въ малыхъ лѣтахъ своихъ, зачитывались въ «Дѣтскомъ Мірѣ» грандіозныхъ описаній и засматривались картинокъ. Но самумъ убиваетъ почву, а перелетъ лесса ее воскрешаетъ. Тамъ, гдѣ осядетъ эта страшная красная туча, надо ждать урожаевъ сторицею.

Къ чему съ одинаковою непріязнью и, я думаю, что не преувеличу, сказавъ даже: съ ненавистью отнеслись равно и чалдоны, и переселенцы,—это къ вѣстямъ о предстоящемъ сибирскомъ дворянскомъ землевладѣніи. Въ антипатіи этой играютъ равную роль двѣ силы. Первая—опять-таки боязнь за землю,—столь дикая, если глядѣть на си-

бирскія шири со стороны, но столь естественная для меня теперь, когда я убѣдился, что и мужикъ-чалдонъ, и мужикъ-переселенецъ лучше понимаютъ свои мѣстныя благопріобрѣтенія и видятъ въ глубинѣ ихъ начало своего конца съ гораздо болѣе острою прозорливостью, чѣмъ петербургскіе кабинеты, вооруженные столбцами точнѣйшихъ и подробнѣйшихъ, но и завидно эластическихъ цифръ. Вторая сила — старая россійская подозрительность къ барину-собственнику, съ которымъ мужикъ не успѣлъ еще обжиться и помириться послѣ крѣпостного права.

Сибирякъ барина не зналъ никогда. Очень старые сибиряки даже слова этого не употребляютъ въ обиходномъ разговорѣ. Въ ихъ жаргонѣ «баринъ» значитъ спеціально «засѣдатель».

— Подъ кого коней ловишь?

— Однако, подъ «барина».

— Дурова голова, почто кобылъ арканишь? Нешто баринъ на кобылахъ поѣдетъ? Барину подавай мерсньевъ.

Къ слову сказать, странный обычай, что чиновники ѣздятъ по Сибири, почета для, исключительно на лошадяхъ мужескаго пола, соблюдается очень свято. Есть чиновные мудрецы, которые кобылу въ упряжкѣ считаютъ прямо чуть не личнымъ себѣ оскорбленіемъ. Въ М. мнѣ показывали крестьянскаго начальника, столь щепетильнаго на этотъ случай, что, выѣзжая въ уѣздъ на обывательскихъ, онъ обязательно подвергаетъ предварительному медицинскому осмотру коней, коимъ предстоитъ высокая честь везти его благородіе. Хорошо еще, что свидѣтельствуетъ самъ, а не чрезъ акушерку! *)

Сибирякъ барина не зналъ никогда, но онъ знаетъ легенду о крѣпостномъ баринѣ и относится къ его имени съ суевѣрнымъ предубѣжденіемъ.

— Мало намъ васъ, вошей! — со злостью дразнилъ

*) См. выше разсказъ „Щедринская сторонка“.

при мнѣ чалдонъ переселенца.—Еще господъ своихъ за собою ведете. .

А переселенцы тревожатся:

— Что жъ это будетъ? Изъ Россіи отъ господъ ушли, а они и сюда за нами. Куда же намъ теперича?

— Да, вѣдь, просторно: мѣста всѣмъ хватитъ.

— Просторно? У нашихъ дѣдовъ въ Россіи тоже просторно было. А мы—отъ простора-то дѣдовскаго—вотъ они гдѣ...

— Ужъ какой просторъ крестьянину, если господская усадьба подъ бокомъ! Сожмутъ...

— Въ Россіи тѣсно, и тутъ то же будетъ... Вотъ помяни мое слово..

Говорю съ мѣстною властью предержащею.

— Какъ вы смотрите на чаемое дворянское землевладѣніе?

— Буду просить о переводѣ въ другую часть Сибири, а,—не дадутъ перевода,—въ отставку подамъ.

— Вотъ тебѣ и разъ!

— Помилуйте, тутъ и отъ мужицкой-то усобицы голова кругомъ идетъ, а,—какъ понаѣдутъ благородные...

Почтенный администраторъ даже свистнулъ.

— Отъ однихъ нарушенныхъ паскотинъ съ ума сойдемъ... А потравы? А поджоги?.. Вы думаете, такъ имъ честью-миромъ и дадутъ на землю сѣсть?

— А вы блюдите. На то и поставлены.

Онъ посмотрѣлъ мнѣ въ глаза звѣремъ:

— Насмѣхаться изволите?

— Да, нѣтъ... что же... зачѣмъ?

— Затѣмъ,—завопилъ онъ въ негодованіи,—что у меня уѣздъ величиною въ четыре Бельгіи, и есть мѣстности, гдѣ отъ одной заимки до слѣдующей—по пятидесяти, по сту верстъ тайги!..

## IV.

# Лѣсное ужертвіе.

— Славный у васъ домикъ, Вавило Кузьмичъ!—говорилъ я минусинскому обывателю, купцу Потрохову, когда мы сидѣли съ нимъ и «звонили» за чаемъ. — Отличный! Прочно, солидно, на вѣкъ... Теперь уже больше такихъ не ставятъ!

Вавило Кузьмичъ любезно поблагодарилъ за доброе слово и выразилъ согласіе:

— Однако, да: нонече такъ не построиться: не изъ чего!

— Въ старину живали дѣды веселѣй своихъ внучатъ, а?

— Почему, однако, дѣды? — удивился Вавило Кузьмичъ.

— Да вѣдь домику-то, поди, лѣтъ сорокъ будетъ, а то и всѣ пятьдесятъ?

— Что вы! Богъ съ вами!—засмѣялся Вавило Кузьмичъ:—двадцати еще нѣтъ. Это я самъ съ братьями строился, не вотчину взялъ.

Я прикинулъ на глазъ и счетъ толстобревенный, мощный, богатырски кладенный, срубъ, такъ непохожій на обычную карточную стройку современной Восточной Сибири, и—зная своего собесѣдника за человѣка страшно скупого и къ удобствамъ житейскимъ ужъ куда невзыскательнаго,—немало подивился.

— Не пожалѣли вы тогда деньжонокъ, Вавило Кузьмичъ!

— Помилуйте,— возразилъ онъ,—какія деньги? Плотничьей артели не брали, своими руками ставили... насъ было семь братьевъ, фамилія огромаднѣйшая!..

— А матеріалъ? Такому лѣсу должна быть большая цѣна. Конечно двадцать лѣтъ — изрядный срокъ, но теперь бревенъ, вашимъ подобныхъ, уже нигдѣ и ни за какія деньги не найти... Я намедни ходилъ на Протоку (рукавъ Енисея), смотрѣлъ плоты: совсѣмъ не стало хорошаго лѣсу съ верховьевъ. Двойничина да слегка, кряжики самые слабые... За ваше бревно сейчасъ надо отдать большіе рубли.

Вавило Кузьмичъ отставилъ въ сторону стаканъ съ блюдечкомъ, вздохнулъ, отдулся и сказалъ:

— Мое бревно не съ верха.

— Не съ пиза же?—засмѣялся я.—Противъ теченія Енисей плотовъ какъ будто еще не поднимаетъ!

— Здѣшняя лѣсина, не привозная. Домъ мой срубленъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ.

Я широко открылъ глаза. И было чему изумиться: около Минусинска на девять верстъ окружности не найти ни одного тѣневого дерева, на двадцать— рощицы, способной дать хоть пятокъ саженей дровъ, а до строевого лѣса, то-есть до тайги за Означеннымъ, считается сто двадцать верстъ.

— Да, батюшка!—многозначительно подмигнувъ, сказалъ купецъ. — То-то вотъ и оно-то! Было лѣсное времячко, да прошло! Двадцать лѣтъ тому назадъ на площади, гдѣ теперь базаръ и Пашенныхъ вывелъ кирпичную домину съ зеркальными окнами, было отличное охотничье болото. Наша старая хибара стояла съ краю, и случалось мнѣ самому стрѣлять дикихъ утокъ изъ окна.

* *
*

А сейчасъ Минусинскъ — градъ, въ полномъ смыслѣ слова, построенный «на песцѣ». «Навозные» такъ безъ околичностей и величаютъ его:

— Песочница!

Зато сибиряки нѣжно зовутъ Минусинскъ «наша Минуса», сравниваютъ его съ Малороссіей, Швейцаріей и—хвалить, такъ ужъ хвалить!—даже съ Италіей. Средняя годовая температура въ Италіи этой, однако, всего +0,7°R., при чемъ зимою, недѣлями, стоятъ 40-градусные морозы. Чтобы уравновѣсить ихъ до благодатной средней + 0,7 въ короткое сѣверное лѣто, нужны свирѣпые іюньскіе жары, — о нихъ же повѣствовать я въ состояніи только энергическимъ стилемъ того оренбургскаго штабсъ-капитана, который, запрошенный графомъ Перовскимъ о климатическихъ условіяхъ края, оффиціальнымъ рапортомъ отвѣчалъ:

— Имѣю честь донести вашему сіятельству, что во ввѣренной мнѣ крѣпости никакого климата не усматривается, а имѣется одинъ непреодолимый зной, отъ коего солдаты моей команды, съ разрѣшенія начальства, и умираютъ на законномъ основаніи.

Лѣтомъ—сушь, пыль, смерчи съ каждымъ, даже самымъ слабымъ, вѣтромъ. Не лучше скучною, безснѣжною зимою: прямо передъ глазами — сѣрыя, остекленныя морозомъ улицы, сѣрые, голые холмы; почти непрерывно волнующійся воздухъ полонъ игольчатою мерзлою пылью, отъ которой нѣтъ спасенія. У меня въ домѣ, въ одной комнатѣ никогда не открывались ставни, и все-таки на полу и подоконникахъ всегда лежалъ толстый слой мельчайшаго, такъ сказать, фильтрованнаго песку, — идеальнаго, чтобы засыпать свѣжія рукописи, но совсѣмъ нежелательнаго для легкихъ. Минусинскъ—городъ вѣчнаго кашля, бронхитовъ, катарровъ, насморковъ. За годъ жизни въ немъ я ухудшилъ свое, и безъ того плохое, зрѣніе больше, чѣмъ за семнадцать лѣтъ кабинетной работы, да

*

еще пріобрѣлъ въ глазахъ болевыя ощущенія, о которыхъ ранѣе не имѣлъ понятія, и которыя врачъ объяснилъ именно механическимъ воздѣйствіемъ на глаза атмосферы, напитанной тончайшимъ пескомъ. Въ періоды сильныхъ вѣтровъ, — а вѣтряныхъ дней надо считать на здѣшнемъ плоскогорьѣ изъ тридцати дней въ мѣсяцѣ вѣрныхъ двадцать пять,—песокъ способенъ довести непривычнаго человѣка до бѣшенства, до отчаянія. Просыпаешься съ земляным вкусомъ во рту, съ цѣлымъ сугробомъ въ носоглоточной полости. Наслышавшись, что Минусинскъ— чуть ли не самая здоровая окраина Восточной Сибири, «Сибирская Италія», я былъ изумленъ на первыхъ порахъ старообразными лицами мѣстныхъ женщинъ: всѣ онѣ какія-то сѣрыя, увядшія, будто долго болѣвшія. Спросишь знакомаго:

— Ваша супруга была нездорова?

— Откуда вы взяли? Въ жизни еще не хворала.

Пріѣзжія петербурженки, на моихъ глазахъ, состарились въ Минусинскѣ за годъ на пять лѣтъ, и молодыя лица возвратитись къ нимъ только, когда онѣ перемѣнили минусинскую «песочницу» на влажный русскій климатъ. Это — кожа изнашивается въ старую тряпку отъ непрестаннаго пылевого тренія. Въ Минусинскѣ человѣкъ собственнымъ опытомъ познаетъ всю истинность меланхолической латинской пословицы:

Terra es,
Terram es,
Terram teris,
Terra eris
Et in terram reverteris!

И мало того, что terram teris, трешь землю, еще и земля тебя третъ, terra terit te ipsum!

Еще очень недавно минусинскій уѣздъ справедливо считался и назывался житницею Сибири. Остается онъ въ

этомъ лестномъ чинѣ и сейчасъ, но съ репутаціей, уже сильно пошатнувшейся. Недороды—слабый 1900 года, страшный 1901 года—отъ засухъ, и малыя запашки съ плохимъ обсѣмененіемъ въ урожайномъ 1902 году, нанесли тяжкіе удары обѣтованной землѣ сибирскаго хлѣбороба и открыли ему глаза на нерадостное будущее. Черноземъ-«пыхунъ» умираетъ, а пески растутъ; снѣга и влаги все меньше, а кратковременные лѣтніе знои все свирѣпѣе и острѣе; рѣки слабѣютъ; на Енисеѣ и Абаканѣ выростаютъ все новыя отмели и острова, дробящіе водныхъ гигантовъ на узенькія, неглубокія протоки. Деревни и заимки, когда-то рубленныя на крутизнахъ надъ Енисеемъ, Абаканомъ, Тубою, теперь остались торчать сиротами на своихъ каменныхъ, цвѣтными слоями чередующихъ породы, вышкахъ. Между обрывами стараго берега и нынѣшнею водою лежитъ на нѣсколько сотъ саженей, а то и до пяти-шести верстъ, песковъ и гальки. И нигдѣ ни деревца. Развѣ на островахъ, которые весь іюнь стоятъ подъ полою водою и выныриваютъ на Божій свѣтъ только въ іюлѣ, когда на Саянахъ сокращается таяніе снѣговъ, и рѣки идутъ на убыль.

* * *

Дико звучатъ въ русскомъ ухѣ слова — «вопросъ облѣсенія Восточной Сибири». А между тѣмъ, онъ уже существуетъ, назрѣваетъ. Эта непроглядная дубрава-Сибирь, шумящая въ нашемъ воображеніи буйнокосматыми лѣсами, въ дѣйствительности, во множествѣ лучшихъ окраинъ своихъ, уже плѣшива, какъ пророкъ Елисѣй. На сѣверъ отъ Минусинска къ Ачинску нѣтъ даже кустарника до самыхъ Черемуховыхъ горъ, гдѣ на перевалѣ сохранились еще, хотя плохенькіе и тощенькіе, перелѣски; настоящими же лѣсными порослями уже не ѣдешь нигдѣ, ни на четырехсотъ-верстной дорогѣ къ Ачинску, ни на пятисотъ-верстномъ зимнемъ пути въ берегахъ Енисея на Красноярскъ. То, что здѣсь по старой памяти слываетъ тайгою,

возбуждаетъ улыбку своимъ несоотвѣтствіемъ громкому имени: мы, россійскіе, «навозные», всѣ такъ привыкли, и по разсказамъ очевидцевъ и по литературѣ, соединять со словомъ «тайга» величественное представленіе дѣвственнаго бора, почти непроходимаго, со страшными стволищами, съ грознымъ медвѣжьимъ мракомъ внизу, подъ хвойными сводами, съ верхушками елей, стоячихъ—до облаковъ ходячихъ. Чтобы познакомиться съ такою тайгою, надо ѣхать двѣсти верстъ къ югу за Минусинскъ, на Кордонъ. Ближе—все лысина. Лысина и на западъ, лысина и на востокъ.

Сибирякъ—потомокъ скваттеровъ, пришедшихъ въ тайгу съ топоромъ въ рукахъ и ружьемъ за плечами,—наслѣдственный и естественный врагъ дерева. Если въ сибирской деревнѣ вы видите при хатѣ садочекъ съ рябиною, можете заранѣе и почти безошибочно угадать, что дворъ принадлежитъ новоселу или крестьянину изъ ссыльныхъ и, вѣроятнѣе всего, малороссу; природный сибирякъ деревомъ себѣ солнца не загородитъ. Ужъ очень много горя натерпѣлись отъ первобытной тайги предки, когда врубались въ нее медленно, шагъ за шагомъ, клали просѣки и тропы, дѣлали засѣки, ставили заимки, поднимали первыя десятины варварскаго подсѣчнаго хозяйства. У потомковъ старое горе это выродилось въ противо-таежный инстинктъ, безсознательно играющій при видѣ каждой, сколько-нибудь значительной, древесной поросли. Обѣднѣніе нѣкогда таежныхъ, теперь уже искусственно степныхъ, сибиряковъ топливомъ, конечно, еще больше обостряетъ похоти этого инстинкта и подстрекаетъ его къ разрушительнымъ подвигамъ...

Собственно говоря, нѣкоторое облѣсеніе минусинскаго края, при все еще чудотворной производительности почвы, довольно легкая задача. Но именно—только нѣкоторое облѣсеніе, не дѣйствительное, а декоративное. На одной заимкѣ, верстахъ въ трехъ выше города по протокѣ Ени-

сея, хозяинъ изъ россійскихъ полуинтеллигентовъ поднялъ по берегу въ два года богатѣйшую молодь разныхъ лиственныхъ породъ, которыя онъ, однако, ни сажалъ, ни сѣялъ, и весь секретъ его блестящаго успѣха заключался только въ томъ, что онъ огородилъ заповѣдное подъ рощу мѣстечко отъ бродячаго скота. Мощные саянскіе вѣтры несутъ на минусинискую степь тучи сѣмянъ изъ южной, верхне-енисейской тайги, но зародыши будущихъ лѣсовъ погибаютъ на солончакахъ, на галькѣ, уничтожаются въ распашкѣ, умираютъ отъ засухъ, а если иному отводу посчастливится подняться на мочежинкѣ, онъ обреченъ на съѣденіе скоту, который не сходитъ со степи во всѣ четыре времени года. Обсѣменяетъ вѣтеръ, обсѣменяютъ позднія половодья Енисея, но люди не хотятъ обсѣмененія, не помогаютъ ему, и даромъ пропадаютъ усилія, которыми стремится поддержать хирѣющій край сама природа.

Сибирскій степнякъ, если онъ даже отдѣлался отъ противотаежнаго инстинкта и уже сознаетъ опасность все расширяемаго оголенія почвы, очень скептически относится къ попыткамъ искусственнаго облѣсенія края.

— Что тутъ можетъ человѣкъ? Тайгу Богъ роститъ. Людямъ не выростить.

Энтузіастъ древонасажденія начинаетъ убѣждать скептика примѣрами успѣшныхъ облѣсеній въ Европѣ, въ южной Россіи. Скептикъ, знай, киваетъ головою:

— Слыхали, молъ!

— Не вѣрите? Я сейчасъ дамъ вамъ доказательства.

— Ни! Однако, вѣрю! Только, баринъ любезный, сказываютъ люди, будто тамотка древу надобно всего только двадцать, либо тридцать годовъ, чтобы уже придти въ свой возрастъ, а у насъ подавай ему пятьдесятъ, а, ежели мѣсто, грѣхомъ, выпадетъ подъ «холодами», то клади и всѣ сто.

— Такъ что же? значитъ, облѣсеніе лишь возьметъ большіе сроки... только и всего.

— Да, больно далеко этакъ загадывать! Ежели человѣкъ въ своемъ хозяйствѣ для себя старается,—оно такъ, стоитъ работы дѣло... ну, для дѣтей еще, однако, для внуковъ!.. А то на-ко-ся! на сто лѣтъ... Черезъ сто лѣтъ, можетъ быть, не то, что дерева въ тайгѣ, а и земли, нашей матери, не станетъ!..

— Куда ей дѣваться?

— А падутъ съ небеси сѣрные огни, займется, кормилица, съ четырехъ вѣтровъ, скатается въ огненный свитокъ... ау, баринъ! Только тебя и видѣли, Миронъ Петровъ!

— Авось, Богъ милостивъ?

— Да, вѣдь, что же милостивъ? На насъ и милости не напасешься... ужъ очень свиньями живемъ! По справедливости, давно бы пора разразить... такъ только, что снисхожденіе!

— Но это неправда, что дерево развивается съ такою медленностью... Вонъ, посмотри на тополя надъ рѣкою: пхъ такъ хлыстами и гонитъ вверхъ!

— Первыя два-три лѣта, а потомъ сразу и конецъ. Кои засохнутъ, кои въ ростѣ застрянутъ, начнутъ прибавляться по ногтю въ годъ. У насъ, баринъ, все такъ-то: шибко, да коротко! Потому что нашему древу только и жизни, покуда оно корня не углубитъ и съ «зимою» (льдомъ) не встрѣтится. Въ зиму корню рости,—однако, все равно, что въ камень. Стало быть, либо дерево корень свой зазнобитъ и пропасть должно; либо пойдетъ корень ползкомъ, поверхъ зимы, близко подъ землею,—тутъ старики его душить будутъ, потому что, самъ, понимашь, почва всѣхъ накормить не сможетъ... что силы ее сосетъ, понимашь?!..

Я вспомнилъ, какъ намедни, въ тридцатиградусную жару, сажая топольки подъ своими окнами, встрѣтилъ «зиму», то-есть ледъ, на трехъ четвертяхъ аршина въ землѣ, и не нашелъ возраженія, но энтузіастъ древонасажденія не спасовалъ.

— Постой, постой,—сказалъ онъ.---Послушать тебя, такъ въ Сибири хорошему дереву и возрасти нельзя, а между тѣмъ лучшій корабельный лѣсъ сплавляется до сихъ поръ, все-таки, именно изъ Сибири... Какъ же тайга-то развивается, милый человѣкъ? Сплошной мачтовикъ, да строевикъ. А климатическія условія тѣ же. И почва та же: тонкій почвенный слой, талый отъ мая до сентября, ниже—зима, а подъ зимою—непроницаемая горная порода.

— Богъ садитъ, а не человѣкъ,—упрямо стоялъ на своемъ степнякъ.—Что ты можешь? Надъ сколькими годами ты властенъ? Тайга тысячи годовъ растетъ! Да, можетъ, каждое дерево въ тайгѣ, прежде чѣмъ ему силу взять и свою бревнину выровнять, сотню другихъ деревъ убило?! А то и больше!.. Ты по тайгѣ хаживалъ ли? Колоды, валежникъ—какъ трупье громоздятся... валами! Словно курганы, либо татарскіе городки! Сто деревъ сгибло, одно хлыстъ надъ ними выгнало, королемъ возросло! Тысячами годовъ тайга росла,—оттого и велика, а кабы ей было роста сто лѣтъ, такъ тоже и взглянуть бы не на что!.. Таежное дерево, другъ любезный, все равно, какъ въ старину солдаты выходили: девять забей, десятаго выучи!.. А такъ, ежели дѣло начавшись отъ человѣкъ, не божескимъ промышленіемъ,—гляди: вонъ—было время, когда и Бараба слыла березовою степью! Вычистить ее отъ древа не долгіе сроки понадобились, а нонѣ тамъ, кромѣ кизяка, и топлива нѣтъ. Тоже старательствуютъ тамотка, насаждаютъ,—да, нѣтъ: какъ пробрили плѣшь, такъ она и осталась! И законъ лѣсохранительный дѣйствуетъ, и все... Нѣтъ, у насъ въ Сибири по бритому не растетъ!

Быть можетъ, мелкостью ползучаго, поверхностно забирающаго землю, корня надо объяснить ту сравнительную нестойкость, шаткость сибирскаго дерева, которая порождаетъ знаменитое грозное «качаніе» тайги и которой удивляются переселенцы. Когда ураганъ налетаетъ на тайгу, въ ней начинается адъ кромѣшный.

— Застала насъ, баринъ милый,—разсказывалъ мнѣ мой кучеръ, изъ «курянъ, вѣдомыхъ кметовъ»,—застала насъ въ тайгѣ страшенная буря.. И извольте видѣть оказію: вѣтеръ, хотя и сиверкій, одначе не такъ, чтобы уже оченно крѣпкій, а древа мычетъ туда-сюда хлыстами, ровно лозы, —такъ и гнетъ въ полъ-роста! . Нѣтъ-нѣтъ, да и загрохотитъ по тайгѣ: это, стало быть, которую-нибудь стволину съ корнемъ выворотило, либо переломило пополамъ «ослѣдь», а бревнина падаетъ и сосѣдей крушитъ... Одну махину,—вотъ какъ васъ передъ собою вижу,—въ двухъ саженяхъ свалило, не дальше. Потомъ я нарочно ходилъ смотрѣть. что она молодого лѣса накосила... бугоръ великій всталъ! У насъ такъ никогда не бываетъ: въ Россеѣ древо на кореню крѣпко, а здѣсь оно стволомъ превосходитъ, а корнемъ слабо держитъ... Никогда въ Россеѣ такихъ буреломовъ не видано: ровно по тайгѣ не гроза, а самъ лѣсовой ходитъ!

* * *

Теперь начинаютъ усердно пропагандировать теорію скораго превращенія восточной, вѣрнѣе, южной Сибири изъ края земледѣльческаго въ промышленный, толкуютъ о фабричной эксплоатаціи колоссальныхъ природныхъ богатствъ, сулятъ эпоху неистощимыхъ новыхъ выгодъ и широчайшихъ предпріятій.

— Да, это все прекрасно и вѣрно разсчитано,—говорилъ мнѣ, по дорогѣ изъ Сибири, молодой, образованный, влюбленный въ юную окраину, техникъ.—Только надобно обезпечить край каменнымъ углемъ и нефтью.

— А лѣса?

— А Уралъ? —переспросилъ онъ меня.—Развѣ Россіи не довольно уже одного округа, переживающаго вѣчный промышленный кризисъ, потому что онъ съѣлъ все свое топливо и долженъ теперь бѣгать за нимъ въ Донецкій округъ, словно въ «Войнѣ и Мирѣ» солдатъ—къ чужому костру за огонькомъ? А Уралъ и климатическими условіями,

и сравнительною вѣковою упорядоченностью добычъ поставленъ въ этомъ отношеніи гораздо выгоднѣе Сибири!.. Вы посмотрите, какъ крушитъ сибирскую тайгу желѣзная дорога! Абаканскій заводъ еще не принесъ краю пользы даже на ломаный грошъ, а таежныхъ палестинъ опустошилъ—въ два ста лѣтъ имъ не воскреснуть! Это можно принять за правило: если вы въ Сибири поставите фабрику или заводъ въ дремучей тайгѣ, то, десять лѣтъ спустя, фабрика ваша окажется среди безплодной степи, и развѣ гдѣ-нибудь далеко на горизонтѣ останется синѣть лѣсная окоемка. Ничего не подѣлаешь! Съ однимъ древеснымъ топливомъ развивать промышленность нельзя, какъ ни огромны представляются на первый взглядъ его запасы: заводы и фабрики жрутъ лѣса гораздо скорѣе, чѣмъ природа въ состояніи ихъ возстановлять! При томъ эти чудовищные здѣшніе пожары...

Однажды мой добрый знакомый, одинъ изъ сибирскихъ лѣсныхъ ревизоровъ, задумался, среди разговора со мною о поѣздкѣ въ уѣздъ, изъ которой онъ только-что возвратился.

— Что вы?

— А вотъ погодите: я подсчитываю, сколько убытка принесъ казнѣ пожаръ, при которомъ я вчера присутствовалъ, если принять стоимость погибшаго лѣсного матеріала по цѣнамъ петербургской или архангельской биржи.

— Много выходитъ?

— Около двухъ съ половиною милліоновъ рублей!

— Ого! Министерство придетъ въ ужасъ!

— Нѣтъ!—возразилъ онъ.—Это былъ маленькій пожаръ, его убытокъ—во-первыхъ, не будетъ исчисляться по торговымъ цѣнамъ: вѣдь это мое личное досужее дилетантство производить расцѣнки не существующаго уже товара въ условномъ періодѣ, съ сослагательнымъ наклоненіемъ... «Если бы да кабы росли во рту грибы!..» А, во-вторыхъ, онъ даже и не помянется отдѣльно, войдетъ

въ графу мелкихъ пожаровъ, исчисляемыхъ по совокупности десятками.

— Что же вы называете большимъ пожаромъ?

— Мы обязаны увѣдомлять министерство, когда огонь уничтожилъ уже болѣе пятисотъ десятинъ лѣса.

— И часто приходится телеграфировать?

Ревизоръ только рукой махнулъ.

— А, скажите,—сталъ спрашивать я,—какія мѣры принимаются противъ этого бѣдствія?

— Вы видали лѣсные пожары?

— Только изъ окна вагона, хотя и огромные.

— Что вы называете огромными?

— Однажды, въ Финляндіи, я ѣхалъ сквозь огонь и дымъ верстъ восемь...

— Пламя шло глубокою полосою?

— Ну, ужъ не могу вамъ сказать.

Ревизоръ улыбнулся и отвѣчалъ:

— По нашимъ понятіямъ это—пожаръ-карликъ. Мнѣ случалось проѣзжать дымящіяся таежныя пожарища въ десять, пятнадцать, двадцать пять, до сорока верстъ длины прежде, чѣмъ я достигалъ самаго пожара,—то есть, дальше шла завѣса дыма и огня, сквозь которую проникнуть уже становилось невозможно, и—насколько глубоко она еще горитъ, и долго ли будетъ горѣть—одинъ Аллахъ о томъ знаетъ. Что же тутъ могутъ сдѣлать человѣческія силы? Да и откуда взять ихъ, человѣческихъ силъ? Крестьяне, обитающіе ближе пятнадцати верстъ до мѣста пожара, обязаны натуральною повинностью являться на помощь безплатно. Послѣдствія столь поощрительной повинности таковы: лѣсной пожаръ въ казенной дачѣ — для таежной деревни, расположенной ближе пятнадцати верстъ, сигналъ къ тому, что изъ поселка, какъ говорилъ какой-то нѣмецъ, «все удирается»... Помилуйте! Кому въ охоту, чтобы его, ни за что, ни про что, оторвали отъ собственныхъ дѣлъ къ повинности на казну, при томъ совершенно безплодной?

Поставятъ,—быть можетъ, на нѣсколько сутокъ, толочь воду въ ступѣ, не платя за то ни копѣйки! При разстояніи свыше пятнадцати верстъ, крестьяне получаютъ плату, но она ничтожна... жалкая поденщина! На двадцати пяти верстахъ кончается и платная повинность: изъ мѣстностей болѣе отдаленныхъ сбивать народъ лѣсное вѣдомство не имѣетъ права; открывается, стало быть, область добровольнаго соглашенія по свободному найму, но для него мы не получаемъ суммъ, и не имѣетъ точныхъ полномочій... Если сгоритъ лѣса хоть на десять милліоновъ, никто въ томъ не отвѣтственъ, кромѣ Николая Чудотворца,—зачѣмъ не заступился... Но если я, желая спасти изъ этихъ, растущихъ на корню, десяти милліоновъ хоть три или четыре, перерасходую двѣ тысячи рублей, меня запросятъ оффиціально, по какому праву, и произведутъ дознаніе, не положилъ ли эти двѣ тысячи въ свой собственный карманъ.

Пожаръ тайги прекращается, какъ всѣ лѣсные пожары: когда нечему больше горѣть, когда пламя, оставивъ за собою головешку, уперлось въ негорючее пространство—въ широкую луговину, глубокую балку, въ озеро, болото, рѣку. Рытье канавъ, рубка перелѣсковъ и тому подобныя предохранительныя мѣры, въ обходъ огня, практикуемыя при скромныхъ пожарахъ въ русскихъ лѣсахъ, не имѣютъ никакого смысла въ вѣковой сибирской тяйгѣ, которую надо брать приступомъ, какъ крѣпость. Какъ можетъ обогнать работу огненной стихіи человѣческій трудъ—предъ стѣною стволовъ-исполиновъ, заплетенною кустарникомъ, хмелемъ, баррикадированною трухлявыми холмами валежника, въ которые часто по уши проваливается человѣкъ, въ которыхъ обычно кончаетъ житейскую карьеру свою, со сломанною ногою, даже привычная и осторожная таежная лошадь? Предъ лабиринтомъ съ невѣрными полузвѣриными тропами, по которымъ самый опытный бродяга не уходитъ больше 25 ти верстъ въ сутки? Да куда на помощь вести крестьянскую толпу въ обходъ горящей

площади длиною въ двадцать пять верстъ? Можетъ быть, чтобы очутиться въ подвѣтренномъ тылу пламени, надо сломать стоверстную путину,—а, сломавъ ее, пришлось бы, очень вѣроятно, убѣдиться, что ломали ни къ чему: пожаръ тѣмъ временемъ повернуло вѣтромъ, и онъ побѣжалъ совсѣмъ въ другомъ направленіи, и, чтобы вновь опередить его, надо шагать опять верстъ тридцать пять!

Случаются въ тайгѣ колоссальные пожары-невидимки, до которыхъ человѣкъ не доходитъ, и возвѣщаетъ о нихъ далекому наблюдателю туча дыма на горизонтѣ, а близкому—удушливая гарь, наплывающая въ знойный воздухъ. Это значитъ, что гдѣ-то, вдали отъ человѣчьихъ тропъ и просѣкъ, запалила тайгу молнія и заронилъ въ сушь искру случайный костеръ варнака, но огонь, опустошивъ, можетъ быть, сотни десятинъ, потерялъ пищу и остановился самъ собою, не успѣвъ доползти къ району человѣческаго общенія съ тайгой. Убытки подобныхъ подспудныхъ бѣдствій, конечно, не поддаются никакому подсчету, и взыскивать за нихъ не съ кого, кромѣ опять-таки Николая Чудотворца.

* * *

Помимо случайныхъ причинъ, поражающихъ тайгу пожарами: молніи, неосторожныхъ костровъ, поджоговъ бродягами, охочими, когда бѣгутъ отъ погони, пускать на преслѣдователей огонь по вѣтру,—существуютъ причины постоянныя.

— Въ горахъ фирмановъ не читаютъ, - говоритъ хвастливая, но справедливая албанская пословица.

Такъ и тайгѣ не писаны лѣсоохранительные законы. Подсѣчное хозяйство, расчищающее пожарами («палами») поля подъ пашню прямо по пеплу, работаетъ въ тайгѣ въ полной силѣ. Пусть противъ этого зла, которое въ то же время, по страннымъ мѣстнымъ условіямъ, есть и добро, власти даже успѣли бы бороться въ доступныхъ правительственному надзору дачахъ и округахъ. Но въ лѣсномъ

морѣ тайги до сихъ поръ нѣтъ-нѣтъ, да и откроется вдругъ новый островокъ тайнаго, вольнаго поселка, который какъ хочетъ, такъ и хозяйничаетъ въ своей недосягаемой глуши. Одинъ изъ такихъ поселковъ, даже не сектантскій, а просто пріютившій нѣсколько семей, пожелавшихъ жить въ переселеніи «на всю свою волю», былъ обнаруженъ именно огромнымъ пожаромъ, обнажившимъ его просѣки.

Тайга—дремучая, стихійная мощь, и топоръ дровосѣка покуда безсиленъ надъ нею: онъ властенъ подбирать только, такъ сказать, крохи, падающія изъ ея богатыхъ кладовыхъ и потомъ сплавляемыя на плотахъ изъ міра звѣринаго въ міръ человѣчій по стремнинамъ Енисея. Когда человѣкъ врѣзаетъ въ грудь тайги просѣки, дороги, тропы, расчищаетъ и отбиваетъ у нея плодородныя площади для посѣва, онъ зоветъ въ союзники огонь, а не желѣзо. Иные знатоки тайги хвастаютъ, будто, соображаясь съ вѣтромъ, они могутъ пустить «палъ» въ желаемомъ направленіи чуть не съ геометрическою точностью. Не знаю, какъ это удается въ тайгѣ, но городскіе восточносибирскіе поджигатели работаютъ на этотъ счетъ безупречно. Хоть въ учебникъ помѣстить было столь правильный равнобедренный треугольникъ, какъ усадебное пожарище моего минусинскаго сосѣда: давно посуленный поджогъ уничтожилъ его владѣніе до тла, но вѣтеръ и тяга были разсчитаны такъ тонко, что огонь не могъ повредить ни одному чужому дому.

Горятъ лѣса и отъ неосторожныхъ степныхъ «паловъ» въ подтаежныхъ мѣстностяхъ. Обычай выжигать старую траву и солому на корню держится въ краѣ крѣпко. Теперь онъ получилъ ударъ отъ недородовъ: до 1901 года чалдонъ презиралъ хлѣбную солому, и минусинскія темныя ночи широко и картинно иллюминовались заревомъ и гигантскими факелами соломенныхъ паловъ, безчисленно загоравшихся по степи. Но въ тяжкій недородный годъ, когда люди остались безъ хлѣба, а животныя безъ кормовъ,

и крестьянство лишилось двухъ третей своего скота, минусинскіе хлѣборобы, обжегшись на молокѣ, научились дуть на воду.

— Сами виноваты,—говорилъ мнѣ не одинъ чалдонъ.—Кабы не сожгли по старому обычаю соломы, скотъ перетерпѣлъ бы зимовку до новыхъ травъ. Новоселы изъ Россіи, хотя вообще довольно дуровы головы, а въ этомъ развѣ оказали себя умнѣе насъ.

Переселенческому уму въ данномъ случаѣ, конечно, не позавидуешь: этотъ «умъ»—просто опытъ жестокой, привычной нищеты. Попавъ въ богатыя долины Енисея, витебскій или орловскій мужикъ долго не можетъ нравственно отрѣшиться отъ экономической пришибленности, въ которой онъ возросъ. Ему дико: какъ брезговать такимъ сокровищемъ, какъ солома? Это чалдонье зажирѣвшее швыряется добромъ: «слопало Бога во щахъ съ убоиной, такъ и зазналось, что въ сапогахъ ходитъ!.. А мы, новоселы, россійскіе, лапотники!»... И вотъ, какъ говорится, на грѣхъ и изъ палки выстрѣлишь: насмѣшкою судьбы случилась такая, небывалая въ краю, «россійская» голодная зима, что дырявое лапотное счастье новоселовъ побѣдило гордое счастье чалдонское, и солома выручила привычныхъ къ ней бѣдняковъ...

— Паловъ много, гнуса нѣтъ!—оправдываютъ чалдоны и инородцы свое пристрастіе пускать весною по степи краснаго пѣтуха.

«Гнусъ», то есть комариная сила, дѣйствительно, бичъ здѣшняго лѣта. Милліарды личинокъ сплавляетъ тайга въ іюньскомъ половодьи мощныхъ рѣкъ своихъ, и начинается погибель человѣковъ и бѣснованіе скота!.. Я зналъ людей, которыхъ комариная язвительность подвигала на акты противодѣйствія, совершенно фантастическіе,—въ родѣ того, что раскладывался, напримѣръ, костеръ на террасѣ, а сомнительное благоразуміе этой отчаянной мѣры обличалось уже тогда, когда домъ пылалъ, какъ свѣча. Другая извѣст-

ная мнѣ заимка сгорѣла отъ того, что конюхъ, не зная, какъ спасти отъ «гнуса» совершенно замученную старую лошадь, разложилъ маленькій костеръ у нея подъ брюхомъ. Комары лошадь кусать перестали, но сперва отъ конюшни, потомъ отъ всей заимки остались одни воспоминанія. Кто незнакомъ съ злобнымъ сыномъ тайги, енисейскимъ гнусомъ, тотъ, пожалуй, не повѣритъ этимъ анекдотамъ; кто знакомъ, не только повѣритъ, но еще и надбавитъ на нихъ лишку.

Если принять поясъ желѣзной дороги за центральную линію великой сибирской окраины, то къ югу отъ нея въ районѣ Маріинска-Красноярска тайга оттѣснена на семьсотъ верстъ, при чемъ большую часть лѣсныхъ опустошеній надо отнести на послѣднее десятилѣтіе. Что тайга уступаетъ культурѣ, хотя бы и очень жалкой, это хорошо. Что край быстро и неуклонно оголяется, со всѣми плачевными послѣдствіями обезлѣсенія, чрезвычайно опасно и худо. И тѣмъ хуже, что — правы о своей окраинѣ чалдоны:

— Въ Сибири по бритому не растетъ!

---

V.

# Загадки.

Въ 1902 году усердно летала по газетамъ не совсѣмъ утка—скорѣе «проба пера» съ гешефтмахерскими цѣлями и съ иллюзіей маленькой правды на днѣ,—будто французы или американцы какіе-то получили или получаютъ концессію на постройку второго великаго пути черезъ Сибирь, двухрельсоваго, который пройдетъ гораздо сѣвернѣе нынѣ дѣйствующаго, прорѣзавъ тундры, горы, «разливы рѣкъ, подобные морямъ», тайгу и урманы. Не знаю, какъ извѣстіе было принято въ Россіи. Говорятъ, нашлись даже газеты, которыя идею французовъ или американцевъ серьезно поддерживали. Въ Сибири отнеслись къ затѣѣ съ веселымъ удивленіемъ:

— Зачѣмъ?!

Я не былъ на сѣверѣ Сибири, но зналъ многихъ промышленниковъ и ссыльнопоселенцевъ изъ «Якутки», какъ «ласкательно» слывутъ у невольныхъ сибирскихъ жителей грозные районы нижняго теченія Лены и Енисея. Одинъ изъ первыхъ, крупный промысловый хозяинъ, разсказывалъ:

— Оставилъ я въ становищѣ, въ устьѣ Енисея, на пробу артель на зимовку. Бѣгу къ нимъ по веснѣ, съ пароходомъ;—опозднился малость, задержался въ Енисейскѣ,—кошки скребутъ на сердцѣ. Выходитъ по моему разсчету,

что уже давно у моихъ ребятъ хлѣбъ весь вышелъ:—какъ-то они тамъ живы, питаются? Народъ непривычный! Боюсь цынгу застать, тифъ голодный... Подошли мы къ становищу, стали въ заводи, сажусь на лодку плыть на берегъ,—крещусь: Мать Пресвятая Богородица, не погуби, помилуй!.. А они, обломы мои любезные, встрѣчаютъ меня,—какъ ни въ чемъ не бывало: красномордые всѣ, веселые... Ахъ, дьяволы! Да чѣмъ же вы живы? А вотъ... И подаютъ они мнѣ, братецъ мой, стаканъ питья нѣкоего: чистое,—насквозь видать, какъ слезинка... Попробовалъ: вкусно, мясляно, чѣмъ-то пахнетъ, на что-то похоже: а что—не пойму. На семгу какъ-будто смахиваетъ...—Да неужели жиръ?.. Кетовый, изъ рыбы кеты... Очень я подивился! У меня племянникъ больной, малокровіемъ острымъ страдаетъ и было ему велѣно докторами пить рыбій жиръ,—такъ онъ отъ такого лекарства прекраснаго не столь исцѣлѣлъ, сколь съ круга спился, потому что—съ души воротитъ, если эту пакость не залить коньякомъ. Въ томъ правилѣ онъ, бывало, и дѣйствовалъ: ложку жиру да стаканчикъ коньяку... ложку жиру да стаканчикъ коньяку:—къ вечеру-то, обыкновенно, такъ густо вылѣчится, что, глядь, отъ большого здоровья уже и мамы не выговариваетъ... А тутъ рыбій жиръ—какъ лучшее питье, безъ закуски! Даже позавидовалъ я моимъ трудничкамъ, ей-Богу,—и поплылъ себѣ назадъ восвояси уже съ покойнымъ духомъ...

— Хлѣба-то, небось, послѣ открытія такой благодати, еще меньше имъ оставили?

— Да, чудакъ-человѣкъ! На что имъ хлѣба, ежели кетою сыты? Да! вотъ каковы дары природы! А говорятъ, что на сибирскомъ сѣверѣ человѣку жить нельзя!

Промышленникъ забывалъ въ своемъ побѣдоносномъ анекдотѣ разсказать, что въ возвратный путь онъ долженъ былъ захватить съ собою съ становища двухъ работниковъ сумасшедшихъ и нѣсколько полуослѣпшихъ, и что, въ числѣ умершихъ, были самоубійцы отъ лютой тоски поляр-

*

наго зимовья, а изъ живыхъ двѣ трети требовали себѣ смѣны, не соглашаясь на новый срокъ ни за какую плату. Эти секреты разоблачили спутники и подручные промыслового хозяина, и, хотя рыбы и кеты и живительныхъ чудодѣйствій ея они тоже не отрицали, пѣсни ихъ были совсѣмъ другія пѣсни.

— А говорили, что на нижнемъ Енисеѣ человѣку жить нельзя!—восклицалъ хозяинъ.

— Развѣ въ нижнемъ Енисеѣ жизнь? Хуже смерти!—восклицали работники.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, я узналъ, что французы или американцы, собиравшіеся осчастливить сѣверный поясъ Сибири желѣзною дорогою,—не миѳичны. Они были въ Петербургѣ, метались, хлопотали, агитировали, сновали по редакціямъ и, бія себя въ перси кулаками, сулили сѣверной Сибири великую будущность.

— Monsieur!— восклицали они въ одной редакціи, патетически простирая длани къ окнамъ.—Monsieur, взгляните на дивный дворецъ, расположенный противъ вашего дома... Клянемся, что, когда пройдетъ наша дорога, такими дворцами покроется вся Сибирь!!!

Хозяинъ выслушалъ и потупился, кусая губы отъ смѣха: напротивъ былъ домъ предварительваго заключенія...

Мнѣ хочется подѣлиться съ читателями кое-какими свѣдѣніями, которыя я имѣю изъ первыхъ рукъ, объ этихъ двусмысленныхъ мѣстахъ таинственныхъ сокровищъ,—поскольку они жизнеспособны и годятся къ созиданію въ нихъ франко-американскихъ дворцовъ, хотя бы и въ цѣляхъ лишь предварительнаго заключенія.

* * *

— Тятіи ми юсьтіе?—Ми—ниснетоимстій паёдъ!

Это—фонографически воспроизведенная фраза изъ говора крестьянъ нижнеколымскихъ, въ бассейнѣ Лены, и должна она обозначать:

— Какіе мы русскіе? Мы—нижнеколымскій народъ.

Грубый и мощный, какъ удары топора въ вѣковую сосну, языкъ старыхъ посельщиковъ, языкъ стрѣльцовъ, казаковъ и раскольниковъ, громовый языкъ протопопа Аввакума, языкъ, восхваляющій себя «самогуднымъ», выродился у «ниснетоимстьго наёда» въ птичій свистъ. Объясняются имъ люди пяти футовъ роста и менѣе, между которыми человѣкъ, способный поднять пять пудовъ вѣса почитается чуть не сказочнымъ богатыремъ. На пришельцевъ изъ Россіи, совсѣмъ не крупныхъ у себя на родинѣ, они смотрятъ со страхомъ, какъ на чудовищныхъ великановъ иного невѣдомаго, грознаго племени:

— Татіи, бають, внасъ бии стаи стаити! (Такіе, бають, у насъ были старые старики!).

Якутъ, по отношенію къ этимъ жалкимъ выродкамъ,— представитель едва-ли уже не высшей породы, а чукча— несомнѣнно: онъ сильнѣе физически, дикій умъ его остръе, въ немъ живъ гордый, свободолюбивый духъ, внушившій столько прекрасныхъ картинъ извѣстному Тану,—это сильный тюркскій народъ, съ развитою психическою жизнью, не лишенный великодушія и человѣколюбія, хотя спиртолюбія въ немъ, къ сожалѣнію, еще больше. «Ниснетоимстій наёдъ»—по собственному сознанію и наблюденію людей, имѣвшихъ съ нимъ непосредственныя сношенія,—совершенная мразь и тѣломъ, и духомъ. Русскими они, какъ только-что сказано, уже себя не считаютъ. Слово «русскій» въ краю обозначаетъ уголовнаго преступника, ссыльнаго человѣка и, переносно, опаснаго буяна. «Русскимъ» пугаютъ дѣтей. Слово «преступникъ» обозначаетъ спеціально-политическаго ссыльнаго и, переносно же, всякаго хорошо грамотнаго и образованнаго человѣка, если онъ не купецъ. Я видѣлъ письма изъ этого края, начинавшіяся дикимъ на нашъ слухъ, но тамъ наивно употребляемымъ bona fide, обращеніемъ: Многоуважаемый господинъ преступникъ! Не примете ли вы участіе въ подпискѣ, устраиваемой въ пользу бѣднаго семейства и т. д.

Сколько поколѣній нужно было, чтобы вывести столь троглодитную расу славянотюркскихъ недоростковъ? Увы! всего два-три: это—внуки, иногда правнуки русскихъ изъ Россіи пли,—при чемъ скорость вырожденія еще удивительнѣе,—мошныхъ средне сибирскихъ чалдоновъ! О какомъ бы то ни было культурномъ воздѣйствіи ихъ на край нечего и говорить: они—такъ же темны, какъ окружающіе ихъ дикари.

Этотъ «ниснетоимстій наѣдъ» неизмѣнно припоминается мнѣ, когда я слышу чьи-либо сладкорѣчивыя рацеи о великой будущей цивилизаціи Сибири. Я того мнѣнія, что Сибирь, проглотившая безъ остатка уже много цивилизацій, которыхъ и исторія-то даже забылась, проглотитъ и еще ихъ нѣсколько, а сама врядъ ли цивилизуется и колонизируется, если Богъ какимъ-либо переворотомъ или люди плотиною на Татарскомъ проливѣ не смягчатъ ея климата.

Неоднократно уже развивалъ я съ подробностью мысль, какъ преувеличены колонизаціонныя надежды даже для лучшихъ и богатѣйшихъ уголковъ этого края-колосса, и съ какимъ льстивымъ ослѣпленіемъ мы принимаемъ временные и зыбкіе успѣхи «ермачества», обогащеніе нѣсколькихъ немноголюдныхъ поколѣній-рвачей за успѣхи вѣчной и твердой колонизаціи, а богатыя хищническія взятки съ дѣвственной природы за задатокъ будущаго богатаго народнаго хозяйства. Что же касается милыхъ палестинъ въ родѣ колымскаго и ему подобныхъ краевъ, мнѣ кажется, что для колонизаціи ихъ имѣется лишь одинъ раціональный проектъ—дѣйствительно, американскаго происхожденія, потому что онъ сочиненъ Маркомъ Твэномъ. Въ одномъ его романѣ герой-спиритъ предполагаетъ купить у русскаго правительства сѣверную Сибирь, чтобы создать въ ней государство, населенное... матеріализованными покойниками, которые-де, не нуждаясь въ пищѣ и одеждѣ, заживутъ въ сибирскихъ условіяхъ людямъ полезно, себѣ пріятно, словомъ, припѣваючи. Проектъ

высоко практичный, а, при всемірно извѣстномъ медіумическомъ искусствѣ сибирскихъ шамановъ, даже и легко исполнимый.

Сибирь—страна глубокихъ экономическихъ загадокъ, имѣющихъ главнымъ корнемъ общій суровый недостатокъ края, размѣрами своими скорѣе заслуживающаго названія шестой части свѣта: въ Сибири по бритому не растетъ! На этой почвѣ, очень удобной для сохраненія мертвыхъ мамонтовъ, живое сохраняется лишь страшною, сверхсильною борьбою за свое существованіе, да и то съ грѣхомъ пополамъ, и вѣчно на полъ-пути къ вымиранію и истощенію, и однажды истощенная природа возрождается съ ужасающею медленностью. Вырубленная тайга превращается въ степь, почти не поддающуюся облѣсенію. Звѣровой промыселъ гдѣ вымеръ вовсе, гдѣ вымираетъ: изъ пушныхъ товаровъ многіе обратились въ миѳы давнихъ временъ: нынѣ они достояніе музеевъ, а не торговли. За хорошаго медвѣдя въ Енисейскѣ платятъ 75 рублей. Массовыя переселенія бѣлки—еще въ памяти у сибирскихъ старожиловъ: въ 1859 г., напр., бѣлки ринулись милліонами на западъ, черезъ Енисей; городъ Красноярскъ оказался на ихъ пути, онѣ бѣжали по улицамъ, прыгали по крышамъ домовъ, падали въ печныя трубы. Сложилась даже легенда народная, будто лѣшій сибирскій проигралъ всю свою бѣлку въ карты лѣшему пермскому,—потому проигранный звѣрь и повалилъ тучами за Уралъ. Въ 1902 г. въ Минусинскѣ я платилъ за бѣличью шкуру 25 копѣекъ, за живую бѣлку—50 коп., а то и рубль! Горностай стоялъ въ цѣнѣ по 1 р. 25 к.! Не такъ давно соболя били палками у погребовъ, а теперь за порядочнаго соболя надо отдать рублей сорокъ; живой же соболь, излюбленная домашняя игрушка стариннаго сибиряка, сталъ рѣдкостью, о которой слухи идутъ за сто, за двѣсти верстъ: Иванъ, молъ, Черныхъ живого соболя на цѣпочкѣ держитъ!.. Достаточно было пройти желѣзной дорогѣ, чтобы сибирскій обыватель, на

пятьсотъ верстъ по обѣ стороны полотна, остался безъ главнаго своего кормильца-рябчика. Москва и Петербургъ вытягиваютъ дичь изъ тайги до-чиста, а идетъ она въ тайгѣ отъ года къ году не на прибыль, но на убыль. Минусинскій базаръ торгуетъ на мѣстную нужду почти исключительно бракованнымъ рябчикомъ, то есть сильно разстрѣляннымъ и потому ненадежнымъ въ дорогу,—хорошій рябчикъ не находитъ потребителя, такъ какъ—не по карману: сорокъ копѣекъ пара. Петербуржцы, конечно, улыбнутся на такую дороговизну, но не забывайте, что вѣдь это—въ краю, гдѣ еще недавно почитали грѣхомъ брать деньги за дичь, какъ за хлѣбъ, и, если вы хотѣли отблагодарить охотника, то дарили его порохомъ и свинцомъ: деньги онъ принялъ бы за оскорбленіе. Дешево въ современной Сибири только то, чего еще не потребовали отъ нея для себя Россія, Европа, Америка. Что понадобилось, сейчасъ же бѣшено растетъ въ цѣнѣ и быстро исчезаетъ изъ мѣстнаго обывательскаго обихода. Стоило въ степи появиться датскимъ маслобоямъ, чтобы по деревнямъ, заимкамъ и городамъ началась непомѣрная убыль молока, въ которомъ прежде чуть не купались, а теперь дѣтямъ отказываютъ. Одно западно-сибирское клеевое дѣло, съ нѣмецкою фирмою, возникло и окрѣпло изъ, своего рода, рыбьей шелухи гоголева Костанжогло: иниціаторъ предпріятія, изъ ссыльныхъ, выпросилъ у киргизовъ даровую монополію на пользованіе внутренностями и, вообще, отбросами животныхъ послѣ осенней бойни. Фирма сейчасъ считается въ многихъ милліонахъ, а подражатели ея всѣ безъ исключенія разоряются, такъ какъ матеріалъ-отбросъ, который десять лѣтъ назадъ давался даромъ за ненадобностью, теперь уже въ крупной цѣнѣ, а если онъ не даровой, то оказывается, что вывозъ его не окупаетъ провоза, новымъ начинателямъ не подъ силу конкуренція со старымъ, забравшимъ власть надъ степью, крѣпко упроченнымъ богатымъ дѣломъ, и, такимъ образомъ, игра не стоитъ свѣчъ.

Всюду одно и то же: первый Ермакъ беретъ густо и ходитъ въ золотѣ, а налетѣвшимъ на соблазнъ Ермачкамъ достаются поскребушки—и пренасмѣшливые... Сунется въ дѣло человѣкъ, и обожжется на молокѣ, а потомъ всю жизнь дуетъ на воду!

Въ этихъ странныхъ, богато-нищихъ краяхъ промышленность и торговля вѣчно одною ногою на облакѣ, другою въ лужѣ. Носъ вывязилъ—хвостъ увязъ, хвостъ вывязилъ—носъ увязъ. Тосковали сибиряки по воднымъ путямъ сообщенія, развили жиденькія пароходства по Оби, Иртышу, Енисею. Прекрасно! Но одновременно, сразу, страшно упалъ на тѣхъ же рѣкахъ рыбный промыселъ: говорятъ, будто рыба перестала подниматься съ устьевъ къ верховьямъ, боится пароходнаго движенія. Береговое населеніе Оби, въ особенности вымирающіе, безнадежно пропащіе инородцы,—люди и такъ безъ куска хлѣба, въ самомъ буквальномъ смыслѣ этихъ словъ,—съ холоднымъ отчаяніемъ чувствуютъ, какъ въ безрыбьи таетъ и сокращается изо дня въ день главное ихъ подспорье къ жизни.

Въ Сибири—здѣсь аукнется, а тамъ откликнется, и гдѣ это «тамъ», заранѣе никакъ не угадаешь: такъ оно всегда внезапно и неожиданно, что только руками развести! Казалось бы, что общаго между желѣзной дорогой и канатнымъ производствомъ? А, между тѣмъ, желѣзная дорога пустила сибирскихъ канатчиковъ по міру. Почему? Да очень просто: умеръ старый иркутскій трактъ, по немъ больше не тянутся безконечные обозы съ спеціальною сибирскою упаковкою кладей на дальнія разстоянія: желѣзнодорожный багажъ требуетъ веревки вдесятеро меньше, производство не окупаетъ себя и безсильно предъ конкурренціей изъ Россіи. Изъ этого курьезнаго кризиса, по непредвидѣнности своей обострившагося съ страшною силою и обезработившаго тысячи рукъ, легко видѣть, какъ даже самыя полезныя предпріятія на благо Сибири, часто

роковымъ образомъ порождаютъ совершенно мефистофельскіе отголоски и, «хотя добра, зло производятъ».

Неизученность Сибири въ отношеніи того, что ей будетъ въ прокъ, что во вредъ или втуне, вѣчная неувѣренность предпринимателей,—ступаютъ ли они на лѣстницу преуспѣянія или же въ трясину,—главная причина той промышленной косности, которою справедливо попрекаютъ сибиряковъ. Они очень энергичны въ дѣлахъ маленькаго, частнаго хозяйства, въ «своемъ дѣлѣ», но ихъ не хватаетъ на крупныя предпріятія, нужныя, чтобы оживить спящій, неподвижный, почти мертвый край. Это—не недостатокъ личной иниціативы, а скорѣе нежеланіе проявить ее въ тѣхъ узкихъ рамкахъ административной опеки, въ которыя втиснуто сибирское общественное хозяйство. Разъ опека, такъ пусть опека и распоряжается упорядоченіемъ края за свой страхъ, рискъ и расходы, а наши скрыни и энергія—въ сторонѣ, приберегается для «свово дѣла»... Такова сибирская—и далеко не безосновательная—логика. Поэтому сибиряки искони большіе плаксы и канюки предъ Петербургомъ, вѣчно взываютъ о льготахъ, о ссудахъ, о покровительствѣ. Москва держитъ ихъ на короткой веревочкѣ, которую они и рады бы перегрызть, да зубы плохи. Ихъ торговыя затѣи на широкую ногу всегда звучатъ какъ-то химерично и,—быть можетъ, потому, что слишкомъ ошарашиваютъ неподготовленнаго человѣка своими фантастическими перспективами,—не пользуются въ Россіи симпатіями и довѣріемъ. Извѣстны: пресловутый сибирскій плачъ и походъ во славу портофранко въ устьѣ Оби, а также маркъ-твэновскій проектъ желѣзной дороги на Березовъ и Обдорскъ, и, осуществленный и, нельзя не сознаться, нелѣпѣйшій въ мірѣ каналъ для соединенія системы Оби съ системою Енисея; имъ пользуются три съ половиною барки въ годъ, да и о тѣхъ сибиряки разсказываютъ, будто заплываютъ онѣ—шальныя, съ хозяйскаго безпамятнаго пьянства. Обь-Енисейскій каналъ—классическій и

поучительный примѣръ того, какихъ мышей умѣютъ рожать горы сибирскихъ торговыхъ затѣй послѣ долгихъ и громчайшихъ натугъ! Въ первый мой наѣздъ въ Сибирь, очень короткій и совершенно случайный, въ Томскѣ группа купцовъ ознакомила меня съ тогдашнею насущною нуждою мѣстнаго экспорта: чтобы усилить движеніе русскихъ товаровъ въ средній Китай, на Кобдо, надо было, ужъ не помню теперь въ какомъ пунктѣ, гдѣ-то къ югу за Барнауломъ, замѣнить вьючный путь по горной тропѣ шоссейнымъ. Стоить это удовольствіе должно было 160.000—180.000 рублей, а выгодъ оно сулило милліоны. Купцы искали правительственной помощи и просили меня поддержать ихъ проектъ въ газетахъ. Полезность шоссе была очевидна, я съ удовольствіемъ написалъ о его необходимости въ газету, гдѣ тогда работалъ, а, при встрѣчѣ съ лицомъ, отъ котораго значительно зависѣло это дѣло, усердно просилъ его поддержать сибирское ходатайство. Но онъ возразилъ—«съ улыбкой роковою»:

— Младенецъ вы! Они васъ морочатъ, а вы принимаете въ серьезъ!

— Позвольте!

Я съ краснорѣчіемъ изложилъ всѣ сибирскіе доводы, казалось бы, неопровержимые. А онъ:

— Я,—говоритъ,—на все это отвѣчу однимъ соображеніемъ. Имъ было сказано, что казна на ихъ дорогу ничего дать не можетъ, но не имѣется никакихъ препятствій, чтобы они выстроили дорогу за свой счетъ съ извѣстнымъ порядкомъ погашенія затратъ черезъ мѣстное обложеніе дорожнаго движенія, вотъ какъ земскія дороги. Но такая перспектива имъ не улыбнулась. Имъ желательно, чтобы строила казна на свой счетъ. А казнѣ это упорство желанія — противопоказаніе о необходимости строить. Если дорога сулитъ обширный рынокъ и милліонныя прибыли, то на нее не только купечеству цѣлаго богатаго округа, но и одному купцу—прямой разсчетъ

рискнуть ничтожною затратою менѣе двухсотъ тысячъ рублей. Если они сами не рискуютъ и не находятъ кредиторовъ для риска въ Москвѣ, прямо заинтересованной въ средне-китайскомъ сбытѣ мануфактуръ, значитъ, не слишкомъ-то они уповаютъ на будущій рынокъ, и польза отъ него—либо будетъ, либо нѣтъ.

Справедливо!

Я отписалъ о томъ своимъ пріятельскимъ знакомымъ, но получилъ очень неожиданный отвѣтъ:

— Какіе они тамъ у васъ въ Петербургѣ ловкіе! Мы выстроимъ, а они выждутъ срокъ, да потомъ насъ обложатъ?! Не на младенцевъ напали...

И опять справедливо! Правда — и въ Петербургѣ, правда—и въ Сибири. А результатъ столкновенія двухъ правдъ—лишь нижеслѣдующій:

Очутившись въ Сибири въ 1902 году, я навелъ справки о шоссе: осуществлено ли? Нѣтъ, и память о проектѣ заглохла. Зато совершенно однородные вопросы возникли о дорогѣ на Усъ изъ Минусинска, о шоссе черезъ какой-то Алтайскій перевалъ изъ Кузнецка, и всюду одна и та же исторія: частная иниціатива требуетъ сперва казенной помощи, чтобы потомъ себя проявить; казна требуетъ, чтобы частная иниціатива сперва проявила себя достойною помощи, а ужъ потомъ ей помочь... Казна не вѣритъ обывателю, обыватель—казнѣ. Старая побасенка о томъ, какъ тягались журавль и цапля!

* * *

До чего курьезны противорѣчія природныхъ данныхъ и обывательской жизни въ сибирскихъ городахъ, трудно изобразить и исчислить. Взять тотъ же Минусинскъ—хлѣбную столицу южной Сибири. Онъ стоитъ на содѣ, но фунтъ соды стоитъ въ немъ 16 копѣекъ. Великолѣпнѣйшая водная сила, мощное теченіе верхняго Енисея, даетъ Минусинску возможность дешеваго электрическаго

освѣщенія,—единственной гарантіи деревянному городу противъ пожаровъ, ужасныхъ при дикихъ вѣтрахъ здѣшняго плоскогорія. Нѣтъ! Городъ коптитъ бакинскимъ керосиномъ по девяти копеекъ фунтъ или жжетъ свѣчи по тридцать двѣ копѣйки, выгорая время отъ времени огромными полосами—сколько отъ поджоговъ, столько и отъ неосторожности. Минусинская степь испещрена цѣлебными озерами замѣчательной силы,—одно изъ нихъ—пресловутая Шира, другое—Тагарское—лежитъ почти подъ самымъ городомъ, въ четырнадцати верстахъ; но озера никого не исцѣляютъ: по короткости сезона, изъ-за раннихъ холодовъ и отсутствія приспособленій къ пользованію водами иначе, какъ въ первобытномъ, натуральномъ ихъ состояніи. Минусинская степь — житница Сибири, но, когда въ ней большой урожай, житница не въ состояніи вывезти своего хлѣба въ Сибирь; когда же въ ней случился полный неурожай, то сперва было неоткуда, а, когда нашли откуда, оказалось невозможнымъ доставить въ нее хлѣбъ. Помогли денежными ссудами, при чемъ пришлось сильно бороться съ алчностью мѣстныхъ богачей, взбодрившихъ продажный хлѣбъ на рубль серебра за пудъ, вмѣсто обычныхъ трехъ гривенниковъ. Я недавно съ невольною улыбкою прочиталъ газетное извѣщеніе, что близъ Минусинска *открыты* залежи глауберовой соли и организуется компанія для эксплоатаціи открытія. Глауберовой соли тамъ, дѣйствительно, очень много, но «открывать» ее рѣшительно не было надобности: безчисленныя залежи соли и насыщенныя ею озера, на выборъ, покажетъ вамъ любой мѣстный мужикъ, и всѣ чалдоны очень хорошо знаютъ значеніе и возможную будущую пользу этихъ, нынѣ напрасныхъ, богатствъ. Въ степяхъ верхняго Енисея не Колумбы нужны, а предприниматели. Открывать-то тамъ очень легко, вотъ капиталомъ и энергіей рискнуть — это другое дѣло! Я зналъ въ Минусинскѣ ссыльнаго старика лѣтъ девяноста, по фамиліи Жарова,

который, скитаясь подъ Саянами, нашелъ по Енисею, какъ онъ выражается, «шестьдесятъ мраморныхъ горъ», т. е. мраморные пласты шестидесяти сортовъ. Образчики мрамора Жарова—чудные: такого облицовочнаго матеріала въ Россіи нѣтъ и никогда не было... Но уже въ Минусинскъ и Красноярскъ верхне-енисейскіе мраморы доставляются не иначе, какъ въ сугробахъ бѣлой извести. Драгоцѣнный камень пережигается на известь: больше съ нимъ дѣлать нечего,—невыгоденъ!..

С. Ю. Витте проѣхалъ Сибирь, убѣдился, что ея земледѣльческая легенда столько же непрочна, какъ отошедшія въ вѣчность пушная и горнопромышленная, и указалъ на необходимость саморазвитія края въ сторону обрабатывающей промышленности—заводской и фабричной, а изъ нуждъ насущныхъ, на первомъ планѣ,—неотступную потребность въ сѣти путей сообщенія: безъ нихъ Сибирь—мертвый, лежачій камень, подъ который никакая вода не потечетъ. Тутъ есть одно слово необычайной важности: «саморазвитіе». До тѣхъ поръ, покуда на эту нескладную громадину Сибирь въ Петербургѣ будутъ смотрѣть съ центральной точки зрѣнія всероссійскихъ пользъ, она останется и сама въ себѣ дика и безпомощна, и Россіи не въ помощь. Что-то въ родѣ колоссальнаго покойника въ домѣ, который и дорогъ вамъ, и стѣсняетъ васъ ужасно! Для того, чтобы Сибирь живила Россію, нужно сперва ее самоё взбрызнуть живою водою. Такова же, какъ она есть, она—лишь огромный и холодный, пустой коридоръ. Какая-то транзитная пустыня, безнадежная для культуры! Гдѣ въ ней ни остановись, она чужому человѣку, пришлому, «навозному» годна только на то, чтобы выбрать изъ нея все, что мѣстами попадается хорошаго, и увезти либо къ Тихому океану, либо къ Черному морю, а вотъ, если осуществится проектъ всеславянской балканской желѣзной дороги, то и прямикомъ къ морю Адріатическому. Нужна широко и быстро развивающаяся сѣть желѣзныхъ

дорогъ и именно сѣть, а не параллельные пояса, нужно, чтобы желѣзнодорожная сѣть помогла Сибири обслуживать Сибирь же, потому что только, лишь въ томъ случаѣ, когда Сибирь будетъ сама обслуживать себя, она дѣйствительно и нормально будетъ полезна и Россіи... А до тѣхъ поръ наши къ ней отношенія—въ тѣхъ или иныхъ благовидныхъ маскахъ, все то же старое ермачество... урвалъ да и за щеку! Осталась дыра, мѣсто пусто,—не наша русская,—сибирская бѣда: Сибири и несчастіе! Такъ тому и быть! Русскіе Ермаки сосуть въ себя сибирскія природныя богатства; неустроенность и хаотичность Сибири, какъ провинціи, если еще не сосетъ, то оставляетъ безъ помощи русскую казну. А мѣстами и сосетъ...

Крупный хлѣбный торговецъ и большой сибирскій патріотъ говорилъ мнѣ:

— Это сомнительно, чтобы, съ желѣзными дорогами, нашъ усинскій и минусинскій хлѣбъ завалилъ русскіе рынки, какъ уповаютъ наши энтузіасты: слишкомъ жирная самонадѣянность! Отъ насъ до рынковъ 4.500 верстъ земледѣльческой полосы. Для того, чтобы нашъ хлѣбъ очень ужъ для нихъ понадобился, надо, чтобы на всемъ пространствѣ 4.500 верстъ стояли неурожаи, потому что, при такомъ желѣзнодорожномъ пробѣгѣ, хлѣбъ нашъ не въ состояніи доходить къ экспортнымъ пунктамъ за дешево, и, слѣдовательно, хлѣбъ ближайшихъ доставокъ, даже при очень среднихъ урожаяхъ, всегда насъ побьетъ. А вотъ, что только съ желѣзными дорогами мы начнемъ фактами оправдывать названіе нашего края «сибирскою житницею», это вѣрно. Сейчасъ мы—житница собирающая, но не кормящая. На хлѣбѣ сидимъ, но часто случается, что сами не ѣдимъ и другимъ не даемъ. Урожай у насъ вовсе не гарантія, что за пятьсотъ верстъ къ сѣверу, не говоря уже о низовьяхъ нашихъ великихъ рѣкъ, люди не будутъ дохнуть съ голода. И въ глушь не зачѣмъ забираться для примѣра: у насъ на иркутскомъ рынкѣ,

въ желѣзнодорожномъ центрѣ, степная бездорожица отзывается такими скачками цѣнъ, что обыватели волкомъ воютъ. А, что дѣлалось по всей Восточной Сибири, когда обманула исконныя надежды и не родила минусинская степь! Наши мѣста вотъ какія: при урожаѣ отъ насъ хлѣба увезти нельзя, при неурожаѣ—къ намъ привезти не откуда! То дешевизна,—хоть не снимай хлѣба съ полосы, свои руки дороже. То—провозъ не въ подъемъ и богачамъ, не то что среднему крестьянину. У насъ залежи хлѣба по пятнадцати, по двадцати лѣтъ не въ состояніи обратиться въ деньги и, сидя на полныхъ закромахъ, чалдонъ еще не вышелъ изъ эпохи мѣнового торга! Пути сообщенія должны обозначить и упорядочить наши мѣстные сибирскіе районы хлѣбоснабженія и опредѣлить ихъ естественную взаимозависимость, — вотъ чего я жду отъ нихъ—перваго и съ большими надеждами. Алтай — на Обь, Иртышъ, Тоболъ, мы—на Енисей, Чулымъ, Ангару, дальше къ востоку—Амуръ и Маньчжурка. Должны установиться естественные округа самопродовольствія,—понимаете? А гдѣ самопродовольствіе, тамъ и жизнь обращается внутрь себя; теперь мы все на выносъ живемъ, а тогда попробуемъ чувствовать себя у себя дома. Самопродовольствіе—начало саморазвитія нравственной и общественной самостоятельности, постоянства культурныхъ интересовъ...

* * *

Изъ всѣхъ этихъ «само» наиболѣе острая и насущная потребность сибирскаго хозяйства—введеніе земскаго самоуправленія, о потребности въ которомъ, сильно и настойчиво подогнанной войною, я не мало писалъ въ послѣднее время.

Будетъ мужицкое земство! — презрительно говорятъ мѣстные противники реформы, очень немногочисленные противники: мнѣ случалось находить энергичныхъ и убѣжденныхъ сторонниковъ идеи сибирскаго земства даже

среди администраціи, которой, казалось бы, она должна быть органически антипатична, какъ ограниченіе сферы ея собственной дѣятельности. Вотъ какъ, стало быть, наглядна тамъ польза земства, и какъ безысходно во мнѣніи населенія большинство нуждъ края безъ земской работы и единства! Я твердо увѣренъ, что, если бы петербургскіе ненавистники идеи о земствѣ въ Сибири побывали на среднихъ и мелкихъ административныхъ постахъ окраины, то и они, вынужденные усталостью и добросовѣстнымъ признаніемъ своего безсилія бороться съ хаосомъ сибирскихъ запросовъ, сами заговорили бы о реформахъ въ пользу общественнаго самоуправленія. «Всевластное безсиліе»— иначе я не могу характеризовать бюрократическій порядокъ современной Сибири, въ которой чиновникъ можетъ сдѣлать произволомъ много вреда обывателю, но, даже при добрыхъ намѣреніяхъ, почти неспособенъ приносить ему пользу. Такъ перепутаны отношенія, такъ смѣшаны дѣятельности власти, такъ велико недовѣріе къ ней сибиряка, вырощенное столѣтіями, сперва въ воеводскомъ кормленіи, потомъ въ «вицеройствѣ», а потомъ просто въ административной растерянности предъ дореформеннымъ краемъ, о которомъ до сихъ поръ не рѣшено: благодать онъ или обуза и потребны ему реформы самодѣятельности или бичи и скорпіоны «засѣдательскаго режима». Послѣдній еще имѣетъ въ Восточной Сибири свои роковые отголоски и пережитки, и скверные оставилъ онъ слѣды — и въ хозяйствѣ, и въ нравственности народныхъ. Нигдѣ, какъ въ Сибири, не боятся болѣе въ чиновникѣ грубой, произвольной силы, нигдѣ, какъ въ Сибири, не уважаютъ его менѣе, какъ носителя государственной справедливости и представителя закона

Да, несомнѣнно, сибирское земство будетъ совершенно мужицкое земство! Но я не знаю стороны, гдѣ русскій мужикъ былъ бы болѣе «земецъ», чѣмъ въ Сибири, и гдѣ бы онъ былъ лучше подготовленъ къ общественному хо-

зяйствованію. Мужицкія земства и въ Россіи нигдѣ не оплошали, за исключеніемъ тѣхъ несчастныхъ, «въ семьѣ не безъ урода», гдѣ они мужицкія только по составу и славѣ, а въ дѣйствительности зажаты въ крѣпкій единовластительскій кулакъ какого-либо привилегированнаго совмѣстителя. Но въ Сибири послѣднихъ быть не можетъ, а, если и явятся, то врядъ ли они такъ легко овладѣютъ положеніемъ: самъ съ усами мужикъ въ Сибири, мужикъ—да не тотъ! Чалдонъ, даже неграмотный, стоитъ далеко впереди россійскаго мужика по самостоятельности мысли, широтѣ взглядовъ, общественной сметкѣ и воспріимчивости, практическому «себѣ на умѣ». Онъ—хозяинъ до мозга костей, и хозяинъ не приспособляющійся и нищенствующій, но зажиточный и торжествующій. Съ изумительною ясностью видитъ и опредѣляетъ чалдонъ, что ему всего ближе надо: а, по глубокому знанію своего быта и края, съ такою же простотою, легкостью и мѣткостью намѣчаетъ и—какъ надо: источники, средства, формы къ наилучшему удовлетворенію своихъ нуждъ. Я далеко не поклонникъ чалдоновъ и часто изображалъ отрицательныя стороны ихъ бытового уклада и жестокаго характера. Но они очень умны, сильны волею и до чрезвычайности—люди земли! Я увѣренъ, что, если земская реформа освѣтитъ, наконецъ, Сибирь, то на верховьяхъ Оби и Енисея мы увидимъ самыя дѣловитыя, практическія и наиболѣе оправдывающія свое названіе, земскія самоуправленія изъ всей Россіи!

## VI.

# Родительскія скорби.

Знакомясь съ сибирскою интеллигенціей, разбросанною по захолустьямъ окраины, я видѣлъ много людей съ нерадостною жизнью, нерадостными мыслями, нерадостными чувствами. Самоутѣшенный интеллигентный буржуй, столь обильно процвѣтшій за послѣднія десятилѣтія въ Европейской Россіи,—рѣдкость въ сибирскомъ городкѣ. Всѣмъ тамъ тяжело и тоскливо живется, всѣ недовольны, всѣ чувствуютъ себя въ ссылкѣ. Сойтись съ сибирскимъ интеллигентомъ въ интимной бесѣдѣ, значитъ—за полночь слушать лѣтопись обидъ, горестей, лишеній, неудачъ, напрасныхъ хорошихъ порывовъ и вѣчно-торжествующаго, тупого и страшно разнообразнаго имъ противодѣйствія; до свѣта видѣть предъ собою страдальческое лицо и наблюдать нервные жесты, безсознательно частое куреніе и непроизвольную маршировку по комнатѣ, въ конецъ издерганнаго, измочаленнаго, обезсиленнаго человѣка. Исключенія представляютъ собою блистательныя фигуры,—къ сожалѣнію, весьма нерѣдкія!—коимъ университетскій значокъ на сюртукѣ не препятствуетъ спаивать цѣлые уѣзды десятками собственныхъ кабаковъ.

Зналъ я въ Сибири разныхъ интеллигентовъ: бодрящихся, плаксивыхъ; широко воспріимчивыхъ къ наплыву новыхъ прогрессивныхъ теченій и идей; сознательно и

преднамѣренно замкнутыхъ въ себѣ отъ этого наплыва, чтобы «не разбросаться»; кипятящихся по каждому, маломальски общественнаго характера, мотиву на мѣстномъ горизонтѣ, и—безразличныхъ ко всему, что не касается прямой ихъ дѣятельности; идеалистовъ-теоретиковъ и матеріалистовъ практиковъ; читающихъ и переставшихъ читать, трезвенниковъ и пьющихъ. Слыхалъ отъ нихъ про разныя горя—большія и мелкія, настоящія глубокія и мнимыя поверхностныя,—жалобы существенныя и жалобы-капризы. Многое слушалъ равнодушно, отъ многихъ словъ душа надрывалась и горѣла. Когда эти изліянія отрывались отъ темъ общественныхъ и обращались въ нѣдра семейнаго уклада, становилось, кажется, еще мрачнѣе и хуже. Всего острѣе было принимать горести по «дѣтскому вопросу»: когда сибирскій интеллигентъ говоритъ о наступившемъ или наступающемъ для дѣтей его школьномъ срокѣ, у него и голосъ, и руки дрожатъ, и глаза по сторонамъ бѣгаютъ, и папироса въ зубахъ трясется, осыпая пепломъ преждевременно сѣдѣющую бороду.

Сибирь не только бѣдна—она нищая среднимъ учебнымъ образованіемъ. Ея ничтожные городки съ населеніемъ, обычно не доходящимъ до десяти тысячъ жителей, лежатъ одинъ отъ другого въ разстояніяхъ сотенъ верстъ,—и какихъ верстъ! Отъ Минусинска до Красноярска пятьсотъ верстъ, но Самара зимою ближе къ Красноярску, чѣмъ Минусинскъ, а, при сравненіи въ обратномъ направленіи, т. е. отъ Красноярска къ Минусинску, при пароходномъ движеніи противъ мощнаго теченія верхняго Енисея, Самара остается ближе къ Красноярску и лѣтомъ. Поѣхать зимою изъ Минусинска въ Красноярскъ и обратно значитъ сдѣлать путь отъ Красноярска до Петербурга, только не въ вагонѣ, а въ кибиткѣ или въ таратайкѣ, при этомъ изломавъ себѣ все тѣло, перетерпѣвъ рядъ безсонныхъ ночей, гнуснѣйшихъ въ мірѣ ночлеговъ, изрядное количество небезосновательныхъ страховъ, а иногда и дѣйствительныхъ

опасностей,—словомъ, какъ острять, часто совершающіе путину эту, жандармы:

— Терпя голодъ, холодъ и всѣ нужды солдатскія.

Нравы края таковы, что, если минусинецъ выѣхалъ въ Красноярскъ и Ачинскъ не въ большой компаніи, домашніе вздыхаютъ съ облегченіемъ только тогда, когда изъ города назначенія придетъ страстно и мучительно ожидаемая телеграмма:

— Живъ!

Случается, что почта, которая и безъ того ходитъ всего три раза въ недѣлю, не работаетъ дней по десяти: нѣтъ переправы черезъ Енисей. Эта рѣка — «сумасшедшая», какъ говорятъ сибиряки. Ея половодья капризны и необычайны. Ея мощное теченіе споритъ съ лютыми морозами въ теченіе всей зимы. Нѣтъ времени и температуры, которыя гарантировали бы путешественника отъ перспективы провалиться на дно Енисея. Оттепель,—ледъ трещитъ...

— Тальцы! — объясняетъ ямщикъ, погоняя коней, чтобы поскорѣе выбраться изъ опаснаго мѣста, не выкупавъ себя, коней и сѣдока въ готовой разинуть ротъ полыньѣ.

— Тридцатиградусный морозъ,—ледъ трещитъ.

Ямщикъ объясняетъ:

— Ишь, язви-те, гдѣ-то однако, по цѣлому мѣсту зимою рвануло!.. Опять торосовъ намнетъ!.. Ну, и Енисей!.. Сказано, что сумасшедшій, сумасшедшій и есть!

Перелетѣть вихремъ трещину или тонуть въ тальцахъ—это наслажденіе осталось въ прошломъ едва-ли не у всякаго многоѣзжаго сибиряка, а малоѣзжихъ сибиряковъ не велика куча. Меня Богъ миловалъ, хотя въ теченіе одного года мнѣ пришлось вымѣрять зимній Енисей четыре раза, какъ въ оттепель, такъ и въ лютые холода. Я даже въ пресловутой «наледи» не окунался, что очень бывалые сибиряки почитаютъ уже не столько несчастіемъ, сколько комическимъ сюрпризомъ,—въ родѣ того, что ли, какъ, если пойти купаться, да, невзначай сорвавшихъ съ мостковъ, упасть

въ воду на мелкомъ мѣстѣ, еще въ платьѣ. Приключенія въ «наледи»—къ смѣху, не къ ужасу, хотя нашему брату, «навозному» россіянину, и трудненько понять теоретически: въ чемъ, собственно, тутъ восторгъ? что лестнаго человѣку побывать, градусахъ при двадцати мороза, въ обжигающей тѣло водѣ, которая затѣмъ задубитъ на тебѣ платье, какъ дерево,—и скачки, что есть мочи, до стапка, моля своего угодника, чтобы не далъ тебѣ замерзнуть, а, оттаявъ, обзавестись мышечнымъ ревматизмомъ до скончанія дней своихъ, покуда въ землю зароютъ!

Минусинскъ—изъ лучшихъ городовъ Восточной Сибири во всѣхъ отношеніяхъ, не исключая и путей сообщенія съ центрами великой окраины. Другія захолустья въ еще худшихъ дорожныхъ условіяхъ.

— Не ѣзживали вы тайгою!

— Не плутали вы въ степную метель!

— Не перло, не терло васъ по осени саломъ на Енисеѣ!

— Не обрывались вы въ гололедицу съ Чернаго Камня!

Все это—милыя степени сравненія дорожныхъ радостей; ими, какъ сойдутся къ самовару «звонить», обмѣниваются сибирскіе странники и скитальцы.

* * *

Въ одинъ скучный зимній вечеръ въ городѣ Храповицкѣ приходитъ ко мнѣ пріятель, мѣстный чиновникъ. Взглянулъ я: нѣтъ лица на человѣкѣ, бѣлый, такъ его и крутитъ, и дергаетъ.

— Что съ вами, Дмитрій Стратоновичъ? Больны?

— Ольга...

И даетъ мнѣ читать телеграмму изъ губернскаго нашего города Непросыпайска:

«Прошу немедленно взять отъ меня вашу дочь, не могу держать ее больше, по требованію другихъ родителей, или она, или ихъ дѣти. Сверчкова».

— Квартирная хозяйка...—пояснилъ онъ, роняя голову на руки.

— Гм... Телеграмма, конечно, не изъ утѣшительныхъ... Но зачѣмъ, все-таки, приходить въ отчаяніе? Поссорились, только и всего. Поссорившись, разошлись. Нѣтъ ничего ужаснаго!

— Есть ужасное! Это—не спроста... Это что-нибудь у нея въ гимназіи вышло... Ахъ, Ольга! Ольга! Вѣдь просилъ, молилъ...

Я перечиталъ телеграмму.

— Если бы вышло что-нибудь въ гимназіи, эта Сверчкова намекнула бы хоть словомъ.

Но онъ не слушалъ, метался по комнатѣ, какъ волкъ въ клѣткѣ, и бормоталъ:

— Я увѣренъ, увѣренъ, что ее исключили! Она такая горячая, неосторожная, на языкъ дерзкая, лѣзетъ всегда впередъ... Ахъ, Ольга! Ольга!..

— Ну, какой мнительный!.. Сейчасъ уже и исключили!.. Поругалась съ квартирною хозяйкою, та сгоряча хватила вамъ телеграмму... Удовлетворите требованіе этой сердитой дамы, переведите вашу Ольгу на другую квартиру,—вотъ и все!..

— Все!.. Вы думаете, это такъ легко?

— Развѣ у васъ нѣтъ знакомыхъ въ Непросыпайскѣ?

— Есть знакомые...—нерѣшительно отозвался мой пріятель.—Да что же я могу за пятьсотъ верстъ? Начать съ того: дѣло, не терпящее отлагательства, а я не знаю, кто изъ знакомыхъ въ городѣ, кто нѣтъ. Вы знаете наши сибирскія службы: то и дѣло въ отъѣздѣ, разстоянія колоссальныя... Телеграмма будетъ лежать, ожидая возвращенія адресата, безъ отвѣта, а у меня все сердце кровью изойдетъ.

— Отправьте нѣсколько телеграммъ нѣсколькимъ знакомымъ...

— Непріятности изъ этого выйдутъ... Одинъ скажетъ:—недостатокъ довѣрія,—другихъ проситъ, значитъ,

поручаетъ меня контролировать!.. Другой скажетъ:—Къ другимъ обращается,—пусть другіе его дочь и устраиваютъ!.. Никто не поможетъ, а всѣ обидятся... Да и что же, наконецъ? Ольга тоже разсвирѣпѣетъ... Скажетъ:—Хорошъ папенька, растрезвонилъ по телеграфу всему городу, что дочь выгнали съ квартиры... Какъ еще въ газетахъ не пропечаталъ!

— Пожалуй, что вы правы!.. Ну, телеграфируйте Ольгѣ, чтобы она сама повидалась съ вашими друзьями, кто изъ нихъ есть на-лицо: пусть проситъ, чтобы приняли ее хоть временно... вѣдь не маленькая!

— То-то и бѣда, что не маленькая. Съ маленькою-то легче. Большой помочь, если что не ладно, многіе побоятся. Подумаютъ: романъ какой-нибудь или политическое...

Онъ помолчалъ, ломая пальцы. Потомъ уставилъ на меня блестящіе, полные испуга, глаза.

— А если она и въ самомъ дѣлѣ состряпала что-нибудь несуразное?

— Да что же? Пусть даже и такъ... Какая разница?

— Тогда эти ея подвиги уже всему городу извѣстны. У насъ не столица,—медвѣжій уголъ! Видите въ телеграммѣ: «по требованію родителей»... Это значитъ, что моя дѣвочка—уже притча во языцѣхъ! Какъ же я могу, при такихъ условіяхъ, предоставить ей самой искать себѣ пріютъ и покровительство? Ее могутъ не принять, оскорбить... А она – огонь! чортъ! Такъ отвѣтитъ, что потомъ на всю жизнь памятку оставитъ!.. Если не вышло бѣды до сихъ поръ, теперь бѣда выйдетъ; если не выгнали, выгонятъ!.. Да, и—говорю вамъ,—вы думаете, такое это простое дѣло устраивать учащуюся дочь на квартирѣ, хотя бы и къ знакомымъ? Мука, сударь вы мой, даже когда вы сами тамъ на-лицо, а ужъ телеграммою... Просто и ума не приложу!..

Онъ поникъ головою.

— Послушайте,—сказалъ я.—Я вижу, что вы про-

сто—не слишкомъ высокаго мнѣнія о своихъ непросыпайскихъ знакомыхъ, не рѣшаетесь имъ довѣриться и не хотите къ нимъ обращаться. Быть можетъ, я въ состояніи помочь вамъ. Съ прошлой зимы въ Непросыпайскѣ живетъ мой пріятель, писатель Живчиковъ, съ семьею. Люди милѣйшіе, простѣйшіе, мягкіе, съ тактомъ,—прелесть, какой домъ!..

— Знаю! Слыхалъ!—уныло мурлыкнулъ угнетенный родитель.

— Если хотите, я могу телеграфировать, чтобы Живчиковы приняли вашу Ольгу къ себѣ.

Онъ возразилъ съ мрачностью:

— Очень вамъ благодаренъ. Если ее исключили, буду очень просить васъ объ этомъ.

Я изумился.

— Почему же только въ такомъ случаѣ?!

— Потому, что, покуда Ольга въ гимназіи, она не имѣетъ права квартировать у Живчикова... Онъ—политическій...

— Ахъ, да!.. Забылъ!.. Ну, а ваши друзья Бронштейны? По вашимъ разсказамъ, тоже очень честная и интеллигентная семья...

Родитель пожалъ плечами.

— Евреи!

Я широко открылъ глаза: пріятель мой—человѣкъ добрый, свободомыслящій, и я не ждалъ отъ него предубѣжденій къ «жиду».

— Какъ? Вы придаете значеніе...

— Не я,—съ негодованіемъ возразилъ онъ.—Что вы, Богъ съ вами! Я повѣрилъ бы Бронштейнамъ Ольгу, какъ самому себѣ... Не я, а гимназія: нельзя христіанской дѣвочкѣ квартировать въ еврейской семьѣ.

— Однако, сколько вамъ затрудненій!

— Развѣ только это? Цвѣточки! А бываютъ ягодки... Вотъ-то намучился я, когда устраивалъ сына въ Пупскѣ...

— Кстати: я давно хотѣлъ спросить васъ, почему вы

такъ странно разбросали своихъ дѣтей: дочь учится въ Непросыпайскѣ, а сынъ въ Пупскѣ?

— Потому что въ непросыпайской мужской гимназіи никогда нѣтъ вакансій, и поэтому умышленно трудный конкурсъ. Пришлось отвезти парня въ Пупскъ.

— За полторы тысячи верстъ?

— Да, если ближе нѣту гимназіи? Думаете: легко мнѣ? И душа, и карманъ плачутъ.

— Несчастный вы, Дмитрій Стратоновичъ, человѣкъ!

— Нѣтъ, вы слушайте мою пупскую Одиссею! Помѣстилъ я Володьку въ очень хорошій, всѣми уважаемый домъ... Радъ радехонекъ, что раздѣлался съ этимъ затрудненіемъ скоро и удачно, думаю уже уѣхать, потому что служба не ждетъ. Вдругъ является ко мнѣ въ номеръ гостиницы помощникъ класснаго наставника:—Господинъ директоръ желаетъ поговорить съ вами конфиденціально. Не откажите пожаловать... Иду и, какъ водится, дрожу:—Господи! За что еще собираются расказнить!—Нѣтъ, успокаиваетъ меня директоръ,—мы вашимъ сыномъ очень довольны, отлично учится, прекрасно ведетъ себя, но—вотъ одно: помѣстили вы его у такихъ господъ... знаете ли, неудобно!..—Помилуйте! весь городъ говоритъ, что образованнѣйшая и порядочнѣйшая семья!..—Да, конечно, конечно! Кто же ихъ не уважаетъ и не любитъ? Я первый высоко цѣню... И Данило Ивановичъ, и Марта Николаевна... Превосходнѣйшіе люди! Всѣ любятъ и уважаютъ... Но, какъ квартирохозяева, они намъ неудобны!.. Квартиру сынъ вашъ долженъ перемѣнить!.. Вы, въ качествѣ пріѣзжаго, конечно, не знаете, но... эти ваши хозяева... они, знаете, въ гражданскомъ бракѣ... не вѣнчаны!.. Я смотрю на него во всѣ глаза:—А какое мнѣ дѣло?.. Онъ же мнѣ въ отвѣтъ:—Да, конечно, говоря по-человѣчески, оно—собственно ничего, пустяки. Объ этомъ ихъ паспортномъ секретѣ мало кто и знаетъ въ городѣ... Кажется, только мы и полиція. Но, тѣмъ не менѣе, нельзя, неприлично! Я бы и ничего, но—знаете: можетъ быть до-

носъ... напишутъ, что нерадѣніе... подрывъ семейнаго начала... дурной примѣръ!.. А Володькѣ шелъ тогда всего двѣнадцатый годъ!.. Хорошо-съ. Что подѣлаешь? Велятъ идти,—повиноваться надо! Взялъ я его изъ этой семьи,—прямо скажу: почти со слезами взялъ, потому что сразу его тамъ полюбили, и ужъ видно было, какъ хорошо повели бы мальчика!.. Съ огромнымъ трудомъ перевелъ своего мальца и устроилъ у нѣмца-механика, у котораго по части семейнаго начала все обстояло архи-благополучно. А начальство мое шлетъ уже грозныя телеграммы: или молъ служить, или разъѣзжать зря по губернскимъ городамъ!.. Уѣхалъ я. Только-что оглядѣлся у родныхъ пенатовъ, какъ получаю отъ сына письмо. Докладываетъ:—Мнѣ, папаша, велѣно отъ Карла Адамовича съѣхать, а я не знаю,—куда прикажете?.. Ахъ ты, пропади они тамъ пропадомъ, господа начальство! Что еще такое?... Время было, хотя и позднее, но еще осеннее, пароходы бѣгали; уклонялъ свое начальство, — хоть и съ большою надутостью, отпустили меня съѣздить въ Пупскъ...

— Въ чемъ у васъ тутъ дѣло? Чѣмъ Карлъ Адамовичъ нехорошъ?

— Иновѣрецъ!..

— Да—развѣ это запрещается? Я помню: въ мое гимназическое время, чуть не половина класса квартировала у учителя-протестанта...

— Другія, батюшка, времена—другія пѣсни!.. Законоучителя злая муха укусила. Онъ и говорилъ съ директоромъ по душамъ. Директоръ не внялъ, сказалъ, что пустяки. Но законоучитель не успокоился, а хватилъ донесеніе... Владыка всполошился, губернатору—письмо... Губернаторъ морщился, вызвалъ директора, совѣтуетъ: ну, что вамъ? стоитъ ли? не ссорьтесь, бросьте... Такъ нашего Карла Адамовича и не одобрили. А я, горемычный, опять мотайся по чужому городу, проживайся, кланяйся, хлопочи найти своему дитяти мѣсто въ природѣ!.. Эти бѣдняки, наши дѣти изъ сибирскихъ уѣздовъ,

учащіяся по губерніямъ, просто Агасѳеры какіе-то кочующіе!.. У того нельзя жить, потому что политическій, у этого—потому что еврей; у одного, потому что не вѣнчанъ, у другого, потому что баптистъ, и законоучитель опасается за соблазнъ въ вѣрѣ; Иванъ Ивановичъ всѣмъ бы хорошъ, да о немъ почему-то изъ округа писали, чтобы ученикамъ у него не жить; у Петра Петровича поселиться,—онъ съ инспекторомъ въ ссорѣ, а тотъ мстительный человѣкъ и жестоко придирается къ жильцамъ Петра Петровича, они туго успѣваютъ; лучше всѣхъ былъ бы Николай Николаевичъ, но его хоть на колѣняхъ проси, — баста! онъ къ себѣ гимназистовъ на квартиру не беретъ... говоритъ, что самому дороже...

— Развѣ мало платите?

— Нѣтъ, платимъ хорошо: что спросятъ, то самое почти и приходится дать, выторговать можно развѣ почти самую малую малость; при огромномъ спросѣ на квартиры безъ конкурренціи въ предложеніи, господа хозяева опредѣляютъ и ставятъ цѣны, а не мы, бѣдные родители. Матеріально оно—очень выгодно. Но нравственно—конечно, себѣ дороже. Помилуйте! гимназистъ или гимназистка на квартирѣ вяжутъ васъ по рукамъ и по ногамъ, ставятъ васъ въ подчиненное положеніе, у васъ неожиданно оказывается совершенно новое начальство. Отдали вы комнату «учащейся молодежи», и это для васъ не квартиранты, а капиталъ, ввѣренный подъ сохранную росписку. То и дѣло тягаютъ васъ гимназическія власти. Шастаетъ къ вамъ классный наставникъ, шастаетъ директрисса!.. Одна такая синьора, ревизуя квартиры ученицъ, самымъ безцеремоннымъ образомъ осматривала хозяйскія библіотеки. Увидитъ Толстого или Горькаго,—и пилитъ: Ваши, молъ, литературные вкусы остаются на вашей совѣсти, но я надѣюсь, что вы примете мѣры, чтобы мои дѣвочки, остающіяся на вашемъ попеченіи, не имѣли доступа къ подобнымъ ужаснымъ книгамъ!.. Другая опрятностью донимала. Придетъ, замѣтитъ какой-нибудь безпорядокъ—не у гимназистки, а у насъ въ комнатахъ,—и читаетъ цѣлую лекцію о гигіенѣ и

аккуратности. Оно, можетъ быть, и справедливо: мы, сибиряки, на счетъ чистоты, изрядные-таки свинухи,—но по какому праву? Какъ она смѣетъ? Кто ее уполномочилъ вторгаться въ мой домъ со своимъ уставомъ? Неужели, чортъ возьми, я для того жилъ—возрасталъ до сорока лѣтъ, проходилъ ученье и совершалъ всякія службы, чтобы въ концѣ концовъ какая-то директрисса, до которой мнѣ дѣла столько же, какъ до лѣтошняго снѣга, ни сѣло-ни пало, читала мнѣ нотаціи о добронравномъ житіи? Да, ну ихъ ко всѣмъ рогатымъ демонамъ и съ выгодами, и съ деньгами!... Щей горшокъ, да самъ большой!

И вотъ-съ,—сортируютъ этакимъ манеромъ публику, сортируютъ, да и досортировываются. Въ концѣ концовъ городъ, въ смыслѣ гимназическаго квартиродержательства, оказывается просѣяннымъ сквозь сито всяческихъ препонъ и высшихъ соображеній, что называется, до пшика. Настоящихъ перловъ,—которые явили себя квартирохозяевами, совершенными во всѣхъ отношеніяхъ, которымъ и директоръ радъ, и инспектору они милы, и законоучитель ихъ одобрилъ, и въ воспитательномъ отношеніи они народъ дѣльный,—такихъ ядреныхъ перловъ, разумѣется, оказывается подъ ситечкомъ маловато: наша губернская интеллигенція —частью ссыльная, частью промышленная, то есть иностранная и иновѣрная, по преимуществу,—частью рабочая. Просѣянные перлы,—при добросовѣстности,—избѣгаютъ принимать на себя отвѣтственность за многихъ воспитанниковъ, берутъ къ себѣ жильцовъ скупо, съ суровымъ разборомъ; при недобросовѣстности,—дерутъ такія суммы, что у нашего брата, бѣднаго захолустнаго чиновника, только глаза лѣзутъ на лобъ отъ испуга и изумленія. Ну-съ, понятное дѣло: за неимѣніемъ гербовой, пишемъ на простой; если не достанетъ дѣтямъ нашимъ перловъ настоящихъ, надо довольствоваться поддѣльными. То-есть: лишь бы квартирохозяинъ былъ признанъ удовлетворительнымъ отъ гимназическаго начальства, а затѣмъ—наша хата съ краю, ничего не знаю! Что онъ за человѣкъ и какое вліяніе мо-

жетъ имѣть на ваше дѣтя,—объ этомъ лучше и не заботиться: прока нѣтъ, а только печенка тревогами раздражается! Помѣщенъ ребенокъ подъ крышею, и слава Богу! Перлъ потаенно пьетъ горькую и время отъ времени потѣшаетъ юныхъ квартирантовъ своихъ истинно плотскими зрѣлищами. Ничего: кто не пьетъ? и курица пьетъ! Перлъ имѣетъ привычку атаковать по ночамъ свою кухарку, вслѣдствіе чего на квартирѣ то и дѣло происходятъ лютыя баталіи. Но зато у перла имѣется наизаконнѣйшая супруга, и семейное начало въ квартирѣ торжествуетъ, съ тѣмъ большею наглядностью, что почтенная дама ревнива и дуетъ супруга на глазахъ жильцовъ-гимназистовъ, походя, смертнымъ боемъ, да имъ же кстати жалуется на судьбу-злодѣйку, связавшую ее съ «мерзавцемъ», и разсказываетъ мимоходомъ пикантные эпизоды изъ прошлыхъ похожденій «мерзавца». Да-съ. Всякіе бываютъ квартирохозяева!.. И повторяю вамъ: даже такими приходится очень дорожить, потому что становится все меньше и меньше охотниковъ ставить свою жизнь и нравственность въ зависимость отъ контроля распорядителей гимназическаго просвѣщенія... на это идутъ теперь только корысть и бѣдность! Объ силы —не очень-то признанныя въ педагогикѣ!

Но я иду далѣе. Представимъ себѣ, что вы были такъ счастливы—попадали въ квартирохозяевахъ все на добрыхъ и хорошихъ людей, съ лучшими нравами и намѣреніями. Но какой вамъ толкъ отъ всѣхъ ихъ добродѣтелей, если въ теченіе курса вашъ мальчикъ перемѣнитъ ихъ добрый десятокъ? Вѣдь даже и школа избѣгаетъ, по возможности, частыхъ варіацій въ преподавательскомъ составѣ, и лучшими курсами оказываются тѣ, которые прошли, по крайней мѣрѣ, старшіе гимназическіе классы подъ руководствомъ однихъ и тѣхъ же учителей, подъ надзоромъ одного и того же класснаго наставника. А квартира, хоть и не семья, все-таки, предполагается суррогатомъ семьи. Скитаясь по случайнымъ квартирамъ, наши дѣти искусственно выучиваются цыганщинѣ—равнодушію, съ кѣмъ

жить, какъ уживаться: они вѣчно и всюду чувствуютъ себя чужими, съ боку припекою въ чьемъ-то постороннемъ быту; они привыкаютъ къ мысли, что домъ—это только крыша, стѣны, отопленіе, освѣщеніе, столъ, постель! И это остается. Этого легко не выкуришь и не передѣлаешь! Знаете, когда мои ребята пріѣзжаютъ на каникулы, меня всегда коробитъ въ нихъ эта печать отчужденной цыганщины. Мнѣ тогда жаль ихъ, стыдно себя... Я чувствую, что привычка жить чужими среди чужихъ застряла въ нихъ, и мы—отецъ съ матерью—въ концѣ концовъ, оказываемся для нихъ тоже чужими, тоже своего рода квартирохозяевами на лѣтній срокъ, какъ тѣ на зимній... Отквартировалъ у Ивана Ивановича въ Непросыпайскѣ, поѣхалъ къ Дмитрію Стратоновичу въ Храповицкъ, отквартировалъ у Дмитрія Стратоновича въ Храповицкѣ, покочевалъ къ Ивану Ивановичу въ Непросыпайскъ!..

Понимаете ли? Да нѣтъ, вы этого не испытали, и темпераментъ у васъ не тотъ!.. Понимаете ли, чувствую я изъ года въ годъ, изо дня въ день, какъ эти пятьсотъ и полторы тысячи верстъ, которыя отдѣляютъ меня отъ моихъ дѣтей, крадутъ ихъ у меня. Чувствую, что мы таемъ другъ для друга, какъ снѣговыя куклы.

Когда вы живете вмѣстѣ съ своимъ учащимся сыномъ, или, по крайней мѣрѣ, когда вы въ состояніи часто видаться съ нимъ, вы имѣете возможность поладить съ нимъ, разрушить его сомнѣнія о васъ, столковаться съ нимъ о вашихъ компромиссахъ, сохранить себѣ его дружбу и уваженіе. Но за тысячу, за полторы тысячи трудно проходимыхъ верстъ?! Что я могу?! Я вижу дѣтей отъ половины іюня по августъ, когда они пріѣзжаютъ въ Храповицкъ. Иногда ѣзжу къ нимъ на Рождество или на Пасху: ѣздить къ нимъ на оба праздника не имѣю средствъ, брать ихъ сюда тѣмъ болѣе, да это и безсмысленно. Праздники даются для отдыха, а какой же отдыхъ—пять сутокъ зимней ѣзды отъ Пупска въ Храповицкъ и, послѣ четырехъ сутокъ гостеванья, еще пять сутокъ ѣзды отъ Храповицка въ Пупскъ?

Итакъ, я, отецъ, имѣю непосредственное вліяніе на своего ребенка въ теченіе одного мѣсяца съ половиною, а десять съ половиною мѣсяцевъ онъ остается въ сожительствѣ и подъ вліяніемъ чужихъ, совершенно случайныхъ людей, да и тѣхъ я лишенъ права выбирать по своему усмотрѣнію. Что я, кто я для него при такихъ условіяхъ? Человѣкъ, платящій за его обученіе и содержаніе, который не прочь видѣть его у себя въ домѣ въ пору лѣтняго отдыха. Только квартировладѣлецъ, какъ всякій другой, но, быть можетъ, нѣсколько скучнѣе и надоѣдливѣе другихъ, потому что тѣ очень хорошо довольствуются отъ него квартирною платою, а я имѣю претензію на чувства, нѣжность и прочія родительскія привилегіи, обязательство которыхъ онъ понимаетъ, но потребности въ которыхъ, по отвычкѣ отъ семьи, не ощущаетъ ни малѣйшей... Разладъ между отцами и учащимися дѣтьми всюду великъ и силенъ... Но, кажется, нигдѣ не сказывается онъ такъ рано, съ такою острою и грозною назойливостью, какъ въ нашихъ сибирскихъ трущобахъ!.. Присмотритесь на каникулахъ къ нашимъ уѣзднымъ семьямъ: всюду одна и та же исторія!.. Недѣля радостей и восторговъ, что свидѣлись родители съ дѣтками послѣ долгой разлуки; затѣмъ недѣля взаиморазсматриванья и невольныхъ охлажденій; а тамъ пошла на все лѣто язвительная грызня поколѣній: война «деспотовъ» съ «неблагодарными», которая стихаетъ только къ сроку, когда дѣтямъ надо возвращаться въ учебное заведеніе. Тутъ, конечно, отцамъ становится жаль сыновей, сыновьямъ—отцовъ... А затѣмъ—опять разлука на пять шестыхъ года, а послѣ опять явится свой по имени, но еще болѣе отчужденный фактически, юный человѣкъ... и опять новыя взаимонепониманія!.. Трещина ширится, глубится и—кажется, нѣтъ у насъ ни моста, чтобы черезъ нее перекинуть, ни хвороста-фишинника, чтобы ее завалить...

1903.

YC159386

ЦѢНА
ОДИНЪ
РУБЛЬ.

1907.